

**Вьет Тхань Нгуен**

**Сочувствующий**

*Посвящается Лан и Эллисону*

Остережемся при слове “пытка” корчить тотчас же угрюмую рожу: как раз в этом случае есть что не скидывать со счетов, есть что заложить впрок – есть даже над чем посмеяться.

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Viet Thanh Nguyen, 2015

© В. Бабков, перевод на русский язык, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство Аст”, 2019

Издательство CORPUS ®

## Глава 1

Я шпион, невидимка, тайный агент, человек с двумя лицами. Еще (что, наверное, неудивительно) я человек с двумя разными сознаниями. Я не какой-нибудь непонятый мутант из комиксов или фильма ужасов, хотя некоторые примерно так ко мне и относятся. Я просто умею видеть любой спорный вопрос с обеих сторон. Иногда я льщу себе, мысленно называя это талантом – пусть и не из самых завидных, но других талантов у меня нет. Однако потом я вспоминаю, что не способен смотреть на мир иначе, и меня одолевают сомнения: а стоит ли считать это талантом? В конце концов, талант – это то, чем пользуетесь вы, а не то, что пользуется вами. Талант, которым вы не можете *не* пользоваться, который поработил вас, – это скорее опасный недостаток. Но в том месяце, с которого стартует это признание, мой взгляд на мир еще казался скорее добродетелью, нежели пороком, как оно и бывает поначалу со всеми добродетелями.

Итак, на дворе был апрель, жесточайший месяц. Это был месяц, когда нашей войне, продолжавшейся уже очень долго, предстояло лишиться своих шупалец, что рано или поздно случается с каждой войной. Месяц, который имел огромное значение для обитателей нашей маленькой страны и не имел никакого значения для большинства обитателей всех остальных стран. Месяц, который был концом войны и началом, э-э... мир ведь не очень подходящее слово, не правда ли, уважаемый комендант? Месяц, когда я ожидал конца за стенами виллы, где прожил семь предыдущих лет, – теперь эти стены блестели осколками битого коричневого стекла, а поверх них тянулась ржавая колючая проволока. На этой вилле у меня была собственная комната – да-да, комендант, прямо как здесь, в вашем лагере. Только здесь эта комната называется одиночной камерой, а вместо служанки, приходящей убирать каждый день, вы приставили ко мне круглолицего охранника, который вовсе ничего не убирает. Но я не жалуюсь: ведь тому, кто пишет признание, нужна не чистота, а покой.

На генеральской вилле мне хватало покоя ночью, но отнюдь не в дневное время. Я был единственным из офицеров, кто жил в доме генерала, единственным холостяком из его штаба и самым надежным его помощником. По утрам я отвозил генерала на работу, а прежде мы завтракали вместе, разбирая донесения на одном краю тикового обеденного стола, тогда как его жена на другом приглядывала за хорошо вышколенным квартетом детей в возрасте двенадцати, четырнадцати, шестнадцати и восемнадцати лет – еще одна дочь училась в Америке, и ее стул пустовал. Возможно, еще не каждый опасался конца, но генерал благоразумно его предвидел. Худощавый, с великолепной выправкой, он был воякой-ветераном с целой коллекцией медалей, в его случае заслуженных. Хотя на руках у него осталось всего девять пальцев, а на ногах восемь – три были отняты пулями и шрапнелью, – никто, кроме его родных и особо доверенных лиц, не знал о состоянии его левой ноги. Практически все его честолюбивые стремления удовлетворялись, если не считать желания раздобыть бутылку отличного бургундского и выпить ее с друзьями, понимающими, что в вино не обязательно класть кубики льда. Он был эпикуреец и христианин, именно в таком порядке, – человек, верующий в гастрономию и Бога, в свою жену и детей, а еще во французов и американцев. С его точки зрения, они научили нас гораздо более полезным вещам, чем другие иностранные шаманы, загипнотизировавшие наших северных братьев и часть южных: Карл Маркс, В. И. Ленин и Председатель Мао. Не то чтобы он читал кого-нибудь из этих мудрецов: обеспечивать его выписками из “Манифеста Коммунистической партии” или “Красной книжечки” входило в мои обязанности адъютанта и молодого офицера-интеллектуала, а он сам лишь пользовался плодами моих изысканий, чтобы продемонстрировать знание вражеской психологии. Он никогда не упускал случая процитировать свой любимый ленинский вопрос: господи, говорил он, постукивая по очередному столу маленьким стальным кулаком, *что делать?* Сообщать генералу, что на самом деле этот вопрос поставил Чернышевский, озаглавив им свой знаменитый роман, казалось неуместным. Кто нынче помнит Чернышевского? Считаться следовало с Лениным – человеком действия, который отнял этот вопрос и превратил его в свою собственность.

В этом мрачнейшем из всех апрелей перед генералом вновь встал вопрос, что делать, и теперь, в отличие от всех предыдущих случаев, он не нашел на него ответа. Его, ярого апологета *mission civilisatrice* и Американского пути, наконец укусила блоха сомнения. Зеленовато-бледный, похожий на малярийного больного, он бродил по своей вилле, мучаясь непривычной бессонницей. Наш северный фронт смяли еще в марте, и с тех пор он частенько возникал на пороге моего кабинета или комнаты на вилле, дабы поделиться со мной последними новостями, неизменно плохими. Вы можете в это поверить? – восклицал он, на что я отвечал одним из двух: нет, сэр! или: это невероятно! Мы не могли поверить, что славный живописный городок Буонметхуот в горах, кофейную столицу, где я родился, разграбили в начале марта. Не могли поверить, что наш президент Тхьеу – имя, которое так и хочется выплюнуть, – по какой-то непостижимой причине отдал нашим войскам, защищающим горные районы, приказ об отступлении. Не могли поверить, что пали Дананг с Нячангом и что наши солдаты, в панике пробиваясь на баржи и лодки, стреляли в спину мирным жителям. Уединившись в своем укромном кабинете, я прилежно фотографировал эти отчеты, чтобы порадовать ими Мана, моего куратора. Как свидетельства неизбежной эрозии режима они радовали и меня, но я волей-неволей сочувствовал этим несчастным людям. Возможно, с политической точки зрения переживать за них и не стоило, но среди них могла бы оказаться моя мать, будь она жива. Она была из бедных, растила бедного ребенка – меня, а бедных никто не спрашивает, хотят ли они войны. И этих бедняков никто никогда не спрашивал, что они предпочитают: умереть от зноя и жажды в море у побережья или подвергнуться грабежам и насилию со стороны тех, кто вызвался их защищать. Если бы кто-нибудь из этих тысяч ожил после смерти, он не поверил бы, что она настигла его таким образом, как мы не могли поверить, что американцы – наши друзья, благодетели, союзники – отклонили нашу просьбу о новой финансовой помощи. Да и на что пошли бы у нас эти деньги? На боеприпасы, бензин и запчасти для оружия, танков и самолетов, которыми те же американцы снабдили нас даром. Обеспечив нас шприцами, они – вот негодяи! – вдруг перестали давать нам наркотик (за подарки, пробормотал генерал, всегда приходится платить дорогой ценой).

Под конец наших обсуждений и трапез генерал прикуривал от моей зажигалки “Лаки страйк” и замирал, глядя в пространство, пока сигарета медленно тлела у него в пальцах. В середине апреля, когда ожог горячим пеплом вывел его из задумчивости и он, не сдержавшись, обронил нехорошее слово, генеральша цыкнула на хихикающих детей и сказала: если ты будешь медлить и дальше, мы не выберемся. Проси у Клода самолет сейчас. Генерал притворился, что не слышал. Его супруга имела мозги-калькулятор, осанку инструктора по строевой подготовке и девичье тело даже после пятикратных родов, а экстерьер, в который все это было упаковано, понуждал наших живописцев, прошедших французскую школу, пускать в ход самые нежные тона акварели и самый расплывчатый мазок. Иначе говоря, она представляла собой образец вьетнамки. Откликом генерала на такую удачу стали вечная благодарность и вечный испуг. Потирая кончик обожженного пальца, он посмотрел на меня и сказал: думаю, пора просить у Клода самолет. И лишь когда он снова перевел взгляд на пострадавший палец, я покосился на генеральшу, которая просто подняла бровь. Хорошая мысль, сэр, ответил я.

Клод был нашим ближайшим американским другом. Мы состояли в самых доверительных отношениях – как-то раз он даже признался мне, что на одну шестнадцатую он негр. Так вот оно что, сказал я, тоже захмелевший от теннессийского бурбона, теперь ясно, почему у вас черные волосы и так здорово ложится загар, и почему вы танцуете ча-ча-ча не хуже любого из нас. Та же история была с Бетховеном, добавил он: шестнадцатая часть. Ага, сказал я, теперь ясно, почему “*Happy Birthday*” в вашем исполнении – это прямо концертный номер. Мы с ним были знакомы больше двух десятков лет; еще в пятьдесят четвертом он увидел меня на барже среди беженцев и распознал мои способности. Девятилетний да ранний, я уже прилично болтал по-английски, научившись этому у одного из первых американских миссионеров. В ту пору официальной работой Клода была помощь беженцам. Теперь он входил в штат американского посольства и формально занимался развитием туризма в нашей истерзанной войной стране.

Для этого, как вы понимаете, ему приходилось до последней капли выжимать платок, вымоченный в поту делового и не знающего сомнений американского духа. В действительности же Клод был цээршником, подвизавшимся у нас еще со времен французской империи. Еще тогда, когда ЦРУ называлось УСС, Хо Ши Мин обратился к ним за помощью в борьбе с Францией. Он даже процитировал их отцов-основателей в Декларации независимости нашей страны. Враги Дядюшки Хо считали, что на языке у него одно, а на уме другое, но Клод полагал, что видит его насквозь. Я позвонил Клоду из своего кабинета в двух шагах от генеральского и сообщил ему по-английски, что генерал потерял всякую надежду. По-вьетнамски Клод говорил плохо, по-французски еще хуже, но его английский был безупречен. Я отмечаю это лишь потому, что далеко не обо всех его соотечественниках можно сказать то же самое.

Все кончено, заявил я Клоду, и после этих слов сам полностью осознал, что так оно и есть. Я думал, Клод станет возражать и обещать, что мы еще увидим в небе тучи американских бомбардировщиков или что американские ВДВ скоро примчатся спасать нас на боевых вертолетах, но Клод меня не разочаровал. Попробую что-нибудь устроить, сказал он на фоне смутного гула голосов. Наверное, в посольстве царил сумятица: измотанные чиновники, перегретые телетайпы, срочные депеши, летающие туда-сюда между Сайгоном и Вашингтоном, и такой густой смрад поражения в воздухе, что с ним не в силах справиться даже кондиционеры. Если не считать редких вспышек, Клод хранил спокойствие; он жил здесь так давно, что почти не потел, несмотря на тропическую сырость. Он мог подкрасться к вам незаметно в темноте, но ему никогда не удалось бы стать невидимкой в нашей стране. Он тоже был интеллектуалом, но особого, американского типа – разрядник по спортивной гребле, супермен с рельефными бицепсами. Тогда как наши умники обыкновенно отличались хилостью, бледностью и близорукостью, Клод при росте под метр девяносто имел орлиное зрение и держал себя в форме, каждое утро сажая на закорки своего слугу, мальчишку-нунга, и выполняя с ним по двести отжиманий. В свободное время он читал – когда он приходил на нашу виллу, под мышкой у него всегда торчала книга, обернутая в грубую почтовую бумагу, как порнуха или школьный учебник. Через несколько дней он явился к нам с “Азиатским коммунизмом и тягой к разрушению по-восточному” Ричарда Хедда.

Книга предназначалась для меня, генерал же получил бутылку “Джек Дэниелс” – я тоже предпочел бы ее, будь у меня выбор. Тем не менее я внимательно изучил обложку, пестрящую дифирамбами; их авторы захлебывались от восторга, точно пятнадцатилетние пигалицы из фан-клуба, но на самом деле это счастливое чирикание исходило от парочки министров обороны, сенатора, приехавшего в нашу страну на две недели “за фактами”, и известного телеведущего, который перенял свою манеру речи у Моисея в исполнении Ричарда Хестона. Причина их ликования крылась в увесистом подзаголовке: “Как понять и победить марксистскую угрозу в Азии”. Клод сказал, что это практическое пособие сейчас читают все, и я пообещал тоже с ним ознакомиться. Генерал с треском вскрыл бутылку; он не был расположен к обсуждению книг и прочей пустой болтовне в столице, окруженной восемнадцатью вражескими дивизиями. Он желал услышать о самолете, и Клод, катая в ладонях стаканчик с виски, сказал, что может предложить нам лишь черный, то есть незарегистрированный, рейс на C-130. В нем размещаются девяносто два парашютиста со снаряжением – это было прекрасно известно генералу, ибо, прежде чем возглавить по просьбе президента Национальную полицию, он служил в воздушно-десантных войсках. Беда в том, объяснил он Клоду, что у него одной родни пятьдесят восемь человек. Конечно, не все они хороши – честно говоря, некоторых он даже презирает, – но жена никогда не простит ему, если он не спасет их всех.

А как же мой штаб, Клод? – спросил генерал на своем чистом, церемонном английском. Что будет с ними? Оба устремили взгляды на меня. Я постарался изобразить на лице отвагу. Я не был в штабе старшим по званию, но как адъютант генерала и офицер, ближе всех остальных знакомый с американской культурой, присутствовал на каждой его встрече с американцами. Кое-кто из моих земляков говорил по-английски не хуже меня, хотя и с легким акцентом, но почти никто не

мог, подобно мне, обсуждать текущую ситуацию в чемпионате по бейсболу, ужасное поведение Джейн Фонды или преимущества “Роллинг стоунз” перед “Битлз”. Если бы американец послушал меня с закрытыми глазами, он решил бы, что я один из них. В телефонных разговорах меня и впрямь часто принимали за американца. Затем, при личной встрече, мой собеседник неизменно изумлялся моему облику и почти всегда спрашивал, где это я научился так здорово говорить по-английски. В нашей рисово-банановой республике это воспринималось как особая привилегия: штатники ожидали увидеть во мне типичного представителя тех миллионов, которые либо вовсе не знали английского, либо нещадно его коверкали. Меня эти ожидания раздражали, а потому я никогда не упускал случая показать, как свободно я владею их языком и в письменной, и в устной форме. Мой лексикон был богаче, а грамматика – правильнее, чем у среднего образованного американца. Я понимал оттенки речи в любом регистре, и когда Клод назвал своего посла, не желающего признавать неизбежность катастрофы, мудаком, который засунул голову себе в жопу, это не вызвало у меня никакого недоумения. Официально эвакуация еще не объявлена, сказал Клод, пока что мы отсюда не снимаемся.

Генерал редко повышал голос, но в этот раз не стерпел. А неофициально вы нас бросаете! – закричал он. Самолеты вылетают из аэропорта круглые сутки. Все, кто работает с американцами, пытаются добыть выездную визу. Они идут за ней в ваше посольство. Своих женщин вы уже эвакуировали. Детей и сирот тоже. Почему единственные, кто не знает, что американцы отсюда снимаются, – это сами американцы? У Клода хватило воспитания на то, чтобы прикинуться смущенным. Если объявить эвакуацию, в городе вспыхнут мятежи, пояснил он, и оставшимся американцам, возможно, не поздоровится. Так произошло в Дананге и Нячанге: американцы бежали оттуда со всех ног, а местные передрались между собой. Жертв были тысячи. Но, несмотря на эти прецеденты, здесь пока на удивление спокойно. Большинство сайгонцев ведут себя как благородные супруги, готовые утонуть, сжимая друг дружку в объятиях и ни словом не обмолвившись о своих постыдных изменах. Правда в данном случае состоит в том, что на американцев так или иначе работают или работали по крайней мере миллион человек: одни чистили им ботинки, другие управляли армией, созданной по их образцу, третьи делали им минет за деньги, на которые в Пеории или Покипси можно купить разве что гамбургер. Многие из этих людей верят, что если коммунисты победят (теперь они наконец признали такую возможность), то их ждет тюрьма или удавка, а девственниц – принудительный брак с варварами. Да и почему бы им не верить? Эти слухи упорно распускало ЦРУ.

Итак... – начал генерал, но Клод перебил его. У вас есть один самолет, и считайте, что вам повезло, сэр. Генерал не привык клянчить. Он допил виски, как и Клод, а затем пожал ему руку и распрощался с ним, ни на миг не отведя взгляда в сторону. Американцы любят смотреть людям в глаза, как-то сказал мне он, особенно когда имеют их сзади. Клод видел ситуацию иначе. Другим генералам достались только места для ближайших родственников, сказал он нам уже с порога. Даже Ной и Господь Бог не могли спасти всех. Или не хотели, неважно.

Так ли уж не могли? Что сказал бы на это мой отец? Он был католическим священником, но я не помню, чтобы этот смиренный миссионер когда-нибудь читал проповедь о Ное, – впрочем, на мессе я всегда больше дремал, чем слушал. Но в одном сомневаться не приходилось: любой сотрудник генеральского штаба при малейшей возможности постарался бы спасти сотню своих настоящих родичей и всех фальшивых, у кого нашлись бы деньги на взятку. Единственный сын матери-изгоя, порой я жалел, что лишен обычной для вьетнамцев большой семьи с ее сложным и тонким устройством, но сегодня был не тот случай.

Через несколько часов после нашей встречи с Клодом президент сложил с себя полномочия. Я ждал, что он покинет страну еще несколько недель назад, как и положено диктатору, поэтому весть о его отставке мало меня тронула, тем более что я уже ломал голову над списком эвакуируемых. Генерал, человек педантичный и добросовестный, умел принимать быстрые и жесткие решения, но эту работу он

поручил мне. У него было полно своих дел: читать утренние протоколы допросов, участвовать в штабных совещаниях, вести с доверенными лицами телефонные переговоры о том, как защищать город и при этом быть готовыми покинуть его в любой момент (задача не менее каверзная, чем играть в “музыкальные стулья” под свою любимую песенку). Музыка была у меня на уме, ибо в моей комнате на вилле стоял приемник “Сони”, и, размышляя над списком, я слушал ночные передачи американского радио. Благодаря песням “Иглз”, “Роллинг стоунз” и Дженис Джоплин плохое почти всегда становилось терпимым, а хорошее чудесным, но сейчас не помогли даже они. Каждый раз, зачеркивая чье-нибудь имя, я словно подписывал смертный приговор. Все наши имена, от генерала до самого младшего офицера, мы обнаружили на скомканном листке во рту его владелицы, когда вломились к ней в дом. Предупреждение, которое я отправил Ману, не успели передать ей вовремя. Когда полицейские скрутили шпионку коммунистов и повалили ее на пол, мне не оставалось ничего другого, кроме как залезть к ней в рот и вытащить листок, который она пыталась проглотить. Этот пропитанный слюной комок наглядно доказывал, что наш Особый отдел, привыкший за всеми следить, сам находится под слежкой. Даже если бы мне удалось провести минутку наедине с арестованной, я не смог бы признаться, что я на ее стороне: риск был слишком велик. Я знал, какая судьба ее ждет. В Особом отделе допрашивали на совесть, и она волей-неволей меня выдала бы. Она была молода, гораздо моложе меня, но достаточно опытна, чтобы тоже не питать никаких иллюзий. В одно мгновение я успел прочесть в ее глазах правду – в них вспыхнула ненависть ко мне, приспешнику деспотического режима, – но потом она, как и я, вспомнила, что должна играть свою роль. Прошу вас, господи! – воскликнула она. Я невиновна! Клянусь!

Три года спустя эта коммунистическая шпионка все еще сидела в тюрьме. Я держал ее папку у себя на столе как напоминание о том, что мне не удалось ее спасти. Это была и моя вина, признался Ман. Когда придет день освобождения, я сам отопру ей дверь. Ее арестовали в двадцать два года; в папке была ее тогдашняя фотография и другая, снятая пару месяцев назад, с потускневшими глазами и поредевшими волосами. Наши тюремные камеры походили на машины времени: их обитатели старели намного быстрее, чем в обычной жизни. Я поглядывал на ее лицо тогда и теперь, и это помогало мне отбирать для спасения единицы и вычеркивать многих, включая тех, кому я симпатизировал. Я кроил и перекраивал свой список несколько дней – за это время были уничтожены защитники Суанлока, а Пномпень пал под напором красных кхмеров. Еще через ночь-другую наш экс-президент удрал на Тайвань. Отвозя беглеца в аэропорт, Клод заметил, что в его несообразно тяжелых чемоданах что-то позвякивает – возможно, изрядная доля нашего государственного золотого запаса. Он поведал мне об этом на следующее утро, когда позвонил предупредить, что наш рейс отправляется через два дня. Ближе к вечеру я закончил свой список и сказал генералу, что постарался сделать его демократичным и репрезентативным, включив туда офицера, высшего по званию, офицера, которого все считают самым честным, того, чье общество я ценю больше всего, и так далее. Генерал согласился с таким подходом и его неизбежным следствием – что значительное количество старших офицеров, весьма осведомленных и близко причастных к работе Особого отдела, придется оставить. В итоге в мой перечень вошли полковник, майор, еще один капитан и два лейтенанта. Что касается меня, то я зарезервировал одно место для себя и три для Бона, его жены и сына, моего крестника.

Вечером генерал зашел ко мне с уже полупустой бутылкой виски, чтобы слегка меня подбодрить, и я попросил у него разрешения взять с нами Бона. Хотя и не связанный со мной биологическим родством, он еще со школьной поры был одним из двух моих побратимов. Другим был Ман; подростками мы поклялись, что останемся верными друзьями до могилы. Мы даже порезали себе ладони и скрепили свою клятву ритуальными рукопожатиями, смешав таким образом нашу кровь. Я носил в бумажнике черно-белую фотографию Бона с семьей. Бон имел вид обычного парня, которого избили до неузнаваемости, но изуродовал его не кто иной, как Господь Бог. Даже берет десантника и идеально выглаженный камуфляжный костюм не могли отвлечь внимание от его парусоподобных ушей,

безнадежно застрявшего в складках шеи подбородка и плоского носа с сильным уклоном вправо, как его политические взгляды. Что же касается его жены Линь, поэт сравнил бы ее лицо с полной луной, намекая этим не только на его величину и округлость, но и на рубцы от угрей, рассыпанные по нему, точно кратеры. Как они умудрились произвести на свет такого симпатичного мальчишку, как Дык, было загадкой – а может, в этом была та самая железная логика, согласно которой минус на минус непременно дает плюс. Генерал вернул мне снимок со словами: ну, хотя бы это я могу для вас сделать. Он десантник. Если бы вся наша армия состояла из десантников, мы выиграли бы эту войну.

Если бы... но никакого “если бы” не было, была лишь неопровержимая реальность: генерал, присевший на краешек моего стула, и я у окна, жадно глотающий виски. Во дворе ординарец генерала охалками скармливал военные тайны огню, полыхающему в двухсотлитровой бочке, еще больше раскаляя и без того жаркую ночь. Генерал встал и принялся расхаживать по комнатке со стаканом в руке – в одних трусах и майке, с синевой полуночной щетины на подбородке, он напоминал растерянного неудачника из пьесы Теннесси Уильямса. Таким, да и то изредка, его видели только домработницы, ближайшие родственники да я. Перед приемом посетителей, в какой бы час они ни явились, он непременно помадил себе волосы и облачался в свежевыглаженный мундир цвета хаки, разукрашенный лентами, как прическа королевы бала. Но этим вечером, когда тишину на вилле эпизодически нарушала лишь далекая пушечная пальба, он позволил себе побрюзжать на американского Молоха, обещавшего спасти нас от коммунизма при условии, что мы будем неукоснительно его слушаться. Они затеяли эту войну, а теперь устали от нее и предали нас, сказал он, подливая мне виски. Но кого нам винить, кроме себя? Мы, как дураки, поверили им на слово. А теперь деваться некуда – катись в Америку. В мире есть места и похуже, ответил я. Возможно, сказал он. По крайней мере, мы живы, а значит, борьба еще не кончена. Но в данный момент нас грубо и цинично поймали. Какой тост тут годится?

Я поразмыслил.

За кровь в глазу, сказал я.

Вот-вот.

Я забыл, у кого я перенял этот тост и даже что он значит, – помнил только, что привез его из Америки. Генерал тоже побывал там: в пятьдесят восьмом, еще младшим офицером, он в составе небольшого спецподразделения проходил боевую подготовку в Форт-Беннинге, где ему в течение нескольких месяцев делали прививки от коммунизма. В моем случае вакцина не привилась. Уже тогда я вел двойную жизнь – лауреат особой стипендии и начинающий шпион, я был единственным представителем нашей страны в маленьком, окруженном живописными рощами колледже под названием Оксидентал и с девизом *Occidens Proximus Orienti*. Я провел в дремотном, солнечном калифорнийском раю шесть идиллических лет. Чего только не изучали в нашем заведении – автомагистраль, гражданские правонарушения, канализационные системы и уйму других полезных вещей, – но все это было не для меня. Ман, мой коллега-конспиратор, дал мне задание изучить американский образ мыслей. Я должен был вести психологическую войну. Ради этого я штудировал американскую историю и литературу, оттачивал свою грамматику и запоминал сленг, курил травку и потерял невинность. В итоге я одолел не только бакалавриат, но и магистратуру, став экспертом по всему американскому. Я и теперь отлично помню, где мне впервые попались на глаза удивительные слова величайшего из американских философов, Эмерсона, – на лужайке у переливчатой купы палисандровых деревьев. Мой взгляд блуждал между моими экзотическими смуглыми однокашниками, загорающими на июньской травке в шортах и топиках, и четкими черными словами на ослепительно-белой странице: *последовательность – это пугало ограниченных умов*. Эмерсон не написал об Америке ничего более справедливого, но не только поэтому я подчеркнул его афоризм один раз, второй, а потом и третий. Нет, другое поразило меня тогда и не выходит из головы до сих пор: то же самое можно сказать о моей родине, где обитают самые непоследовательные люди на свете.



Когда наступило последнее утро, я отвез генерала в его кабинет на территории, принадлежащей Национальной полиции. Мой кабинет находился неподалеку от генеральского, и я по очереди вызвал туда пятерых избранных для разговора с глазу на глаз. Улетаем сегодня? – спросил полковник, вояка с большими влажными глазами маленькой девочки. Да. Мои родители? Родители жены? – спросил майор, упитанный завсегдатай китайских ресторанов в Тёлоне. Нет. Братья, сестры, племянники и племянницы? Нет. Няньки и домработницы? Нет. Чемоданы, одежда, фарфоровые сервизы? Нет. Капитан, припадающий на одну ногу из-за венерической болезни, пригрозил покончить с собой, если я не найду дополнительных мест. Я предложил ему свой револьвер, и он угрюмо отчалил. Юные лейтенанты, наоборот, встретили известие восторженно. Свои драгоценные должности они получили благодаря родительским связям, и их движения были нервными и дергаными, как у марионеток.

Я запер дверь перед носом последнего просителя. Окна дребезжали от далеких взрывов, и на востоке были видны клубы дыма и пламени. Вражеская артиллерия подожгла склад боеприпасов в Лонгбине. Я чувствовал грусть, смешанную с радостью, – словом, было что отметить, и я полез в ящик стола, где лежала недопитая бутылка “Джим Бим”. Спрашивать, не слишком ли много я пью, было все равно что спрашивать, умеют ли монахи креститься. Будь жива моя бедная матушка, она сказала бы: не пей столько, сынок. До добра это не доведет. Так ли, мама? Быть кротом в генеральском штабе непросто – в подобной ситуации любой искал бы утешения везде, где только можно. Я прикончил остатки виски, потом отвез генерала домой. Пока мы ехали, хлынул ливень, предвестие дождливого сезона; кто-то надеялся, что ненастная погода замедлит наступление северян, но мне это казалось маловероятным. Обойдясь без ужина, я собрал рюкзак: туалетные принадлежности, запасные штаны и клетчатая рубашка из лос-анджелесского супермаркета, туфли, три смены белья, электрическая зубная щетка с местного рынка, фотография матери в рамочке, конверты с другими фотографиями, здешними и американскими, мой “Кодак” и “Азиатский коммунизм и тяга к разрушению по-восточному”.

Сам рюкзак мне подарил Клод в честь окончания колледжа. Это была лучшая из моих вещей: хочешь – носи за плечами, а хочешь – подтяни ремешки по бокам, и в руках у тебя окажется удобный портфель. Сработанный из мягкой коричневой кожи знаменитым британским производителем, он густо и загадочно пах осенними листьями, жареным на гриле омаром, а также потом и спермой интернатов для мальчиков из богатых семей. Сбоку красовалась монограмма из моих инициалов, но самым главным достоинством рюкзака было двойное дно. В багаже каждого мужчины должен быть тайник, сказал Клод. Неизвестно, когда и зачем он тебе понадобится! Клод не знал, что теперь я прячу там миниатюрный фотоаппарат “Минокс” – подарок Мана. Его цена в несколько раз превышала мое годовое жалованье. Именно с его помощью я переснял немало секретных документов, к которым имел доступ, и полагал, что он мне еще пригодится. Напоследок я прошелся по оставшимся книгам и музыкальным записям – почти все я когда-то привез из Штатов, и почти все были чем-то мне памятни. Я не мог взять с собой Элвиса и Дилана, Фолкнера и Эллисона, и хотя все это поддавалось восстановлению, писать на ящике с книгами и дисками адрес Мана было тяжело. Пришлось бросить и гитару, которая осталась лежать на кровати, укоризненно поблескивая широкими бедрами.

Завершив сборы, я сел в казенный “ситроен” и поехал за Боном. Увидев на машине генеральские звезды, военные полицейские на контрольных постах пропускали меня без заминки. Путь мой лежал за реку, на жалкую Ривьеру, где сгрудились лачуги беженцев, кособокие сооружения из американских картонных коробок. Эти убогие жилища служили приютом несчастным травмированным селянам, давно лишившимся своего хозяйства. Их фермы были отравлены марочными дефолиантами, творениями рук заокеанских ученых, аккуратно подстригающих свои лужайки, стерты с лица земли гладко выбритыми психопатами, нашедшими в артиллерии свое истинное призвание, или сожжены дотла солдатами-пироманьяками, выходцами из городских трущоб, которым в свою очередь суждено

было погибнуть в огне расовых мятежей. Скоро я достиг недр Четвертого района – Бон с Маном ждали меня там в пивной под открытым небом, где наша троица провела столько хмельных часов, что и не счесть. За столиками, спрятав винтовки под табуреты, тесно сидели пехотинцы как морской, так и сухопутной разновидности, нещадно оболваненные армейскими парикмахерами, этими френологами-извращенцами, которые никогда не упускают случая выставить на всеобщее обозрение форму черепа своей очередной жертвы. За встречу, сказал Бон, наливая мне пива так щедро, что пена потекла через край. Следующая будет на Филиппинах! На Гуаме, поправил я: диктатор Маркос сыт беженцами по горло и больше не желает их принимать. Бон со стоном потер лоб кружкой. Я-то думал, что паршивей уже не бывает. А теперь еще и филиппинцы на нас сверху вниз смотрят? Плюнь ты на филиппинцев, сказал Ман, поднимая свою кружку. Давай выпьем за Гуам – остров, на котором начинается американский день. А наш кончается, пробормотал Бон.

В отличие от нас с Маном, Бон был истинным патриотом, республиканцем, который пошел на войну добровольно: он ненавидел коммунистов с тех самых пор, как один из них уговорил его отца, деревенского вора, прилюдно стать на колени и покаяться, а потом демонстративно вогнал ему пулю в ухо. Если бы не мы с Маном, Бон наверняка по-самурайски бился бы до конца, приберегая для себя последний патрон, но мы убедили его подумать о жене и сыне. Уехать в Америку – не дезертирство, заявили мы. Это отступление, стратегический ход. Мы сказали Бону, что завтра Ман тоже улетит вместе с семьей, тогда как в действительности Ман рассчитывал своими глазами увидеть освобождение Юга теми самыми коммунистами-северянами, которых Бон на дух не выносил. Сейчас Ман сжал его плечо своими длинными изящными пальцами и сказал: мы кровные братья, все трое. Мы останемся братьями, даже если проиграем эту войну и потеряем нашу страну. Он взглянул на меня повлажневшими глазами. Для нас конца не будет.

Ты прав, сказал Бон, истово кивая, чтобы скрыть слезы. Хватит грустить и сокрушаться. Выпьем за надежду! Мы вернемся, чтобы продолжить бой. Не так ли? И в свой черед посмотрел на меня. Я тоже прослезился, и мне было не стыдно. Даже имея я настоящих братьев, эти были бы лучше, потому что мы сами друга друга выбрали. Я поднял кружку. За возвращение, сказал я. И за братство, которому нет конца. Мы осушили кружки, велели официанту принести еще и, обнявшись за плечи, добрый час изливали свои братские чувства посредством пения, благо владельцы пивной расщедрились на дуэт музыкантов. Одним из них был длинноволосый гитарист, уклоняющийся от армии, – его болезненная бледность объяснялась тем, что последние десять лет он провел в стенах хозяйского дома, выходя наружу только по ночам. Ему составляла компанию сладкоголосая певица с такими же длинными волосами; стройность ее фигурки подчеркивал шелковый аозай цвета румянца на щеках девственницы. Она пела песни Чинь Конг Шона, народного сочинителя, которого любили даже десантники. *Милая, я завтра уезжаю...* – лилось поверх шума дождя и гула голосов. *Позвони мне домой, не забудь...* Мое сердце затрепетало. Наш народ не из тех, что поднимаются на войну по зову трубы и под рокот барабанов. Нет, мы воюем под трели любовных песен, ибо мы – азиатские итальянцы.

*Милая, я завтра уезжаю. Прощайте, городские вечера...* Знай Бон, что сегодня он расстается с Маном на целые годы, а может, и навсегда, он наотрез отказался бы лезть в самолет. Еще с лицейской поры мы воображали себя тремя мушкетерами – один за всех и все за одного. С Дюма нас познакомил Ман – во-первых, потому что Дюма был великий писатель, а во-вторых, потому что он был квартироном, а значит, образцом для нас, колонизированных теми самыми французами, которые презирали его за расовую неполноценность. Запойный читатель и рассказчик, в мирное время Ман наверняка стал бы учителем литературы в нашем лицее. Он не только перевел на родной язык три детектива Эрла Стенли Гарднера про Перри Мейсона, но и написал под псевдонимом невзрачный романчик в духе Золя. Он изучал Америку, хотя сам ни разу там не бывал, так же как и Бон, снова махнувший официанту. Есть в Америке такие пивные? – спросил он, повторив заказ. Там есть бары и супермаркеты, где всегда можно взять пива, сказал я. А

есть ли там красавицы, которые поют такие песни? Я наполнил его кружку и сказал: там есть красавицы, но они не поют таких песен.

Потом гитарист начал брать знакомые аккорды. Они поют такие песни, сказал Ман. *Yesterday, all my troubles seemed so far away... И мы, все трое, подхватили: Now it looks as though they're here to stay, oh I believe in yesterday... Suddenly...* На мои глаза снова навернулись слезы. Каково это – жить без войны, когда тобой не командуют воры и трусы, а твоя родина не похожа на доходягу под скудеющей капельницей американской помощи? Я не знал никого из молодых солдат вокруг, за исключением своих кровных братьев, но мне было жаль их всех, с горечью сознающих, что через считанные дни их убьют, или ранят, или арестуют, или унижат, или бросят, или забудут. Они были моими врагами, но в то же время и братьями по оружию. Их любимому городу предстояло пасть, моему – освободиться. Их миру наступал конец, мой ожидала не более чем радикальная трансформация. Но несколько минут мы пели от всего сердца, думая лишь о прошлом и отведя свой взгляд от будущего, – обреченные, плывущие на спине к водопаду.

Когда мы уходили, дождь наконец перестал. Решив напоследок выкурить еще по сигаретке, мы задержались в устье промокнувшей насквозь аллеи у ограды бара, и тут из сырой вагинальной тьмы вывалились трое гидроцефалов в заляпанных пивом куртках морпехов. *Сайгон, Сайгон!* – распевали они. *Ты прекрасен, Сайгон!* Хотя было только шесть часов, они уже успели надраться. У каждого на плече висела винтовка, и каждый мог похвастаться дополнительной парой яиц. При ближайшем рассмотрении это оказались гранаты, пристегнутые к поясам по обе стороны от пряжки. Их оружие и форма были американского производства, как и у нас самих, однако мы сразу опознали в них своих единоплеменников: их выдавали мятые каски, слишком просторные для вьетнамских черепов. Болтая головой, как болванчик, первый морпех наткнулся на меня, и каска съехала ему почти на нос. Он с руганью сдвинул ее вверх, и я увидел мутные глаза, старающиеся поймать меня в фокус. Привет! – сказал он, обдав меня пивной вонью. У него был такой сильный южный акцент, что я едва его понимал. Ты кто? Полицейский? Чего ты лезешь к настоящим солдатам?

Ман стряхнул на него пепел. Этот полицейский – капитан. Отдайте честь старшему, лейтенант.

Как вам будет угодно, майор, сказал второй морпех, тоже лейтенант, но тут вмешался третий, в том же звании. Майоры, полковники, генералы – да пошли они все! Президент удрал. Генералы – пуф! Растаяли как дым. Спасают свою жопу, ясное дело. А мы должны прикрывать отступление. Так оно всегда и бывает! Какое еще отступление? – спросил второй. Отступать-то некуда! Считай, мы уже трупы, сказал третий. Почти, согласился первый. Как говорится, каждому свое.

Я выбросил сигарету. Вы пока еще не трупы, а потому отправляйтесь-ка по месту службы. Первый снова сфокусировался на моем лице и подступил ко мне вплотную, так что едва не уткнулся своим носом в мой.

Да кто ты такой, а?

Вы забываетесь, лейтенант! – воскликнул Бон.

Я скажу тебе, кто ты. Морпех ткнул меня пальцем в грудь.

Лучше не надо, сказал я.

Ублюдок! – крикнул он. Два остальных засмеялись и подхватили: ублюдок!

Я вынул револьвер и приставил дуло ко лбу морпеха. Его товарищи позади нервно теребили винтовки, но на большее не отваживались. Несмотря на хмель, они понимали, что не успеют выстрелить раньше, чем мои относительно трезвые друзья.

Вы пьяны, лейтенант! Мой голос невольно дрогнул. Не правда ли?

Так точно, сказал морпех. Сэр.

Тогда я не стану вас убивать.

И тут, к моему огромному облегчению, мы услышали первую из бомб. Наши головы мигом повернулись в направлении взрыва, за которым последовал еще один и еще, все на северо-западе. Это аэропорт, сказал Бон. Пятисотфунтовки. Как потом выяснилось, он не ошибся ни в том ни в другом. Скоро вдалеке за клубился черный дым, но больше ничего видно не было. Потом вдруг словно затарахтело все оружие в округе, от центра города до аэропорта, – винтовочный треск мешался с более низким буханьем пушек, в небе вспыхивали оранжевые хвосты трассирующих снарядов. Все обитатели нашей жалкой улицы тут же прилипли к окнам или высунулись из дверей, и я снова спрятал револьвер в кобуру. Появление стольких свидетелей явно отрезвило лейтенантов-морпехов. Не издав больше ни звука, они залезли в свой джип и дали газу. Петляя между стоящими на обочинах мотоциклами, они добрались до перекрестка, остановили машину и выскочили из нее с винтовками в руках. Пальба продолжалась, народ запрудил тротуары. Когда морпехи оглянулись на нас в мертвенно-желтом свете фонаря, мое сердце застучало быстрее, но они только вскинули свои М-16 к небесам и с отчаянными воплями выпустили туда все патроны. Сердце у меня колотилось, а по спине струйками сбегал пот, но ради своих друзей я улыбнулся и закурил новую сигарету.

Идиоты! – крикнул Бон, и горожане в подъездах сгорбились еще сильнее. В ответ морпехи в двух словах сообщили, что они думают о нас, потом опять прыгнули в джип, свернули за угол и исчезли. Я и Бон распрощались с Маном, и после того как он уехал на своем джипе, я кинул Бону ключи от “ситроена”. Бомбежка и стрельба прекратились, и всю дорогу до своего дома он виртуозно проклинал наши военно-морские силы. Я благоразумно помалкивал. От морпехов не стоит требовать знания светских манер. От них требуется одно – быстрая работа инстинктов, когда речь идет о жизни и смерти. Что же до определения, которое они мне дали, меня огорчило не столько оно само, сколько моя реакция на него. Мне пора было бы уже привыкнуть к этому ходовому оскорблению, но почему-то у меня это никак не получалось. Моя мать была местной уроженкой, отец – иностранцем, и многие, знакомые и незнакомые, с удовольствием напоминали мне об этом с самого детства – они плевали на меня и говорили, что я ублюдок, хотя иногда, чтобы не соскучиться, делали это в обратном порядке.

## Глава 2

Вот и теперь круглолицый охранник, периодически заглядывающий ко мне в камеру, обзывает меня ублюдком, когда ему вздумается. Удивляться тут нечему, хотя от ваших подчиненных, уважаемый комендант, я ожидал лучшего. Признаю, что это по-прежнему неприятно слышать. Отчего бы ему, просто ради разнообразия, не назвать меня дворняжкой или полукровкой? Или, скажем, метисом – так именовали меня французы, когда не называли евразийцем. Последнее определение подернуто романтическим флером для американского уха, но отнюдь не для самих французов. Время от времени они еще попадались мне в Сайгоне – ностальгирующие колонизаторы, упорно не желающие покидать нашу страну даже после банкротства своей империи. Они собирались в клубе “Серкль спортиф”, потягивали перно и жевали резиновую отбивную воспоминаний, перебирая давние события на сайгонских улицах, которые называли по-старому, по-французски: Ляграндьер, Сомм, Шарне. Прислугу из местных они третировали с высокомерием нуворишей, а когда появлялся я, косились на меня подозрительно, точно таможенники на паспортном контроле.

Впрочем, “евразийцев” изобрели не они. За это нужно сказать спасибо англичанам в Индии, которые тоже были не прочь побаловаться темными шоколадками. Как и те британцы в пробковых шлемах, экспедиционные войска США в Тихоокеанском бассейне оказались не в силах противиться местным соблазнам. Они даже придумали специальное слово для гибридов вроде меня – амеразийцы. Хотя в моем случае оно не годилось, я не мог упрекать американцев за то, что они видят во мне сородича, так как потомства американских солдат в тропиках, этой особой разновидности продукции казенного образца, запросто хватило бы на заселение небольшой страны. Мои земляки, предпочитающие терминам эвфемизмы, называют таких, как я, пылью жизни. С юридической точки зрения, согласно законам всех известных мне стран, меня полагается именовать внебрачным сыном, или незаконнорожденным; мать называла меня плодом любви, но об этом мне вспоминать не хочется. В конечном счете, самый правильный вариант избрал мой отец: он не называл меня никак.

Вполне естественно, что я питал теплые чувства к генералу, ибо он, подобно моим друзьям Ману и Бону, никогда не тыкал мне в глаза моим сомнительным происхождением. Когда я поступил на службу к нему в штаб, генерал заметил: меня интересует лишь то, насколько хорошо вы будете выполнять мои приказы, хотя я не обещаю приказывать вам делать только хорошее. Я уже не раз подтверждал свою компетентность, и подготовка эвакуации стала очередной успешной проверкой моего умения прочертить тонкую грань между легальным и нелегальным. Я составил список, заказал автобусы, а самое главное – подкупил тех, от кого зависела безопасность наших перемещений. Взятки извлекались из сумки с десятью тысячами долларов – именно столько я запросил у генерала, после чего он переадресовал меня к генеральше. Это экстраординарная просьба, сказала мне она за чашкой улуна в своей гостиной. Мы с вами в экстраординарной ситуации, ответил я. Для девяноста двух беженцев сумма вполне разумная. Как и все, кто прикладывал ухо к рельсам, по которым в нашем городе носились сплетни, она не смогла ничего возразить. Если верить молве, цена визы, паспорта и места в самолете достигала многих тысяч долларов, в зависимости от выбранного комплекта и того, насколько скользким было положение покупателя. Но прежде чем давать взятку, требовалось как минимум найти нужных людей. Подумав, я обратился к корыстолюбивому майору, с которым свел знакомство в клубе “Розовая ночь” на Нгуен-Хюэ. Перекрикивая то психоделический грохот “СВС”, то поп-ритмы “Аптайт”, я выяснил, что он работает дежурным в аэропорту. За относительно скромное вознаграждение в тысячу долларов он сообщил мне, кто будет нести караул во время нашего отлета и где я могу найти их лейтенанта.

Итак, все было организовано, и мы с Бонем, забрав его жену и сына, явились на виллу к условленному часу, то бишь к семи вечера. У ворот ждали два голубых автобуса с решетками на окнах. Предполагалось, что гранаты террористов будут отскакивать от них, если только не окажутся реактивными – в этом случае

оставалось рассчитывать лишь на броню молитв. Взмолвленные семьи собрались во дворе, а генеральша с домашней прислугой стояла на крыльце виллы. Ее дети чинно устроились на заднем сиденье “ситроена” и с дипломатически нейтральными минами смотрели, как Клод с генералом курят перед капотом автомобиля. Достав список, я принялся вызывать всех по порядку, проверять фамилии и рассаживать людей по автобусам. Согласно предупреждениям, каждый взрослый и подросток имел при себе не более одного чемоданчика или саквояжа; некоторые из детей прижимали к себе тонкие одеяльца или гипсовых кукол со зверскими ухмылками на западных личиках. Бон был замыкающим; он придерживал под локоть Линь, а она, в свою очередь, вела за собой сына. Дык совсем недавно научился как следует ходить; в одной руке он сжимал желтенькую йо-йо, мой подарок, привезенный из Штатов. Я отдал мальчугану честь. Серьезно насупившись, он остановился, высвободил свою руку из материнской и ответил мне тем же. Все здесь, сообщил я генералу. Тогда поехали, сказал он и раздавил сигарету каблуком.

Напоследок генерал должен был распрощаться со своим слугой, поварихой, экономкой и тремя молоденькими гувернантками. Кое-кто из них просил взять его с собой, но генеральша ответила твердым отказом – она считала, что и так уже проявила чрезмерную щедрость, заплатив за подчиненных мужа. Что ж, она была права. Я знал по крайней мере одного генерала, который продал места, отпущенные на его штабных, по самой высокой цене из возможных. Теперь на крыльце плакали все, за исключением престарелого слуги с лиловым аскотским галстуком на дряблой шее. Он состоял при генерале ординарцем, когда тот был еще лейтенантом; оба под началом французов участвовали в кошмарной для них битве за Дьенбьенфу. Сейчас генерал не мог заставить себя посмотреть старику в глаза. Простите, сказал он, склонив непокрытую голову и сжимая в кулаке фуражку. До этого я никогда не слышал, чтобы он извинялся перед кем-нибудь, кроме своей супруги. Вы служили нам верой и правдой, а мы не сумели отплатить вам по достоинству. Но ни с кем из вас не случится ничего плохого! Возьмите на вилле все, что вам захочется, и уходите. Если спросят, не говорите, что знали меня и что когда-то у меня работали. А я... я даю вам клятву, что не брошу сражаться за свою страну! Тут генерал прослезился, и я протянул ему свой платок. В наступившей тишине раздался голос слуги: я прошу только одного, сэр. Чего же, мой друг? Дайте мне пистолет, чтобы я мог покончить с собой! Генерал покачал головой и вытер глаза моим платком. Ничего подобного ты не сделаешь. Иди домой и жди моего возвращения. Тогда я дам тебе пистолет. Слуга хотел было отдать честь, но вместо этого генерал пожал ему руку. Сегодня о генерале ходят разные пересуды, но я могу засвидетельствовать: он был искренний человек и верил во все, что говорил, даже если это была ложь, а значит, едва ли так уж сильно отличался от большинства из нас.

Генеральша выдала каждому остающемуся доллары в конвертах толщиной, пропорциональной рангу получателя. Генерал вернул мне платок и проводил супругу к “ситроену”. В этой заключительной поездке он сам намеревался сесть за обтянутый кожей руль и повести за собой автобусы. Я буду во втором, сказал Клод. Ты бери первый и проследи, чтобы шофер не заблудился. Прежде чем влезть в автобус, я помедлил у ворот, чтобы бросить последний взгляд на виллу, сооруженную во время оно для корсиканских владельцев каучуковой плантации. Над ее крышей раскинулся гигантский тамаринд – его длинные бугристые стручки с кислой начинкой свисали вниз, как пальцы мертвецов. На прощание перед дверьми по-прежнему кучкой стояли слуги. Я помахал им на прощание, и они смиренно помахали мне в ответ, сжимая в опущенных руках белые конверты, которые в лунном свете стали билетами в никуда.

Добраться от виллы до аэропорта было настолько просто, насколько это вообще возможно в Сайгоне, а значит, совсем не просто. Едешь от ворот направо по Тхисуан, потом сворачиваешь налево на Леванкует, направо на Хонгтхапту в сторону посольств, налево на Пастёр, еще раз налево на Нгуендиньтёу, направо на Конгли – и по прямой в аэропорт. Но вместо того чтобы повернуть по Леванкуету налево, генерал повернул направо. Куда это он? – спросил наш водитель. У него

были желтые от никотина пальцы и угрожающе острые ногти. Твое дело не отставать, сказал я с нижней ступеньки у дверцы, распахнутой в прохладную ночь. Первые места позади меня занимали Бон и Линь; Дык, сидящий у матери на коленях, подался вперед, заглядывая мне через плечо. Машин на улицах не было: по радио сообщили, что из-за налета на аэропорт в городе вводится круглосуточный комендантский час. Тротуары тоже опустели, разве что кое-где попадалась брошенная дезертиром армейская форма. Порой эта одежда лежала так аккуратно – каска поверх куртки, сапоги под штанами, – словно ее владельца выжгли из нее бластером. Даже в нашей южной столице, где ни одна вещь не пропадала зря, до этих мундиров никто не дотрагивался.

В моем автобусе ехали как минимум несколько военных, одетых в гражданское; прочие были генеральской родней, состоящей в основном из женщин и детей. Эти пассажиры переговаривались между собой, жалуясь на то или сё, но я пропускал их брюзжание мимо ушей. Даже попав в рай, вьетнамец не упустит случая заметить, что в аду теплее. Почему он поехал этой дорогой? – спросил водитель. Неужто забыл про комендантский час? Нас всех расстреляют или по крайней мере посадят. Бон вздохнул и покачал головой. Он же генерал, сказал мой друг, как будто это все объясняло – а впрочем, так оно и было. Тем не менее шофер не унимался. Мы миновали Центральный рынок, свернули на Лелой, и он перестал ворчать только тогда, когда генерал наконец затормозил на площади Ламшон. Перед нами возвышался греческий фасад здания Национальной ассамблеи, бывшего оперного театра. Именно отсюда наши политики управляли разыгрывающимся у нас в стране балаганным фарсом, дешевой комической опереткой, где блистали упитанные дивы в белых костюмах и усатые примадонны в сшитых на заказ военных мундирах. Высунувшись и задрав голову, я увидел ярко освещенные окна бара на крыше отеля “Каравелла”, куда генерала частенько приглашали на аперитив и встречи с журналистами, а он прихватывал с собой и меня. С балконов этого заведения открывался непревзойденный вид на Сайгон и его окрестности, и сейчас оттуда плыл далекий смех. Должно быть, собравшиеся там дипломаты из нейтральных стран и заграничные репортеры, готовые измерить городу температуру под его предсмертный хрип, любовались заревом над складом боеприпасов в Лонгбине и росчерками трассирующих снарядов, которые медленно гасли во тьме, как заблудившиеся мысли.

На меня накатило желание пальнуть на этот смех разок-другой, просто чтобы они там не заскучали. Когда генерал вылез из машины, я подумал, что и ему захотелось того же, но он повернулся в другую сторону, от здания Национальной ассамблеи к уродливому памятнику на травяной разделительной полосе. Я пожалел, что “кодак” у меня в рюкзаке, а не в кармане: стоило бы запечатлеть, как генерал отдает честь двоим массивным пехотинцам, рвущимся вперед, причем второй из них при этом едва не утыкается носом в зад своему товарищу. Бон и все остальные мужчины в автобусе последовали примеру генерала, а я тем временем гадал, что же все-таки делают эти герои – защищают народ, который прогуливается вокруг в погожий денек, или, с не меньшей вероятностью, атакуют здание Национальной ассамблеи, на которое направлены их пулеметы. У кого-то из пассажиров вырвалось рыдание, я тоже отдал честь и вдруг сообразил, что эти версии, в общем, не противоречат друг другу. Наши ВВС бомбили президентский дворец, наши армейцы застрелили и закололи нашего первого президента вместе с его братцем, а наши вечно недовольные генералы состреляли столько государственных переворотов, что и не счесть. После десятого путча я стал относиться к нашему абсурдному государству со смесью злости и отчаяния, слегка одобренной юмором, и под влиянием этого коктейля освежил свои политические клятвы.

Удовлетворенный, генерал вернулся за руль, и наша процессия тронулась дальше. Покидая площадь, мы пересекли Тудо, улицу с односторонним движением, и я мельком увидел кафе “Живраль”, где лакомился французским ванильным мороженым на свиданиях с благовоспитанными сайгонскими девушками и их сушеными тетками-дуэньями. Чуть дальше находилось другое кафе, “Бродар”, – поедая там аппетитные блинчики, я изо всех сил старался не замечать нищих,

которые ползли и ковыляли мимо бесконечной вереницей. У кого были руки, тот протягивал их за милостыней, у кого их не было, тот держал в зубах за козырек бейсбольную кепку. Инвалиды войны хлопали пустыми рукавами, как нелетающие птицы, немые старики гипнотизировали посетителей змеиным взглядом, бездомные сироты рассказывали о себе фантастические душераздирающие истории, молодые вдовы баюкали золотушных детей, с большой вероятностью взятых напрокат, а разнообразные калеки бахвалились самыми тошнотворными из всех известных человечеству недугов. Еще дальше к северу на Тудо был ночной клуб, где я отплясывал ча-ча-ча с юными леди в мини-юбках и наимоднейших туфлях с убийственными для стоп каблуками. Когда-то на этой улице селили своих холеных любовниц порфиноносные французы, затем им на смену пришли более вульгарные американцы, которые надирались в аляповатых барах вроде “Сан-Франциско”, “Нью-Йорк” и “Теннесси” с неоновыми вывесками и музыкальными автоматами, начиненными музыкой кантри. Тот, кого после дебоша мучила совесть, мог дотащиться до каменной базилики в конце улицы, куда генерал и привел нас через Хайбачынг. Перед кирпичным фасадом церкви стояла белая статуя Богородицы – руки распростерты в знак мира и прощения, взгляд опущен долу. Тогда как она и ее сын Иисус Христос готовы были принять любого местного грешника, их высокомерные жрецы, в том числе мой отец, чаще шпыняли меня, нежели привечали. Поэтому наши тайные встречи с Маном по моей просьбе всегда происходили именно здесь, в базилике: нам обоим нравилось изображать из себя верующих, поскольку в другом смысле мы ими и были. Смакуя эту иронию, мы смиренно преклоняли колени – атеисты, поставившие коммунизм выше Бога.

Мы встречались по средам, под вечер. В эту пору церковь была почти пуста – лишь с десяток аскетичных вдовиц почтенного возраста в кружевных мантильях и черных платках бормотали: *Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое...* Я уже отвык молиться, но невольно повторял вслед за ними отдельные слова. Крепкие, как пехотинцы-ветераны, эти старухи бесстрастно отсиживали восковые мессы в переполненном зале, где пожилые и хворые иногда падали в обморок от жары. На кондиционеры не хватало денег по бедности, но тепловой удар тоже был способом продемонстрировать свою непоколебимую веру. Католиков набожнее, чем в Сайгоне, трудно было найти – многие из них, как моя мать вместе со мной, уже бежали от коммунистов в пятьдесят четвертом (меня, девятилетнего, тогда никто ни о чем не спрашивал). Мана, тоже бывшего католика, эти свидания в церкви весьма забавляли. Покуда мы притворялись благочестивыми офицерами, которым мало одной мессы в неделю, я докладывал ему обо всех своих личных и политических прегрешениях. Он, в свою очередь, играл роль моего исповедника и назначал мне епитимью в форме распоряжений, а не молитв.

В Америку? – спросил я.

В Америку, подтвердил он.

Я сообщил ему о генеральском плане эвакуации, как только узнал о нем, и в последнюю среду получил в базилике новое задание. Оно исходило от вышестоящих органов, но от кого именно, я не знал. Так было безопаснее. Эта система практиковалась еще с наших лицейских дней, когда мы, вступив в учебную ячейку, украдкой двинулись по своей тропе, тогда как Бон продолжал открыто шагать по общепринятому маршруту. Кроме меня и Мана, создателя ячейки, в нее входил еще один наш ровесник. Под руководством Мана мы изучали революционную классику и познавали основы партийной идеологии. Мне было известно, что Ман числится и в другой ячейке на правах младшего ее члена, но личности его соратников оставались для меня тайной. Секретность и иерархия имели для революции принципиальное значение. Над ним, сказал Ман, стоит комитет из идейных товарищей. Над этим комитетом есть другой, из еще более идейных, а над тем еще, и так далее, и так далее, а венчает эту пирамиду, по всей видимости, не кто иной, как Дядюшка Хо (по крайней мере, венчал в годы его жизни) – самый идейный товарищ на свете, заявивший во всеуслышание, что НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ. За эти слова мы охотно пошли бы на смерть. Этот язык, жаргон ячеек, комитетов и партий, легко давался Ману.



Он унаследовал революционный ген от двоюродного деда, которого в Первую мировую забрали на службу во французскую армию. Он копал могилы, а самый лучший способ расшевелить жителя колоний – это показать ему белых людей голыми и мертвыми. Так говорил этот дед, во всяком случае, по словам Мана. Он погружал руки в их склизкие розовые кишки, неторопливо разглядывал их жалкие сморщенные пенисы и блевал при виде их гниющих мозгов, похожих на яйца всмятку. Пока он тысячами хоронил отважных юношей в коконах надгробных дифирамбов, сотканных пауками-политиками, в капилляры его сознания медленно просачивалось понимание того, что свои лучшие ресурсы Франция приберегает для родной почвы. На Индокитае отправляли посредственностей, укомплектовывая колониальную бюрократию школьными хулиганами, чудаками из шахматного клуба, прирожденными бухгалтерами и застенчивыми синими чулками – всех их двоюродный дед Мана теперь наблюдал в естественной среде обитания как изгоев и неудачников. И в этой-то швали, возмущался он, нас учат видеть белых полубогов? Его антиколониализм стал еще радикальнее, когда он влюбился во француженку-медсестру, троцкистку, убедившую его примкнуть к французским коммунистам – единственным, кто предлагал приемлемый ответ на индокитайский вопрос. Ради нее он вкусил горький чай изгнания. Позже у них с медсестрой родилась дочь, и, передавая мне крошечный бумажный листочек, Ман шепнул, что она – его тетка – все еще там. На листочке были ее имя и адрес в Тринадцатом арондисмане Парижа; близкая нам по духу, она никогда не состояла в Коммунистической партии, а значит, вряд ли находилась под надзором. Сомневаюсь, что ты сможешь отправлять письма на родину, так что она будет посредницей. Она портниха с тремя сиамскими кошками, без детей, ничем себя не скомпрометировала. Ей и пиши.

Теребя в руке этот листок, я вспомнил придуманный накануне эффектный сценарий: я отказываюсь садиться в самолет Клода, и генерал тщетно уговаривает меня изменить свое решение. Я хочу остаться, сказал я. Все почти кончено. Ман вздохнул, молитвенно сложив руки. Почти кончено? *Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя.* Не один твой генерал намерен продолжать борьбу. Старые кадры не сдаются. Слишком долго они воевали, чтобы просто взять и перестать. Нам надо, чтобы кто-нибудь за ними приглядывал и следил, как бы они не заварили чересчур крутую кашу. А что будет, если я не поеду? – спросил я. Ухмыльнувшись, Ман поднял глаза на истерзанного зеленоватого Христа с европейскими чертами лица, распятого на кресте высоко над алтарем; чресла его прикрывала лживая повязка, хотя по всей вероятности он умер голым. Зубы моего друга отличались удивительной белизной для страны, где большинство зубов либо желтые, цвета старой слоновой кости, либо черные, в налете от бетеля. Там ты принесешь больше пользы, чем здесь, сказал этот сын дантиста. И если не хочешь лететь ради себя, сделай это ради Бона. Он не поедет, если узнает, что ты остаешься. Впрочем, ты ведь в любом случае хочешь поехать. Признайся!

Хватит ли у меня духу на это признание? На эту исповедь? Америка, край супермаркетов и супермагистралей, Супермена и Суперкубка, суперлайнеров и супернебоскребов! Страна, которая после своих кровавых родов не просто дала себе имя, но впервые в истории выбрала для него загадочный акроним, США, – трио букв, лишь впоследствии превзойденное квартетом СССР. Хотя всякой стране чудится, что она в каком-то смысле “супер”, была ли еще на свете страна, отчеканившая в федеральном банке своего нарциссизма столько слов с этой приставкой, супермощная супердержава, уверенная, что у нее есть святое право скрутить двойным нельсоном все прочие страны мира и заставить их воспевать дядю Сэма? Ладно, признаюсь! – сказал я. Хочу! Он усмехнулся и сказал: ты у нас счастливчик. А вот я никогда не выезжал за пределы нашей прекрасной родины. Счастливчик, говоришь? По крайней мере, здесь ты чувствуешь себя дома. Это чувство переоценивают, заметил он. Мне трудно было возразить – тем более ему, человеку, чьи отец с матерью вели сравнительно обеспеченную жизнь, а братья и сестры не разделяли его революционных убеждений. Это была обычная картина: семьи, расколотые пополам, одни сражаются за Север, другие за Юг, одни коммунисты, другие националисты. Но, несмотря на все противоречия, каждый считал себя патриотом, борющимся за родную страну, где он свой. Когда я

напомнил ему, что никогда не был здесь своим, он ответил: как и в Америке. Может быть, сказал я. Но родился-то я не там, а здесь.

Выйдя из базилики, мы распрощались – по-настоящему, а не притворно, как позже с Боном. Я оставляю тебе свои книги и пластинки, сказал я. Ты же всегда мечтал их заграбастать. Спасибо, сказал он, крепко пожимая мне руку. И удачи тебе! Когда я вернусь обратно? – спросил я. Глядя на меня с искренним сожалением, он ответил: дружище, я подпольщик, а не провидец. Дата твоего возвращения будет зависеть от того, что замышляет твой генерал. И теперь, когда генерал проезжал мимо базилики, я не знал, что он замышляет, кроме своего бегства из страны. Я только предполагал, что его намерения серьезнее крикливых лозунгов на обочинах бульвара, ведущего к президентскому дворцу, который недавно атаковал на бреющем полете один взбунтовавшийся летчик: *Ни пяди земли коммунистам! Нет коммунизму на Юге! Нет коалиционному правительству! Нет переговорам!* Я уже видел впереди пост с козырьком и замершего под ним бесстрастного часового, но не успели мы достичь дворца, как генерал – слава богу! – наконец-то взял курс на аэропорт, свернув по Пастёр направо. Где-то вдалеке строчил отрывистыми неровными очередями крупнокалиберный пулемет. Потом глухо бухнула мортира, и Дык захныкал на руках у матери. Тихо, милый, сказала она. Мы просто едем в путешествие. Бон погладил сына по тонким волосикам и сказал: увидим мы еще когда-нибудь эти улицы? Давай верить, что увидим, ответил я. Согласен?

Бон обнял меня за плечи, мы вместе втиснулись на нижнюю ступеньку и, держась за руки, высунули головы наружу. Из-за штор и ставен мрачных жилых домов, скользящих мимо, просачивался свет и выглядывали любопытные глаза. Повернувшись лицом к ветру, мы вдыхали смешанный запах гари и жасмина, эвкалипта и гниющих фруктов, бензина и аммиака – смрадную отрыжку страдающего несварением города с плохой ирригацией. На подступах к аэропорту над нами проревела крестовидная тень самолета без единого огонька. Вскоре показалась ограда из колючей проволоки, провисающей со стариковским унынием. За ней ждал угрюмый взвод военной полиции во главе с лейтенантом – в руках винтовки, на поясах дубинки. Лейтенант подошел к “ситроену” и нагнулся к окошку генерала, чтобы обменяться с ним парой слов. Когда он взглянул на меня, высунувшегося из автобуса, мое сердце дало перебой. По наводке корыстолюбивого майора я нашел его в трущобах на берегу канала – он жил там с женой, тремя детьми, родителями и родственниками со стороны жены, пытаясь прокормить их всех на свое жалованье, крошечное даже по нашим меркам. Таков был обычный удел молодого офицера, но целью моего визита на прошлой неделе было выяснить, какого человека вылепила судьба из этой жалкой глины. Сидя в одном исподнем на своей деревянной кровати, общей с женой и детьми, лейтенант напоминал политического узника, только что брошенного в клетку с тиграми: испуганный, но физически еще не пострадавший. Вы хотите, чтобы я всадил своей стране нож в спину, бесцветным голосом сказал он, держа в руке нераскуренную сигарету, которую я ему дал. Хотите, чтобы за ваши деньги я позволил трескам и предателям сбежать. И чтобы склонил к тому же моих людей.

Я слишком уважаю вас, чтобы отпираться, сказал я. Это говорилось в основном ради присяжных – его жены, родителей и тещи с тестем, которые стояли или сидели на чем придется, в частности на корточках, в этой тесной и душной лачужке с жестяной крышей. С голодухи у них выпирали скулы – такое я видел у своей матери, столько раз отдававшей мне последний кусок. Я восхищаюсь вами, лейтенант, сказал я, не кривя душой. Вы честный человек, а тем, кто должен кормить семью, трудно оставаться честными. Чем я могу вас вознаградить? Разве что предложить вам три тысячи долларов. Это равнялось месячному жалованью целого взвода. Его жена выполнила свой долг, потребовав десять. В конце концов мы сошлись на пяти – половина сейчас, вторая в аэропорту. Когда наш автобус проезжал в ворота, он выхватил у меня из руки конверт с деньгами, и я увидел в его глазах знакомое выражение – такое же было у коммунистической шпионки, когда я вытащил у нее изо рта список с именами. Мой рискованный расчет оправдался: он мог пристрелить меня или развернуть нас, но поступил как любой

честный человек, которого вынудили принять взятку. Он пропустил нас всех, потому что нарушить данное мне обещание значило расстаться с последним фиговым листком своего достоинства. Я отвел глаза, чтобы не видеть его унижения. Если бы – разрешите мне побаловаться сослагательным – если бы Южная армия состояла только из таких, как он, то она победила бы. Мне хочется воображать, что в каких-то отношениях я похож на него. Всегда разумнее восхищаться лучшими из наших врагов, чем худшими из наших друзей. Вы согласны со мной, комендант?

Когда мы добрались до аэропорта, миниатюрного города за пределами Сайгона, было уже почти девять. Мы ехали по улицам с асфальтовым покрытием мимо длинных барakov, полукруглых ангаров, безликих контор и кирпичных складов. Когда-то эта полуавтономная территория была одним из самых оживленных аэропортов мира, узловой точкой для бесчисленных рейдов и миссий как летального, так и нелетального характера, в том числе осуществляемых при посредстве “Эйр Америка”, авиалинии ЦРУ. Наши генералы держали здесь свои семьи, а американские плели коварные замыслы в кабинетах, обставленных импортной металлической мебелью. Сейчас мы направлялись в комплекс, возглавляемый военным атташе. С типичной для них бестактностью американцы прозвали этот комплекс “Додж-сити” в честь города, где в эпоху Дикого Запада правили кольты и девицы отплясывали в салунах канкан. Примерно то же самое происходило и здесь с той разницей, что в настоящем Додж-сити за порядком следили шерифы, а здешний эвакуационный центр охраняли американские морпехи. Я не видел их в таком количестве с семьдесят третьего года – тогда они улетали отсюда после поражения, оборванные и понурые. Но эти молодые ребята провели в нашей стране всего пару недель и еще не бывали в бою. Ясноглазые и чисто выбритые, без единой отметины от шприца на сгибах локтей и в целехонькой глаженной форме, от которой не пахло марихуаной, даже если хорошенько принюхаться, они бесстрастно смотрели, как наши пассажиры выгружаются из автобусов на стоянке, где уже толпились сотни других взволнованных беженцев. Я подошел к “ситроену” в тот момент, когда генерал отдавал Клоду ключи. В Штатах я верну их вам, сэр, сказал Клод. Нет, оставьте в зажигании, сказал генерал. Не хочу, чтобы машину покалечили, когда будут красть, а украдут ее в любом случае. Пока можете, пользуйтесь сами, Клод.

Потом генерал отправился искать в толпе свою супругу с детьми, а я сказал: что тут происходит? Ну и толкотня! Клод вздохнул и пожал плечами. А чего ты хочешь? Обстановка в норме, то есть полный бардак. Все стараются вывезти отсюда своих родственников, поваров, любовниц. Считай, что тебе повезло. Знаю, сказал я. Увидимся в Штатах? Он дружески хлопнул меня по плечу. Прямо как в пятьдесят четвертом, сказал он. Тогда тоже спасались от коммунистов. Кто бы мог подумать, что мы снова здесь окажемся? Но я вытащил тебя с Севера, а теперь вытасю с Юга. Так что не горюй!

Когда Клод уехал, я вернулся к эвакуируемым. Через мегафон им велели построиться в шеренги, но вьетнамцы не привыкли к очередям. Наша обычная тактика в ситуации, когда уровень спроса значительно превышает уровень предложения, состоит в том, чтобы тесниться, давиться, толкаться и пихаться, а если все это не работает, лстить, подкупать, преувеличивать и лгать. Трудно судить, то ли это что-то генетическое, неотъемлемая часть нашей культуры, то ли плод стремительного эволюционного развития. Нас заставили адаптироваться к десяти годам жизни в условиях экономики мыльного пузыря, поддерживаемой исключительно американским импортом, к трем десятилетиям то вспыхивающей, то затихающей войны, к распиливанию страны пополам в 1954-м зарубежными фокусниками, к короткой японской оккупации во Вторую мировую и к долгому предыдущему столетию отечески добродушных измывательств французов. Однако морпехи чихать хотели на все эти оправдания, и под их грозными взглядами беженцы все же постепенно выстроились в ряды. Когда нас стали проверять на наличие оружия, мы, офицеры, покорно и грустно сдали свое. Мой короткоствольный револьвер тридцать восьмого калибра годился разве что для секретных операций, игры в русскую рулетку и самоубийства, но Бону пришлось

расстаться с мужественным полуавтоматическим кольцом сорок пятого калибра. Эту пушку изобрели во время войны на Филиппинах, чтобы убивать тамошних воинов-мусульман одним выстрелом, сказал я Дыку. Мне поведал об этом Клод, хранитель большого количества тайных знаний такого рода.

Разоружившись, мы направились к столу посольского чиновника, молодого щеголя со старосветскими бакенбардами, в бежевом костюме сафари и тонированных очках с розовыми линзами. Документы! – сурово скомандовал он. У каждого главы семьи были выездные бумаги от Министерства внутренних дел, которые я приобрел с солидной скидкой, а также разрешение на въезд в США, добытое Клодом и проштампованное в посольстве. Мы еще послушно стояли в очереди, но эти разрешения уже открывали нам дверь иммиграции, подтверждая, что мы опередили несметные легионы прочих бедняг со всего мира, жаждущих вдохнуть воздух свободы. Мы пронесли это маленькое утешение с собой на теннисные корты, где был организован перевалочный пункт. Те, кто пришел раньше, уже заняли все трибуны, и мы присоединились к нашим менее расторопным землякам, пытающимся задремать на твердом зеленом покрытии. Красные маскировочные лампы заливали эту публику слабым жутковатым сиянием. Была тут и горстка американцев – в основном женатых на вьетнамках, о чем можно было догадаться по тесному кольцу вьетнамской семьи почти около каждого или по предполагаемой супруге, которая сидела к нему вплотную, как прикованная. Мы с Бонем, Линь и Дыком устроились на свободном местечке. С одной стороны от нас приютилась стайка девушек по вызову в вакуумной упаковке из миниюбок и ажурных чулок, с другой – американец при жене и детях, мальчике и девочке, навскидку пяти и шести лет. Муж распростерся навзничь, закинув на глаза мясистую руку, так что были видны только две пушистые колбаски его моржовых усов, розовые губы да кривоватые зубы. Дети положили головы матери на колени, и она гладила их по русым волосам. Долго вы здесь? – спросила Линь, баюкая на руках сонного Дыка. С самого утра, ответила соседка. Чуть не умерли, так было жарко! Ни поесть, ни попить нечего. Объявляют номера рейсов, а нашего все нет. Линь сочувственно охала и цокала языком, покуда мы с Бонем привыкали к переходу во вторую фазу стандартного режима всех военных мира – утомительной чересполосицы спешки и ожидания.

Мы закурили и стали глазеть в темное небо, куда время от времени взмывали сперматозоиды сигнальных ракет. Вспыхнув, их яркие головки медленно дрейфовали вниз, оставляя за собой извилистый дымный хвост. Сказать тебе честно? – спросил Бон. Он всегда расходовал слова, как пули, – короткими контролируемые очередями. Я знал, что этот день наступит. Просто не говорил вслух. Прятал голову в песок – так это называется? Я кивнул и сказал: ты коришь себя за то, в чем можно обвинить любого сайгонца. Мы все знали, но ничего не могли поделать... по крайней мере, мы так считали. Но мало ли что может произойти! На том и стоит надежда. Он пожал плечами, упершись взглядом в тлеющий кончик своей сигареты. Надежда – она жидкая, сказал он. А отчаяние густое. Как кровь. Он повернул ко мне ладонь руки, в которой держал сигарету; на ней, вдоль линии жизни, темнел маленький шрамик. Помнишь?

Я поднял свою правую руку с аналогичным шрамом. Такой же был и у Мана. Эти метки попадались нам на глаза всякий раз, когда мы разжимали руки, чтобы взяться за бутылку, сигарету, пистолет или женщину. Как воины из древних преданий, мы поклялись умереть друг за друга, плененные романтикой школьной дружбы, объединенные теми признаками благородства, которые видели друг в друге: верностью, честностью, твердостью духа, готовностью защищать друзей и отстаивать свои убеждения, даже если они у нас разные. Но во что мы верили, когда нам было четырнадцать? Друг в друга и в наше братство, в нашу родину и в независимость. Мы верили, что сможем, будучи призванными, пожертвовать собой друг ради друга и ради нашей страны, но не знали, как именно нас призовут и кем мы станем. Я не мог предсказать, что Бон войдет в ряды исполнителей операции “Феникс”, чтобы отомстить за смерть отца, и ему будет предписано убивать тех, кого мы с Маном считали своими товарищами. А искренний, добросердечный Бон не знал, что мы с Маном всей душой поверим в необходимость спасения нашей

родины революционным путем. Каждый из нас троих был верен своим политическим взглядам, но эта верность, по сути, имела те же самые корни, что и наше кровное братство. Попадай мы в ситуацию, где за это братство надо было бы отдать жизнь, ни я, ни Ман не замешкались бы ни на секунду. Мы носили подписи под нашим договором у себя на ладонях, и теперь, в неверных отблесках далекого магниевого факела, я поднял руку со шрамом и легонько провел по нему пальцем. Мы с тобой одной крови, сказал я, повторяя клятву нашего детства. И знаешь что? – откликнулся Бон. Отчаяние густое, но дружба еще гуще. После этого говорить было уже нечего, и нам с Боном, заново убедившимся в прочности нашего союза, осталось только слушать “катюши”, чьи снаряды шипели вдалеке, точно библиотекари, требующие тишины.

### Глава 3

Спасибо вам, уважаемый комендант, за те замечания, которыми вы с комиссаром удостоили мое признание. Вы спрашиваете, почему я так часто употребляю слова “мы” или “нас”, будто бы солидаризируюсь с беженцами и военными из Южной армии, тогда как меня отрядили за ними шпионить. Разве я не должен называть этих людей, своих врагов, словом “они”? Признаюсь, проведя в их обществе почти всю жизнь, я не могу им не сочувствовать, так же как и многим другим. Сочувствовать другим – моя слабость, наверняка связанная с моим происхождением, хотя я отнюдь не утверждаю, что любой незаконнорожденный склонен к сочувствию от природы. Не зря же нас порой именуют ублюдками – многие и ведут себя как ублюдки, но моя добрая мать с младых ногтей внушила мне, что переступить грань между “они” и “мы” бывает иногда весьма полезно. В конце концов, если бы она не переступила грань между служанкой и священником или не пустила за нее моего отца, я бы и вовсе не появился на свет.

Не постесняюсь признаться, что меня, рожденного вне брака, ничуть не привлекает мысль о собственной женитьбе. У незаконных детей тоже есть свои бонусы, и один из них – это возможность остаться бобылем. Мало кто видел во мне завидного жениха; пожалуй, я мог бы сгодиться для невесты смешанного происхождения, хотя в таких случаях девица обычно жаждет втиснуться в социальный лифт посредством брака с чистокровным юношей. Многие видят в моем одиночестве часть моей личной трагедии – трагедии бастарда, но я считаю, что холостяцкая жизнь не только дает мне свободу, но и как нельзя лучше подходит к моей нелегальной деятельности. Кроту удобнее рыть свои ходы одному. Вдобавок как холостяк я мог без всяких последствий болтать с проститутками, которые дерзко демонстрировали окружающим свои стройные ножки, попутно обмахивая вчерашним таблоидом влажные холмы груди, едва прикрытых бюстгалтерами атомной эры. Девушки называли себя Мими, Фифи и Тити – имена, для полусвета вполне обычные, однако в комплекте наполнившие мою душу восторгом. Возможно, они выдумали их прямо на месте; в конце концов, менять имена не сложнее, чем клиентов. Если так, их лицедейство было просто-напросто профессиональным рефлексом, выработанным годами упорных тренировок и искренней самоотдачи. Профессиональные проститутки всегда вызывали у меня глубокое уважение: в отличие от юристов, они не прячут свое бесчестие от чужих глаз, хотя и те и другие берут почасовую оплату. Впрочем, финансовая сторона здесь не главное. Правильное отношение к проститутке схоже с поведением завязтого театрала, умеющего устроиться в кресле поудобнее и забыть о своем скепсисе до конца спектакля. Глупо твердить, что актеры просто втирают вам очки, поскольку вы заплатили за билет, и не менее глупо безоговорочно верить в то, что вам показывают, становясь таким образом жертвой иллюзии. К примеру, взрослые люди, которые язвительно усмеваются, слушая байки о встречах с единорогом, готовы рвать на груди рубаху, утверждая, что по свету бродят еще более редкие, совсем уж мифические существа. Одно из них, обитающее лишь в самых далеких портах и темных недрах самых значных трактиров, – это проститутка с пресловутым золотым сердцем. Уверяю вас, если в проститутках и есть что-нибудь золотое, то уж никак не сердце. Если кто-то считает иначе, это говорит лишь о том, как добросовестно они порой исполняют свою роль.

Наши соседки явно относились к числу матерых актрис, чего нельзя было сказать о семидесяти или даже восьмидесяти процентах проституток в столице и за ее пределами – трезвые оценки, людская молва и выборочные пробы позволяли оценить их количество в десятки, а может быть, и сотни тысяч. В большинстве своем это были бедные неграмотные дочери тех самых униженных и разоренных селян. При больных родителях, куче братишек с сестренками и почти полном отсутствии образования они волей-неволей превращались в блох, паразитирующих на шкуре девятнадцатилетнего американского солдата. С разбухшей от инфляции пачкой долларов в кармане и воспаленным мозгом подростка, страдающего желтой лихорадкой, которая так часто поражает наших западных гостей, этот американский солдат к своему изумлению и восторгу обнаружил, что здесь, в зеленогрудой Азии, он больше не Кларк Рид, а Супермен – во всяком случае, по

отношению к женщинам. Обласканная – или придушенная? – Суперменом, наша плодородная маленькая страна перестала производить в значительных объемах рис, олово и каучук, но взамен начала ежегодно приносить рекордные урожаи проституток: не успевала приехавшая из глухомани девица в первый раз станцевать под рок-музыку, как сутенеры (по-нашему, ковбои) уже нашлепывали на ее трясущиеся деревенские титьки звездочки из фольги и выгоняли ее на подиум в каком-нибудь баре на Тудо. Отважусь ли я обвинить американскую армию в том, что она намеренно уничтожала наши деревни, дабы выкурить оттуда девчонок? Ведь после этого им оставалось только одно: оказывать сексуальные услуги тем самым парням, которые жгли, бомбили, грабили и разоряли вышеупомянутые деревни или как минимум насильно эвакуировали оттуда всех жителей. Я лишь отмечаю, что массовый выпуск местных проституток на потеху иностранным пиратам – это неизбежное следствие оккупации, один из тех гнусных побочных эффектов войны, которые предпочитают игнорировать все жены, сестры, подруги, матери, пасторы и политики из мирных заокеанских городков, встречающие своих доблестных воинов ослепительными белозубыми улыбками и готовые исцелить любую неприличную хворь пенициллином американской добродетели.

Между тем, великолепную тройцу наших соседок никак нельзя было назвать добродетельной. Бесстыдно флиртуя со мной, они не забывали поддразнивать Бона и американца с моржовыми усами, очнувшегося от сна. Оба только кривились и старались стать как можно меньше и незаметнее, отлично понимая, что означает угрюмое молчание их жен. Я же, напротив, охотно откликался на их заигрывания, прекрасно отдавая себе отчет в том, что за маской каждой из этих дам полусвета прячется иная личность, способная разбить мне сердце (и наверняка обнулить мой банковский счет). Разве я сам, подобно им, не скрывал в себе иную личность? Но лицедеи лицедействуют (по крайней мере отчасти), чтобы забыть свою грусть, – черта, хорошо мне знакомая. Люди вроде нас флиртуют и веселятся, давая всем возможность прикидываться счастливыми до тех пор, пока и другие, и они сами, возможно, и вправду не почувствуют себя таковыми. Да и смотреть на них было чистое удовольствие! Мими была высокая, с длинными прямыми волосами, и все двадцать ее ногтей, покрытых розовым лаком, блестели, как мармеладки. При звуках ее голоса с хрипотцой и таинственными обертонами уроженки Хьюэ мои кровяные сосуды сжимались, вызывая у меня легкое головокружение. Хрупкой малютке Тити добавляла росту волшебная прическа в стиле “пчелиный улей”. Ее бледная кожа просвечивала, как яичная скорлупа, на ресницах дрожали крошечные слезы-росинки – мне хотелось обнять ее и пощекотать ее ресницы своими. Изгибы тела Фифи, явно их предводительницы, напоминали мне дюны Фантхета, где мы с матерью провели ее единственный в жизни отпуск. Мама купалась с ног до головы, чтобы не стать еще смуглее, а я самозабвенно копался на солнце в горячем песке. Эта детская память о тепле и блаженстве была разбужена духами Фифи: они пахли так же, как духи из крошечного флакончика медового цвета, который подарил матери отец и которым она бережливо пользовалась лишь дважды или трижды в год. Может быть, я просто вообразил себе это совпадение, но все равно сразу влюбился в Фифи – чувство вполне невинное. Я имел привычку влюбляться два-три раза в году, а все положенные сроки уже давно миновали.

Но как они умудрились проникнуть на авиабазу – разве эвакуация не относится к исключительным привилегиям богатых, влиятельных и имеющих связи? Выяснилось, что это заслуга некоего Сержанта – я тут же представил себе шмат бугристых мускулов на двух ногах, увенчанный белой фуражкой морпеха. Сержант охраняет посольство и прямо обожает всех девочек, сказала Фифи. Он душка, лапочка, он обещал, что никогда нас не забудет, и не забыл. Две остальные горячо кивали, Мими хрустя конфеткой, а Тити – пальцами. Сержант раздобыл автобус и стал разъезжать по Тудо, спасая девочек, всех, кто там был и хотел уехать. Потом он привез нас в аэропорт, а полицейским сказал, что устраивает вечеринку для бедных здешних ребят. При мысли об этом Сержанте, этом чудесном американце, который и впрямь держит свои обещания (его звали Эд, а фамилию ни одна из девушек выговорить не могла), твердый персик моего сердца созрел и размяк. Я спросил их, почему они хотят уехать, и Мими ответила: потому что коммунисты

точно посадят нас как коллаборационисток. Мы для них шлюхи, сказала она. Сайгон они городом шлюх называют, слышал? Милый, я чувю, когда пахнет жареным. К тому же, добавила Тити, даже если нас не арестуют, мы все равно не сможем нормально работать. Ведь в коммунистической стране ничего не продается и не покупается, верно? По крайней мере с выгодой для себя, а знаешь, что я тебе скажу, дорогуша: я никому не позволю кушать это манго даром, хоть ты коммунист, хоть кто. Тут все три восторженно загоготали и захлопали в ладоши. Они были похабны, как русские матросы, но принципы рынка понимали хорошо. И действительно, что случится с такими, как они, когда революция одержит верх? Честно признаюсь, что над этим я раньше особенно не задумывался.

В столь духоподъемном обществе время летело быстро, как пронсящие у нас над головой С-130, но даже девушки и я устали ждать, когда наконец объявят наши номера. Час проходил за часом, время от времени дежурный с мегафоном бубнил что-то, словно раковый больной с искусственной гортанью, и горстка измученных беженцев, прихватив свои жалкие пожитки, тащилась к автобусам, чтобы отправиться на взлетную полосу. Минут десять, потом одиннадцать. Я улегся наземь, но заснуть не мог, хотя находился в месте, которое солдаты со своим обычным остроумием прозвали тысячзвездочным отелем. Я любовался галактикой и напоминал себе о том, какой я везучий, потом сел на корточки и выкурил с Бонем еще сигаретку. Снова лег и снова не смог заснуть: мешала жара. В полночь я решил прогуляться по территории и сунул нос в туалет. Этого делать не стоило. Туалет был рассчитан на обслуживание нескольких десятков конторских работников и армейских тыловиков, а не на то, чтобы справляться с отходами жизнедеятельности тысяч эвакуируемых. Сцена у плавательного бассейна выглядела не лучше. Во все годы его существования к нему допускали только американцев и – по спецпропускам – белых из других стран, а также венгров, поляков, иранцев и индонезийцев из Чрезвычайной группы контроля и надзора, сокращенно ЧГКН. Нашу страну наводнили акронимы, и этот (еще он расшифровывался как “Чужое говно контролировать нельзя”) обозначал международную комиссию, призванную следить за соблюдением мирного соглашения после вывода американских войск. Соглашение оказалось крайне успешным: за два последних года было убито всего-навсего сто пятьдесят тысяч солдат и офицеров плюс соответствующее количество гражданских лиц. Представьте, скольких мы недосчитались бы без этого перемирия! Возможно, беженцы начали справлять в бассейн малую нужду в знак протеста против дискриминации местных жителей, но скорее всего, им просто некуда было деваться. Я тоже помочился с бортика в общем ряду, а потом вернулся на теннисные корты. Бон и Линь дремали, подперев руками подбородки, и только один Дык крепко спал у матери на коленях. Я присел на корточки, прилег, выкурил сигарету – и так продолжалось почти до четырех часов утра, когда наконец прозвучал наш номер и я распрощался с девушками, которые надули губки и взяли с меня обещание, что на Гуаме мы непременно свидимся опять.

Мы перешли с кортов на автостоянку, где ждали два автобуса, явно способных вместить в себя больше одной нашей группы в девяносто два человека. Здесь собралось около двух сотен; генерал спросил меня, кто эти другие люди, а я переадресовал его вопрос ближайшему морпеху. Тот пожал плечами. Вы все не шибко крупные, так что мы берем из расчета пара ваших на одного нашего. Залезая в автобус вслед за расстроенным генералом, я отчасти досадовал, отчасти урезонивал себя тем, что мы привыкли к подобному обращению. В конце концов, и сами вьетнамцы относятся друг к другу так же: мы всегда набиваемся в автобусы, грузовики, лифты и вертолеты с самоубийственной беспечностью, игнорируя все рекомендации производителей и правила безопасности. Мы миримся с такими условиями, а иностранцам кажется, что они соответствуют нашим вкусам, – стоит ли этому удивляться? С американским генералом они вели бы себя иначе, пожаловался генерал, прижатый ко мне в тесном салоне. Вы правы, сэр, ответил я, но что поделаешь? В автобусе тут же стало невыносимо душно из-за стольких тел, целую ночь коптившихся под открытым небом, но до нашего “С-130 Геркулес” было рукой подать. Эти самолеты смахивают на мусоровозы с крыльями; свой груз они тоже принимают сзади, и широкая нижняя челюсть грузового люка уже была



гостеприимно опущена. За ней зияло просторное чрево, слабо озаренное призрачным зеленым светом маскировочных ламп. Покинув автобус, генерал занял позицию сбоку от пандуса, и мы с ним принялись смотреть, как его семья, штабные, их родственники и еще сотня незнакомых нам людей поднимаются на борт. Их загонял туда стоящий на пандусе оператор в шлеме, похожем по размеру и форме на баскетбольный мяч. Вперед, не робейте, сказал он генеральше. И веселей, леди. Веселей, веселей.

Генеральша была так ошарашена, что даже не возмутилась. Она прошагала мимо оператора вместе с детьми, наморщив лоб в попытке разгадать бессмысленные призывы оператора к веселью. Потом я заметил на пандусе человека, который прижимал к впалой груди синюю дорожную сумку "Пан-Ам" и изо всех сил прятал от нас глаза. Я уже встречался с ним несколько дней тому назад у него дома в Третьем районе. Мелкая сошка в Министерстве внутренних дел, он был ни низок ни высок, ни худ ни толст, ни смугл ни бледен, ни глуп ни умен. По должности простой секретаришка, чей-нибудь десятый зам, он, наверное, не видел ни приятных снов, ни кошмаров и сам был внутри таким же скучным, как его кабинет. После нашей встречи я вспоминал этого чиновника несколько раз и никак не мог восстановить в памяти его трудноуловимые черты, но теперь узнал его. Когда я хлопнул его по плечу, он вздрогнул и наконец обратил на меня глаза, черные и выпуклые, точно у чихуахуа. Надо же, какое совпадение! – сказал я. Не думал, что и вы полетите этим рейсом. Мы не получили бы своих мест, генерал, не согласись этот любезный господин нам помочь. Генерал сдержанно кивнул, обнажив зубы ровно настолько, чтобы дать понять, что ни на какое возмещение рассчитывать не стоит. Очень приятно, пробормотал секретаришка; его хлипкое тельце подрагивало, жена нетерпеливо тянула его за руку. Если бы взглядом можно было охолостить, она унесла бы мои причиндалы с собой в сумочке. После того как толпа увлекла их дальше, генерал покосился на меня и спросил: ему правда приятно? Вряд ли, сказал я.

Когда все сели, генерал жестом пригласил меня пройти в самолет. Сам он поднялся по пандусу в грузовой трюм без кресел последним. Взрослые устроились на полу или на своем багаже, дети – у них на коленях. Счастливицам достались места у переборки, где можно было уцепиться за стропы для крепления груза. Грани между силуэтами и плотью отдельных индивидуумов стерлись в насильственной интимности – таков удел второсортного человеческого материала, перевозимого единой массой, без распределения по нумерованным сиденьям. Бон с Линь и Дыком были где-то посередке, так же как и генеральша с детьми. Пандус медленно поехал вверх и захлопнулся, законсервировав нас, как червяков в банке. Оператор и мы с генералом привалились к пандусу, уткнув колени в носы сидящих впереди. Четыре турбовинтовых двигателя завелись с оглушительным грохотом, пандус под нашими спинами задребезжал. Самолет начал выруливать на взлетную полосу. С каждым толчком всю публику мотало туда-сюда, как паству, отбивающую поклоны в такт неслышной молитве. Ускорением меня прижало к пандусу, а женщина впереди уперлась согнутой рукой мне в колени – подбородок над моим пахом, нос приплюснут к рюкзаку у меня на животе. Температура в отсеке быстро подскочила градусов до сорока, и вместе с ней выросла интенсивность наших запахов. От нас воняло потом, грязной одеждой и волнением, а к этим миазмам примешивались еще и неперенные спутники нашего народа в беде – ароматы эвкалиптового масла и тигрового бальзама. Спасал только ветерок из открытой двери, где в позе рок-гитариста, широко расставив ноги, стоял один из членов экипажа. Правда, вместо шестиструнной электрогитары он держал у бедер винтовку М-16 с двадцатизарядным магазином. Пока мы разгонялись на полосе, я успел мельком увидеть бетонные ограждения, огромные баки, раскроенные пополам в длину, и унылый ряд обгорелых самолетов, жертв недавней бомбардировки, – вокруг были разбросаны крылья, которые им оборвали, как мухам. Все пассажиры примолкли в тревожном ожидании. Несомненно, они думали то же, что и я. Прощай, Вьетнам. Оревуар, Сайгон...

Раздался оглушительный взрыв; членов экипажа швырнуло на пассажиров, и это было последним, что я увидел, прежде чем вспышка света в проеме двери вымыла

зрение из моих глаз. Генерал повалился на меня, я – на перегородку, а затем на грудь своих земляков, которые вопили в истерике, брызжа мне в лицо кислой слюной. Взвизгнули шины – самолет резко занесло вправо, а когда зрение вернулось ко мне, в двери сверкало пламя пожара. Больше всего на свете я боюсь сгореть заживо. Впрочем, так же обидно, если тебя перемелет в кашу пропеллер или четвертует “катюша” – название, похожее на имя безумной оружейницы-сибирячки, отморозившей себе нос и парочку пальцев на ногах. Когда-то, на пустынном поле в окрестностях Хюэ, мне уже приходилось видеть обугленные трупы в рваной железной утробе сбитого “Чинука”. Его топливо загорелось, и три десятка пассажиров погибли в огне – зубы оскалены в вечной обезьяньей ухмылке, тела вплавились в металл, губы и щеки исчезли, волосы превратились в пепел, кожа гладкая и инопланетно-черная, как обсидиан. В них нельзя было признать не только моих соплеменников, но и вообще человеческие существа. Я не хотел так умереть; я не хотел умереть никак и уж тем более под артиллерийским обстрелом, который вели мои товарищи-коммунисты из захваченных ими пригородов Сайгона. Чья-то рука схватила меня за грудь и напомнила мне, что я еще жив. Другая вцепилась в ухо: вопящие люди внизу старались меня спихнуть. В попытке восстановить равновесие я уперся рукой в чью-то скользкую голову, а спиной придавил генерала. Новый взрыв где-то на полосе усугубил панику. Мужчины, женщины и дети звывали на еще более высокой ноте. Внезапно самолет перестал вращаться и замер под таким углом, что око двери смотрело уже не на пожар, а в темную пустоту, и мужской голос закричал: мы все умрем! Изобретательно ругаясь, оператор начал опускать пандус, и толпа, хлынув к выходу, понесла меня с собой задом наперед. Чтобы не оказаться затоптанным насмерть, мне оставалось только одно: прикрыть голову рюкзаком и кубарем выкатиться наружу, сбивая по дороге людей. В нескольких сотнях метров за нами упал еще один снаряд, и при свете взрыва обнаружилось, что ближайшее укрытие – бетонный разделительный барьер метрах в пятидесяти от взлетной полосы. Даже когда эта вспышка померкла, ночная тьма уже не сгустилась опять. Оба двигателя по правому борту пылали – два ярких факела, плюющих дымом и искрами.

Я стоял на четвереньках, когда Бон схватил меня за локоть и потащил. Другой рукой он тащил Линь, а она, в свою очередь, – орущего Дыка, обняв его поперек груди. Над аэропортом бушевал метеоритный ливень из ракет и снарядов, и на фоне этого апокалиптического светового шоу, спотыкаясь и падая, забыв о своих вещах, мчались к бетонному разделителю наши попутчики. Два оставшихся двигателя ревели, обдавая их ураганным ветром, который сбивал с ног детей и едва не срывал одежду со взрослых. Те, кто достиг барьера, прятались за ним, хныча от ужаса, и когда над моей головой что-то просвистело – осколок или пуля, – я упал наземь и пополз. Бон последовал моему примеру, не отпуская Линь; на его лице застыла напряженная решимость. Когда мы наконец добрались до незанятого местечка за барьером, экипаж уже выключил двигатели. Рев смолк, но не успели мы вздохнуть с облегчением, как услышали, что в нас стреляют. Пули свистели над нами и отскакивали от барьера – очевидно, стрелки ориентировались на ярко полыхающий самолет. Наши небось, сказал Бон, сидя на корточках. Одной рукой он обнимал Дыка, зажатого между ним и Линь. Разозлились. Тоже хотят удрать. Ничего подобного, возразил я. Это северяне, они нас окружили. Впрочем, в глубине души я вполне допускал, что мой друг прав и на нас срывают злость наши собственные войска. Тут топливные баки самолета взорвались, огромный клуб огня осветил просторы летного поля, и, отвернувшись от фейерверка, я чуть не уткнулся носом в своего знакомого секретаришку. Этот непритязательный винтик государственного аппарата скорчился прямо за моей спиной, и в его собачьих глазах ясно, как призыв на рекламном плакате, читалось то же самое, что я уже видел во взорах коммунистической шпионки и лейтенанта у ворот: моя смерть доставила бы ему ни с чем не сравнимое удовольствие.

Я заслужил это, без приглашения явившись к нему в дом по адресу, полученному от корыстолюбивого майора. Действительно, у меня есть известные полномочия, сказал он, когда мы сидели у него в гостиной. Мы с коллегами распределяем визы согласно принципу справедливости. Разве справедливо, что покинуть страну могут только самые высокопоставленные или те, кому просто повезло? Я сочувственно

поцокал языком. Будь на свете истинная справедливость, сказал он, уехали бы все, кто хочет. Однако такой вариант явно невозможен, что ставит работников вроде меня в весьма затруднительное положение. Как я могу судить, кому улетать, а кому нет? В конце концов, как бы меня ни перевозили, я всего лишь скромный секретарь. Вот вы, капитан, – что бы вы делали на моем месте?

Я понимаю, в какой сложной ситуации вы очутились, сэр. Мои щеки болели от прилипшей к лицу улыбки, и мне не терпелось добраться до неизбежного финиша, но надо было отыграть середину спектакля, дабы прикрыться теми же самыми побитыми молью этическими оправданиями, которые он уже натянул до самого подбородка. Вы, безусловно, человек твердых правил, обладающий прекрасным вкусом. Тут я покивал направо и налево, демонстрируя свое восхищение опрятным домиком, явно стоившим немалых денег. Белизну оштукатуренных стен нарушали один-два геккончика и различные декоративные предметы: часы, календарь, китайский свиток и колоризированная фотография Нго Динь Зьема в лучшие дни, когда его еще не прикончили за наивную веру в то, что он президент, а не американская кукла. Теперь этот коротышка в белом костюме почитался своими собратьями, вьетнамцами-католиками, как святой, принявший достойную зависти мученическую смерть: связанный по рукам и ногам, лицо залито кровью, роршахова клякса из мозгового киселя украшает изнутри кабину американского бронетранспортера для перевозки личного состава, и это унижение запечатлено на фотоснимке, обошедшем весь мир. Его подтекст был тонок, как Аль Капоне: с Соединенными Штатами Америки шутки плохи! Главная несправедливость состоит в том, сказал я, начиная раздражаться, что честные люди в нашей стране вынуждены влачить жалкое существование. Мой патрон просит оказать ему услугу и в обмен на это шлет вам маленький знак уважения. Вы ведь могли бы прямо сейчас выдать мне девяносто две визы? Я опасался, что он отрицательно покачает головой, в каком-то случае готов был оставить задаток и вернуться позже, но, услышав положительный ответ, вынул конверт с четырьмя тысячами долларов – при благожелательном настрое с его стороны этой суммы хватило бы на две визы, однако больше у меня ничего не было. Секретаришка раскрыл конверт и провел по ребру банкнот мозолистым пальцем ветерана. Ему сразу стало ясно, сколько там денег – недостаточно! Он хлопнул по щеке журнального столика белой перчаткой конверта и, точно не сумев излить таким образом все свое возмущение, дал столику вторую пощечину. Как вы смеете предлагать мне взятку, сэр!

Жестом я пригласил его сесть. Подобно ему, я тоже был человеком, попавшим в тяжелую ситуацию, вынужденным делать то, что необходимо. Справедливо ли вы поступаете, продавая визы, которые вам ничего не стоили, да и вообще, если разобратесь, вам не принадлежат? – спросил я. И не будет ли справедливо, если я сейчас вызову сюда начальника местного отделения полиции и попрошу его арестовать нас обоих? И не справедливо ли будет, если он отберет у вас эти визы и сам постарается получить за них некую справедливую компенсацию? Я полагаю, что самое справедливое решение в данном случае – это вернуться к началу, когда я предлагаю вам четыре тысячи долларов за девяносто две визы, поскольку вы, коли на то пошло, вообще не должны иметь ни девяносто две визы, ни четыре тысячи долларов. В конце концов, завтра вы вернетесь на свое рабочее место и без труда раздобудете еще девяносто две визы. Это ведь просто бумажки, разве не так?

Но для бюрократа бумажки никогда не бывают просто бумажками. Бумажки – это жизнь! Он ненавидел меня тогда, потому что я отобрал его бумажки, и ненавидел теперь, но меня это нимало не беспокоило. Здесь, за бетонным разделителем, меня беспокоило другое: то, что мы вступили в новый период мучительного ожидания, только на сей раз с неопределенным исходом. Забрел рассвет, и нам чуточку полегчало, но взлетная полоса, облитая его слабым голубоватым сиянием, оказалась в ужасном состоянии – вся в щербинах и воронках от снарядов. Посреди этой разрухи грудой шлака дымился наш С-130, источая едкий аромат горящего топлива. Там и сям между нами и останками самолета темнели небольшие пятна – они постепенно обретали форму, становясь сумками и чемоданами, брошенными в панике так бесцеремонно, что из некоторых даже вывалились потроха. Солнце заползало на небо риска за риск, и его свет становился все сильнее и резче, пока

не выжег последние следы тени и не достиг губительной для сетчатки яркости, как у лампы в комнате для допросов. Пришпиленные к восточному боку барьера, люди стали съеживаться и вянуть, начиная с пожилых и детей. Водички, мама, попросил Дык, на что Линь не могла ответить ничего, кроме: прости, милый, водички у нас нет, но скоро будет.

Словно по команде, в небе показался другой “Геркулес” – он шел так круто вниз и так быстро, точно им управлял камикадзе. Визжа шинами, он приземлился на дальней полосе, и среди беженцев поднялся тихий ропот. И лишь когда С-130 повернул в нашу сторону и стал осторожно перебираться через разделяющие нас полосы, этот ропот перерос в крики ликования. Потом я услышал что-то еще. Осторожно высунув голову из-за барьера, я увидел, как они мелькают между ангарами и другими укрытиями, где явно только что прятались, – десятки, а может, и сотни морпехов, обычных солдат, полицейских, летчиков и механиков из персонала военно-воздушной базы и группы прикрытия, не желающие становиться ни героями, ни жертвенными баранами. Заметив конкурентов, наши попутчики рванули к “Геркулесу”, который развернулся метрах в пятидесяти от нас и с бесстыжей призывностью опустил пандус. Генерал с семьей бежали впереди меня, Бон с семьей – позади, и все вместе мы составляли арьергард несущейся без оглядки человеческой массы.

Когда лидер соревнования уже достиг пандуса, раздалось шипенье “катюш” и секунду спустя – грохот разрыва первого снаряда на дальней полосе. Сверху зажужжали пули, и теперь мы слышали в хоре стандартных М-16 отчетливый лай АК-47. Они на периметре! – крикнул Бон. Все понимали, что этот “Геркулес” станет последним самолетом, который покинет аэропорт – конечно, если стремительно наступающие коммунисты вообще позволят ему это сделать, – и люди снова завопили от ужаса. Когда они торопливо взбегали по пандусу в грузовой отсек С-130, по ту сторону разделительного барьера с пронзительным свистом взмыл в воздух небольшой истребитель, ладный остроносый “Тайгер”, а за ним, тархтя пропеллером, поднялся неуклюжий “Хьюи” – через его распахнутые дверцы было видно, что внутрь втиснулось не меньше дюжины солдат. Остатки наших вооруженных сил спешно эвакуировались из аэропорта, используя для этого все имеющиеся под рукой средства передвижения. Пока генерал подталкивал в спину тех, кто был впереди него, а я подталкивал генерала, слева от меня стартовал двухбалочный “Шедоу”. Я следил за ним краем глаза. Этот самолет выглядит довольно забавно – фюзеляж, подвешенный между двумя более узкими корпусами, – однако нельзя было найти ничего забавного в дымном следе самонаводящегося по тепловому излучению снаряда, который прочертил в небе сложную кривую и поцеловал “Шедоу” своим пылающим кончиком на высоте меньше чем в триста метров. Когда две половинки самолета и ошметки его экипажа упали на землю, как осколки тарелочки для тренировочной стрельбы, наши беженцы взвыли и с удвоенной силой налегли друг на друга, пробиваясь в спасительную утробу “Геркулеса”.

Когда генерал ступил на пандус, я остановился, чтобы пропустить вперед Линь и Дыка. Они не появились; тогда я обернулся и увидел, что их за мной больше нет. Давай в самолет, заорал рядом наш оператор, так широко разинув рот, что я буквально увидел его вибрирующие гланды. Твоим друзьям хана! В двадцати метрах от нас стоял на коленях Бон, прижимая к груди Линь. На ее белой блузе медленно расплывалось красное сердце. По бетону между нами щелкнула пуля, подняв фонтанчик белой пыли, и во рту у меня стало сухо, как в пустыне. Я швырнул оператору рюкзак и опрометью кинулся к ним, перепрыгивая через брошенные саквояжи. Последние два метра я проскользил ногами вперед, содрав кожу с левой руки и локтя. Бон издавал звуки, каких я еще никогда от него не слышал, – низкое гортанное мычание, полное боли. Между ним и Линь был Дык с закатившимися глазами, и, еле оторвав мужа с женой друг от друга, я увидел на его груди кровавую кашу: что-то пробило ее насквозь и угодило в мать. Генерал и оператор кричали нам из “Геркулеса”, но за нарастающим воем двигателей слов было не разобрать. Бежим, крикнул я. Они улетают! Но горе приковало Бона к месту. Он по-прежнему крепко обнимал жену и сына, и мне пришлось ударить его

кулаком по лицу ровно с такой силой, чтобы он умолк и ослабил хватку. Затем я одним рывком выдернул из его объятий Линь. Дык при этом упал на землю, уронив набок голову. Бон завопил что-то нечленораздельное, но я уже мчался к самолету, перекинув Линь через плечо. Ее тело билось о мое, но она никак на это не реагировала, и я чувствовал на плече и шее ее мокрую горячую кровь.

Генерал с оператором махали мне с пандуса, а самолет уже катил прочь, выбирая на полосе свободный участок. “Катюши” продолжали стрелять, поодиночке и залпами. Я несея изо всей мочи, мои легкие сжались в комок; догнав пандус, я бросил Линь генералу, и тот поймал ее под мышки. В эту секунду со мной поравнялся Бон. Обеими руками он протягивал Дыка оператору, который принял его со всей возможной мягкостью, хотя было ясно, что это уже неважно: голова Дыка болталась из стороны в сторону без всякого сопротивления. Когда его сын перешел с рук на руки, Бон стал замедлять шаг, повесив голову от горя и все еще рыдая. Я схватил его за локоть и из последних сил толкнул на пандус. Он полетел туда лицом вниз, оператор поймал его за шиворот и затащил внутрь. Вытянув руки, я прыгнул вдогонку за пандусом и грохнулся на него плашмя, щекой и всей своей грудной клеткой – моя щека прижалась к пыльному грязному железу, а ноги молотили воздух. Пока самолет разгонялся, генерал помог мне встать на колени и вскарабкаться в отсек. Пандус закрылся, втиснув меня в промежуток между генералом и безжизненными телами Бона и Линь; спереди на нас давила человеческая стена. Самолет круто пошел вверх, и вместе с ним до невыносимости вырос шум, слышный не только сквозь дрожащий металл, но и через открытую дверь, где стоял член экипажа, посылая с бедра короткие винтовочные очереди. Мелькающие за этой дверью поля и здания стали клониться и кружиться, когда самолет начал набирать высоту по спирали, и я вдруг осознал, что жуткий шум исходит не только от двигателей, но и от Бона: он колотился головой о пандус и был не так, как будто кончился мир, а так, будто кто-то выдавил ему глаза.

## Глава 4

Вскоре после посадки на Гуаме приехала зеленая санитарная машина, чтобы забрать тела. Я положил Дыка на носилки. Его маленькое тельце у меня в руках с каждой минутой становилось все тяжелее, но я не мог опустить его на замызганный бетон. Санитары накрыли Дыка белой простыней, потом высвободили Линь из объятий Бона, накрыли и ее, а потом убрали мать с сыном в кузов. Я плакал, но куда мне было до Бона: у него за всю жизнь накопился огромный запас неизрасходованных слез. Плакали мы и в грузовике по дороге в лагерь Асан; все наши попутчики молчали не то из уважения, не то от смущения. Благодаря генералу нам досталась казарма – роскошь по сравнению с палатками, куда селили прочих запоздалых беженцев. Сочувственные молодые морпехи rozdali нам одеяла и полотенца, сообщили, когда нас будут кормить и где находятся душ и уборные. Оцепенев на своей койке, Бон не обращал внимания на телевизор, по которому до самой ночи и весь следующий день крутили бесславную хронику эвакуации. Не доходили до его ушей и стенания тысяч людей в казармах и палатках нашего временного городка – они, точно на похоронах, оплакивали нашу независимость, скончавшуюся, подобно многим несчастным, в нежном возрасте двадцати одного года.

Вместе с генеральской семьей и сотнями других соседей по казарме я смотрел, как вертолеты садятся на сайгонские крыши и переносят спасающихся на палубы авианосцев. На следующий день танки коммунистов проломили ворота президентского дворца, и над ним был поднят флаг Национального освободительного фронта. По мере того как все рушилось, в трубах моего мозга известково-кальциевыми наслоениями откладывались картины последних дней нашей проклятой республики. Еще немного добавилось к ним в тот вечер после ужина – жареной курицы с зеленой фасолью, которую многие беженцы сочли экзотически несъедобной, да и вообще хоть какие-то признаки аппетита проявляли в столовой разве что дети. Стояние с грязным подносом в очереди к посудомойкам воспринималось как последний удар, нечто вроде контрольного выстрела из милосердия, окончательно превращающего тебя из гражданина суверенной страны в бездомного отщепенца. Вывалив свою нетронутую фасоль в мусорное ведро, генерал поглядел на меня и сказал: капитан, я нужен своему народу. Я должен пойти к людям и укрепить их дух. Идемте. Да, сэр, ответил я, не особенно вдохновленный этой идеей, но и не догадываясь о возможных осложнениях. Обмазывать пропагандистским навозом просто, когда речь идет о солдатах, привычных к любым надругательствам, но мы забыли, что большинство беженцев не служили в армии.

Позже, задним числом, я порадовался тому, что тогда на мне уже не было формы, забрызганной кровью Линь. Я сменил ее на клетчатую рубашку и слаксы из рюкзака, но генерал, потерявший багаж в аэропорту, остался при своих звездочках на воротнике. За пределами казармы, в палаточном городке, мало кто знал его в лицо. Гражданские видели только его мундир и звание, и когда он поздоровался с ними и спросил, как дела, его встретили угрюмым молчанием. По тонкой складке, пролегшей у генерала между глаз, и его неловкому покашливанию было ясно, что он смущен. Чем дальше мы шагали по тропинке среди палаток – нас провожали недобрыми взглядами, и никто пока так и не вымолвил ни слова, – тем больше мне становилось не по себе. Не успели мы пройти и сотни метров, как подверглись первому нападению: вылетевшая откуда-то с фланга легкая тапочка шлепнулась генералу в висок. Он замер. Я тоже. Посмотрите на героя! – каркнул старушечий голос. Мы повернулись влево и увидели взбешенную пожилую женщину, единственное, от чего нет защиты: ни ударить, ни сбежать. Где мой муж? – крикнула она, босая, со второй тапочкой в руке. Почему ты здесь, если его нет? Разве тебе не положено защищать нашу страну даже ценой жизни, как сделал он?

Она хлестнула генерала тапкой по подбородку, и из-за ее спины, с другой стороны, сзади хлынули новые женщины – молодые и старые, здоровые и больные, с туфлями и шлепанцами, тростями и зонтиками, шляпками и панاماми. Где мой сын? Где мой отец? Где мой брат? Генерал уворачивался и прикрывал голову

руками, а эти фурии били его, терзая плоть и мундир. Досталось и на мою долю: я получил несколько оплеух летающей обувью и блокировал несколько ударов зонтами и палками. Дамы нажимали на меня, стараясь добраться до генерала, который под их напором пал на колени. Ни у кого не повернулся бы язык корить их за эту несдержанность – ведь еще вчера наш высокочтимый премьер горячо призывал всех военных и штатских биться до последнего. Бессмысленно было бы указывать им, что сам премьер и по совместительству маршал авиации – коего, кстати, не следовало путать с президентом, ибо роднили их лишь неумеренное тщеславие да склонность к мздоимству, – покинул страну на вертолете сразу после своего пламенного выступления по радио. Столь же бессмысленно было упоминать, что этот конкретный генерал командовал не солдатами, а тайной полицией: это едва ли заставило бы их отнестись к нему с большей симпатией. В любом случае, дамы ничего не слушали, предпочитая вопить и сыпать ругательствами. Я протолкался к генералу сквозь женщин, вклинившихся между нами, и прикрывал беднягу своим телом, принимая на себя град плевков и затрещин, пока не сумел вытащить его на свободу. Бежим! – крикнул я ему в ухо и подтолкнул в нужном направлении. Второй день кряду нам пришлось спасаться бегством – хорошо еще, что прочие обитатели палаточного городка не бомбардировали нас ничем, кроме свиста и презрительных выкриков. Жалкая шушера! Труссы! Мерзавцы! Ублюдки!

Я привык к подобным камням и стрелам, но генералу они были внове. Когда мы наконец остановились перед нашей казармой, на его лице лежала печать ужаса. Ему растрепали волосы, сорвали с воротника звездочки, разодрали рукава, у него не хватало половины пуговиц, а из царапин на шее и щеках сочилась кровь. Я не могу идти туда в таком виде, прошептал он. Подождите в душе, сэр, сказал я. Сейчас найду, во что вам переодеться. Я реквизирует у офицеров в казарме запасную рубашку и брюки, объяснив свои собственные синяки и помятость стычкой с агрессивно настроенными конкурентами из службы контрразведки. Когда я пришел в душ, генерал выглядел гораздо чище – ему удалось смыть с лица все, кроме стыда.

Генерал...

Молчите! Он смотрел в зеркало над раковиной – не на меня, а только на себя. Мы никогда не будем об этом говорить.

И больше мы об этом не говорили.

Назавтра мы похоронили Линь и Дыка. Всю ночь их холодные тела пролежали в армейском морге, официальная причина смерти – одиночная пуля неустановленного образца. Теперь этой пуле было суждено вечно блестеть и вращаться в сознании Бона, дразня и свербя его равенством шансов своего происхождения от друга или врага. Он повязал себе голову белым траурным лоскутом, оторвав его от простыни. Когда мы опустили маленький гробик Дыка на гроб его матери – больше никто никогда не сможет их разлучить, – Бон бросился за ними в разверстную могилу. Почему? – взвыл он, прижавшись щекой к деревянной крышке. Почему их? Почему не меня? Почему, Господи? Тоже плача, я полез его успокаивать. Когда я помог ему выбраться, мы засыпали могилу землей, а генерал с генеральшей и измученным священником молча наблюдали за нами. Они были невинны, эти двое, особенно мой крестный сын – пусть символический, но, за неимением реального сына, продолжатель и моего рода. Раз за разом всаживая лопату в небольшой холмик комкастой земли, ждущей своего возвращения в яму, откуда ее вынули, я пытался убедить себя, что два этих тела – не подлинные мертвецы, а всего лишь тряпки, сброшенные эмигрантами, которые уехали в страну за пределами человеческой картографии, туда, где обитают ангелы. В такие путешествия верил мой богомольный отец, но мне это было не по силам.

Следующие несколько дней мы плакали и ждали. Иногда, чтобы не соскучиться, ждали и плакали. Когда самобичевание стало всерьез меня изнурять, нас забрали из Асана и переправили на базу Кэмп-Пендлтон в калифорнийском Сан-Диего, на сей раз рейсовым авиалайнером, где я сидел в настоящем кресле у настоящего иллюминатора. Там нас ждал очередной лагерь, лучше оборудованный в бытовом

плане, что свидетельствовало о нашем продвижении вверх по лестнице американской мечты. На Гуаме большинство беженцев ютились в палатках, наспех установленных морпехами, а в Кэмп-Пендлтоне всех расселили по казармам и принялись потихоньку готовить к суровым реалиям чуждой нам заокеанской жизни. Именно оттуда летом 1975 года я послал свое первое письмо тетке Мана в Париж. Конечно, сочиняя эти письма, я обращался к Ману. Если я начинал с некоторых заранее оговоренных клише – погоды, моего здоровья, здоровья тетушки, французской политики, – он понимал, что между строк написано другое послание, невидимыми чернилами. Если эти условные знаки отсутствовали, то ничего скрытого от глаз в письме искать не следовало. Но в течение всего первого года нашей эмиграции в тайнописи не было особенной необходимости. Армейцы-изгнанники еще не пришли в себя настолько, чтобы размышлять о контрударе, так что поставляемая мной информация, хоть и полезная, в засекречивании не нуждалась.

*Милая тетушка,* писал я, прикидываясь ее племянником вместо Мана, *мне очень жаль, что после такого долгого перерыва я вынужден сообщать тебе столь ужасные вести.* Бон был в плохом состоянии. По ночам, когда я лежал без сна на своем нижнем ярусе, он метался и ворочался надо мной, заживо поджариваясь на гриле памяти. Я знал, что мерцает на внутренней поверхности его черепа – лицо Мана, нашего кровного брата, которого мы, по его убеждению, бессовестно бросили, и лица Дыка и Линь, чьей кровью в буквальном смысле были обгарены наши с ним руки. Если бы я не стаскивал Бона с верхней койки и не впихивал в него безвкусную еду, которой нас кормили за длинными общими столами, он уморил бы себя голодом. Мылись мы тем летом в переполненных народом душевых без кабинок и жили в казарме бок о бок с чужими людьми. Генерал тоже не избежал этих тягот, и я подолгу просиживал с ним в помещении, где кроме него с генеральшей и их четверых детей жили еще три семьи. Младшие офицеришки со своим пометом, проворчал он мне как-то, когда я в очередной раз пришел его навестить. Вот до чего меня низвели! Чтобы отделить семьи друг от друга, в казарме натянули бельевые веревки и развесили простыни, но благородный слух генеральши с детьми это, конечно, защищало плохо. Эти животные спариваются в любое время дня и ночи, возмущался он, сидя со мной на бетонном крылечке. В руках у каждого из нас было по кружке чая, тогдашней замены даже самого дешевого алкоголя, и по сигарете. Никакого стыда! Не стесняются ни моих детей, ни своих. Знаете, что спросила меня недавно моя старшая? Папа, что такое проститутка? Какая-то женщина продавала себя около уборной, и она это видела!

Через дорогу от нас, в соседней казарме, ссора между мужем и женой, начавшаяся с заурядного обмена оскорблениями, вдруг вылилась в полномасштабную драку. Мы не могли ее наблюдать, но услышали безошибочный звон затрещины, а затем женский визг. Вскоре перед входом в казарму собралась небольшая толпа. Генерал вздохнул. Животные! Но, помимо всего этого, есть и хорошая новость. Он извлек из кармана газетную вырезку и протянул мне. Помните его? Застрелился. Это хорошая новость? – спросил я, разглаживая вырезку. Он был героем, сказал генерал; во всяком случае, так я написал своей тетке. Статья оказалась старая, напечатанная через несколько дней после падения Сайгона и присланная генералу его товарищем из другого отстойника для беженцев в Арканзасе. Середину страницы занимала фотография мертвеца, лежащего навзничь у памятника, которому генерал отдавал честь. Если бы не заголовок, можно было бы подумать, что этот человек устал от жары и отдыхает, любуясь чистой небесной лазурью. Но нет – когда мы летели на Гуам, наш подполковник отправился к мемориалу, вынул табельное оружие и пробил дыру в своей лысеющей голове.

Действительно герой, сказал я. У него была жена и куча детей – сколько именно, я запомнил. Мне он ни нравился, ни не нравился, и хотя я держал его имя на примете, когда составлял список эвакуируемых, в итоге оно туда не попало. Перышко вины пощекотало мне шею. Не знал, что он на это способен, сказал я. Если бы знать...



Если бы хоть один из нас мог знать... Но откуда? Не корите себя. Сколько людей погибло под моим командованием! Я сожалел обо всех, но смерть – часть нашего дела. Когда-нибудь вполне может наступить и наша очередь. Давайте просто запоем его мучеником – он это заслужил.

Мы помянули подполковника чаем. Насколько я знал, если не считать этого его последнего деяния, никаким героем он не был. Видимо, то же самое подумал и генерал, так как следующим, что он сказал, было: живой он бы нам пригодился.

Для чего?

Следить, что замышляют коммунисты. Точно так же как они наверняка следят, что замышляем мы. Вы никогда об этом не думали?

О том, как они за нами следят?

Именно. Сочувствующие. Шпионы в наших рядах. Невидимки.

Возможно, сказал я. Ладони у меня взмокли. Они для этого достаточно умны и коварны.

Так кто вероятный кандидат? Генерал пристально посмотрел на меня – а может быть, в его взгляде было подозрение? Он все еще держал в руке кружку, и я, отвечая на его взгляд своим, следил за ней краем глаза. Если он попытается хватить меня ею по виску, у меня будет полсекунды на то, чтобы среагировать. У Вьетконга везде агенты, продолжал он. Простая логика подсказывает, что хотя бы один есть и среди нас.

Вы и вправду считаете, что один из наших людей – шпион? Теперь у меня вспотело все, кроме глазных яблок. А может, в военной разведке? Или в генштабе?

Что, никто не приходит в голову? Его глаза были прикованы к моим, не вспотевшим, а рука по-прежнему сжимала кружку. В моей еще оставался глоток холодного чая, и я решил, что сейчас самое время его допить. Рентген моего мозга показал бы хомячка в беличьем колесе, мчащегося с огромной скоростью, чтобы высечь искорку спасительной идеи. Если я скажу, что никого не подозреваю, тогда как он явно убежден в своей правоте, это будет выглядеть для меня плохо. В воображении параноика существование шпионов отрицают только шпионы. Значит, мне надо назвать подозреваемого – кого-нибудь, кто сосредоточит на себе его внимание, не будучи при этом настоящим шпионом. Первым мне пришел на ум упитанный майор, чье имя возымело желаемое действие.

Он? Генерал нахмурился и наконец-то перестал на меня смотреть. Вместо этого он уставился на костяшки своих пальцев, обдумывая мою неожиданную гипотезу. Да он такой жирный, что без зеркала своего пупка не увидит! По-моему, капитан, тут ваша интуиция вам изменила.

Может быть, сказал я, прикинувшись смущенным. Потом в качестве отвлекающего маневра отдал ему свою пачку сигарет и вернулся в казарму, чтобы передать тетушке суть нашего разговора, очищенную от несущественных деталей вроде моего страха, дрожи, потения и т. д. К счастью, оставаться в этом лагере, где мало что могло утолить гнев генерала, нам предстояло уже недолго. Вскоре после прибытия в Сан-Диего я написал Эйвери Райту Хаммеру, соседу Клода по университетскому общежитию и моему наставнику. Когда-то Клод спросил его, не найдется ли стипендии для многообещающего юного вьетнамца, и он мне ее нашел. После Клода и Мана он был самым важным из моих учителей – профессором, который курировал мое американское образование и рискнул выйти за рамки своей специальности, чтобы стать руководителем моей дипломной работы “Миф и символ в литературном творчестве Грэма Грина”. Теперь этот славный человек снова согласился за меня порадовать, добровольно вызвался стать моим спонсором и к середине лета выбил для меня должность методиста на кафедре востоковедения. Он даже организовал среди моих бывших преподавателей сбор пожертвований в мою пользу – великодушный поступок, глубоко меня тронувший.

Эти деньги, сообщил я тете, ушли на автобусный билет до Лос-Анджелеса, оплату нескольких суток в мотеле, первый взнос за квартирку близ Чайнатауна и старенький “форд” модели 1964 года. Устроившись, я отправился прочесывать окрестные церкви в поисках поддержки для Бона, ибо местные религиозные и благотворительные организации уже проявляли сочувствие к несчастным беженцам. Я набрел на Вековечную Церковь Пророков, каковая, несмотря на столь внушительное название, хранила свои духовные сокровища за скромным фасадом с захудалой автомастерской по одну сторону и асфальтовым пяточком, активно посещаемым местными потребителями героина, по другую. Минимальные уговоры и скромный денежный взнос склонили преподобного Рамона (или, как он представился, Р-р-р-рамона), имевшего шарообразную форму, к тому, чтобы стать спонсором Бона и его номинальным работодателем. В сентябре, как раз к началу учебного года, мы с Боном воссоединились в снятой мною квартирке в атмосфере благородной нищеты. Затем я пошел в ближайший ломбард и приобрел на остаток спонсорских денег последние из жизненно необходимых вещей – радиоприемник и телевизор.

Что же до генерала с генеральшей, то они также в конце концов очутились в Лос-Анджелесе благодаря финансовой помощи свояченицы некоего американского полковника, бывшего генеральского консультанта. Вместо виллы они сняли бунгало в не самой фешенебельной части Лос-Анджелеса, где-то в районе его дряблой диафрагмы, по соседству с Голливудом. Заглядывая к своему патрону в течение нескольких следующих месяцев, я неизменно заставал его в состоянии глубочайшей хандры, о чем и докладывал тете. Генерал больше не был генералом, хотя его прежние офицеры до сих пор величали его так. В часы наших встреч, небритый, немывтый и в несвежей пижаме, он потреблял причудливое ассорти из дешевого вина и пива, попеременно впадая то в ярость, то в меланхолию – наверное, примерно то же самое происходило неподалеку с Ричардом Никсоном. Иногда негодование душило его с такой силой, что я уже готовился пустить в ход прием Геймлиха. Конечно, он мог бы тратить свое время на что-нибудь гораздо более конструктивное, но не он, а генеральша подыскивала детям школы, заботилась о внесении арендной платы, ходила по супермаркетам, занималась стряпней, мыла посуду, чистила туалеты, выбирала подходящую церковь – короче говоря, справлялась со всеми теми изматывающими рутинными хлопотами, которые в пору ее прежнего окукленного существования неизменно брали на себя другие. Она трудилась с мрачной элегантностью и вскоре заняла положение истинной главы семьи, оставив на долю генерала исключительно декоративные функции; он лишь от случая к случаю рычал на детей, как один из тех пыльных львов в зоопарке, что переживают кризис среднего возраста. Они прожили таким образом почти целый год, и только тогда кредитный лимит ее терпения оказался исчерпан. Я не был допущен к разговорам, которые они, по всей вероятности, вели между собой, но как-то в начале апреля получил приглашение на торжественное открытие его нового предприятия на Голливудском бульваре – магазина спиртных напитков, чье рождение под циклопым оком Федеральной налоговой службы означало, что генерал наконец покорился базовым принципам Американской мечты. Теперь он должен был не только зарабатывать себе на жизнь, но и платить за это, как уже делал я в качестве довольно кислого лица кафедры востоковедения.

Мои обязанности заключались в том, чтобы держать оборону против студентов, стремящихся добиться аудиенции секретаря или заведующего кафедрой, причем некоторые из них называли меня по имени, хотя я их впервые видел. Я пользовался в кампусе умеренной известностью благодаря статейке, вышедшей в студенческой газете, – как выпускник колледжа, включенный в почетный список отличников, и единственный студент-вьетнамец за всю историю моей альма-матер, а ныне еще и спасенный беженец. В статье упоминалось и о моем участии в военных действиях, хотя здесь автор был не вполне точен. Что вы там делали? – спросила меня эта надежда журналистики, пугливый второкурсник с брекетами на зубах и с изгрызенным желтым карандашом. Служил квартирмейстером, ответил я. Скудная работа. Следишь за рационом и поставками провианта, обеспечиваешь солдат формой и сапогами. То есть вы никогда никого не убивали? Никогда. И это действительно была правда, чего нельзя сказать об остальной части моего

интервью. Если где-нибудь и стоило оглашать мой послужной список, то уж никак не в студенческом городке. Сначала я был пехотным офицером в Армии Республики Вьетнам, где и попал под командование генерала, в то время полковника. Затем, когда он стал генералом и возглавил Национальную полицию, в которой не хватало военной дисциплины, я тоже перебрался туда вместе с ним. Сказать, что ты участвовал в боях или, тем паче, якшался с какими-то секретными подразделениями, значило затронуть щепетильную тему. Антивоенная лихорадка, еще в мою бытность студентом распространившаяся в университетской среде подобно модному религиозному течению, не обошла тогда стороной и наш кампус. Во многих студгородках, включая мой, “хо-хо-хо” было не фирменными позывными Санта-Клауса, а началом популярной кричалки: Хо-Хо-Хо Ши Мин, НФО непобедим! Вынужденный скрывать свои политические пристрастия под маской честного патриота Республики Вьетнам, я завидовал однокашникам, пылко выражающим свои. Но за время моего отсутствия в колледж пришло новое поколение студентов – эти гораздо меньше интересовались политикой и тем, что творится за океаном. Их нежные души уже не так страдали от непрерывного потока устных и видеосообщений о зверствах и ужасах, за которые они могли чувствовать себя ответственными как граждане демократической страны, уничтожающей другую страну ради ее спасения. Самое главное, что армейский призыв уже не ставил под угрозу их собственную жизнь. В итоге кампус вернулся к мирному и спокойному существованию, и разлитый вокруг оптимизм нарушался разве что весенним дождиком, время от времени сыплющим в окно моей комнаты. За свою мизерную зарплату я должен был выполнять множество разнообразных задач, а именно: отвечать на телефон, перепечатывать профессорские рукописи, подшивать документы и добывать книги, а также помогать миз Софии Мори, секретарше в инкрустированных стразами роговых очках. Эти занятия, абсолютно приемлемые для студента, для меня были эквивалентны казни через тысячу бумажных порезов. В довершение ко всему миз Мори, похоже, меня невзлюбила.

Приятно узнать, что вы никого не убивали, сказала она вскоре после нашего знакомства. О ее позиции красноречиво говорил брелок в виде символа мира. Мне снова, далеко не в первый раз, захотелось признаться, что я один из них, сторонник левых взглядов, революционер, борец за мир, равенство, демократию, свободу и независимость – за все те благородные идеалы, ради которых умирали мои соотечественники и таился я сам. Но если бы вы кого-нибудь убили, продолжала она, вы ведь никому бы об этом не сказали?

А вы, миз Мори?

Не знаю. Грациозным движением бедер она развернула стул, показав мне спину. Мой маленький столик был задвинут в самый угол; я сидел за ним и ворошил письма и бумаги, изображая занятость, поскольку настоящих дел на все восемь рабочих часов мне не хватало. Моя фотография, помещенная на главную страницу студгазеты, была сделана там же – как от меня и ждали, я послушно улыбался, понимая, что мои желтые зубы на черно-белом снимке превратятся в белые. Я как умел подражал детям из третьего мира с молочных пакетов, куда американских школьников просят положить монетку-другую, чтобы бедный Алехандро, Абдулла или А-Синг мог купить себе горячий завтрак и сделать прививку. И я был признателен, честно! Но что делать, если вдобавок я принадлежал к числу зануд, волей-неволей спрашивающих себя, не объясняется ли моя нужда в американском милосердии тем, что сначала я принял американскую помощь. Боясь показаться неблагодарным, я старался производить ровно столько негромкого шума, чтобы умиротворять, но не отвлекать миз Мори, секретаршу в синтетических брючках цвета авокадо, и периодически прерывал свою псевдодеятельность, когда требовалось куда-нибудь сбегать или явиться в соседний кабинет к заведующему кафедрой.

Поскольку никто из сотрудников кафедры не знал о нашей стране ровно ничего, зав развлекался тем, что вел со мной долгие беседы о нашем языке и культуре. Забуксовавший где-то между семью и восемью десятками, зав обитал в уютном кабинете среди книг, документов, записей и цацек, плодов многолетнего, длинной в

целую жизнь, изучения Востока. На стену себе он повесил затейливый восточный ковер – по-видимому, взамен настоящего уроженца Востока. Каждому посетителю сразу бросалась в глаза стоящая на столе в позолоченной рамке фотография его семьи – русоволосого херувимчика и азиатки-жены в возрасте примерно от одной до двух третей его собственного. В алом ципао с тесным воротником, выдавившим на ее перламутровые губы пузырек улыбки, она поневоле выглядела красавицей по контрасту с ветхим стариканом в галстук-бабочке.

Ее зовут Линлин, сказал он, заметив, что я смотрю на фото. Десятилетия ученых трудов согнули спину великого востоковеда наподобие подковы, а голова его при этом пылливо выдвинулась вперед на манер драконьей. Я познакомился со своей женой на Тайване, куда ее семья бежала от Мао. Теперь наш сын уже значительно крупнее, чем на этом снимке. Как видите, материнские гены оказались более стойкими, чего и следовало ожидать. Светлые волосы темнеют под влиянием черных. Все это я услышал на нашей пятой или шестой встрече, когда между нами уже была достигнута известной степени близость. Как всегда, он покоился в мягком кожаном кресле, уютном, точно приемистые колени мамыши-афроамериканки. Я аналогичным образом утопал в глубоком лоне кресла-близнеца, положив руки на подлокотники, как Линкольн на своем мемориальном троне. Схожую метафору предлагает наш калифорнийский ландшафт, продолжал он: чужеземные сорняки уже задушили большую часть отечественной зелени. Скрещивание местной флоры с иностранной часто влечет за собой трагические последствия, как вы наверняка убедились на собственном опыте.

Согласен, сказал я, напомнив себе, что нуждаюсь в своей мизерной зарплате.

Ах, эта судьба американо-азиата – навеки зависнуть между разными мирами, не зная, к какому из них ты принадлежишь! Вообразите, что было бы, если бы вы не чувствовали в себе и над собой этого постоянного соперничества, этого перетягивания каната между Востоком и Западом! Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись, как гениально подмечено Кипплингом. Это был конек зава, и в конце одной из наших бесед он даже придумал для меня домашнее задание – проверить тезис Кипплинга. Я должен был взять лист бумаги и разделить его пополам по вертикали. Вверху слева написать “Восток”, а вверху справа – “Запад”. Далее мне предлагалось перечислить мои восточные и западные черты. Это что-то вроде инвентаризации вашей личности, сказал зав. Мои студенты родом с Востока неизменно находят сей опыт весьма полезным.

Сначала я принял это за шутку, поскольку наш разговор случился первого апреля, то есть в день, когда по странному западному обычаю все стараются разыграть друг дружку. Но он смотрел на меня вполне серьезно, и я вспомнил, что у него нет чувства юмора. Поэтому, придя домой, я взялся за карандаш и спустя некоторое время произвел следующее:

## ВОСТОК

- скромен
- уважаю власть
- равнодушен к чужому мнению
- как правило, молчалив
- всегда стараюсь угодить
- чашка наполовину пуста
- говорю да, а думаю нет
- почти всегда смотрю в прошлое
- предпочитаю слушаться
- комфортно в толпе
- почтителен к старшим

## ВОСТОК

- склонен к самопожертвованию
- беру пример с предков
- прямые черные волосы
- низковат (по западным меркам)
- этакий желтовато-белый

## ЗАПАД

- порой своеволен
- эпизодически независим
- время от времени беззаботен
- болтлив (после рюмки-другой)
- раз или два в гробу всех видел
- стакан наполовину полон
- говорю что думаю, делаю что говорю
- иногда смотрю в будущее
- но мечтаю руководить
- но готов выйти на сцену
- ценю свою молодость

## ЗАПАД

- рад прожить еще день ради борьбы
- чихал на предков!
- ясные карие глаза
- высоковат (по восточным)
- этакий беловато-желтый

Когда я поделился с ним этими результатами, он сказал: замечательно! Прекрасное начало. Вы хороший ученик, как и все приезжие с Востока. Я невольно ощутил легкий прилив гордости. Подобно всем хорошим ученикам, я горячо жаждал одобрения, даже если оно исходило от дураков. Но есть и недостаток, продолжал он. Видите, сколько ваших восточных качеств диаметрально противоположны западным? К сожалению, многие восточные черты приобретают на Западе негативную окраску. У американцев восточного происхождения – по крайней мере у тех, кто родился или вырос здесь, – это приводит к серьезным личным проблемам. Они здесь словно не на своем месте. Они очень похожи на вас – тоже расколоты посерединке. Так как же от этого исцелиться? Неужто восточный человек на Западе обречен всегда чувствовать себя бездомным, чужаком, изгоем, сколько бы поколений ни провел его род на почве иудеохристианской культуры, неужто ему никогда не избавиться от конфуцианского осадка его благородного древнего наследия? И тут вы как американо-азиат подаете определенную надежду.

Я понимал, что он хочет проявить благожелательность, и изо всех сил старался сохранить серьезную мину. Кто – я?

Да, вы! Вы воплощаете собой симбиоз Востока и Запада, возможность для двоих слиться в одно. Мы не в силах физически отделить в вас уроженца Востока от уроженца Запада. То же самое относится и к вашей психике. Но хотя сейчас вы здесь как бы посторонний, в будущем ваш случай станет нормой! Посмотрите на моего американо-азиатского сына. Сотню лет назад он выглядел бы уродом, что в Китае, что в Америке. Сегодня китайцы еще восприняли бы его как аномалию, но мы здесь наблюдаем явный прогресс – не столь быстрый, как хотелось бы нам с вами, но все же у нас достаточно оснований надеяться, что по достижении вашего возраста перед ним будут открыты все пути. Как родившийся здесь, он даже может стать президентом! И таких, как вы с ним, гораздо больше, чем вы думаете, просто

многие из них еще испытывают стыд и стремятся затеряться в дебрях американской жизни. Но ваши ряды растут, и демократия дает вам великолепный шанс обрести свой голос. Здесь вы можете овладеть искусством не разрываться между своими внутренними противоположностями, а уравнивать их и извлекать выгоду из обеих половинок своей натуры. Преодолейте вашу исконную двойственность, и вы станете идеальным переводчиком между двумя мирами, посланником доброй воли, который принесет мир конфликтующим государствам!

Кто – я?

Да, вы! Вы должны старательно культивировать в себе те рефлексy, которые американцам достаются от природы, в противовес вашим восточным инстинктам.

Я больше не мог сдерживаться. Как инь и ян?

Вот именно!

Я прокашлялся, чтобы избавиться от кислого привкуса в горле – гастрального выброса из моего смятенного западно-восточного нутра. Профессор...

Да?

А это ничего, что на самом деле я не американо-азиат, а евроазиат?

Зав смерил меня благосклонным взглядом и принялся набивать трубку.

Нет-нет, мой мальчик, это абсолютно неважно.

По дороге домой я купил белого хлеба, копченой колбасы, литровую пластиковую бутылку водки, кукурузный крахмал и флакончик йода. Из сентиментальных соображений я предпочел бы рисовый крахмал, но кукурузный было легче найти. Дома я убрал покупки и прилепил к холодильнику опись своей раздвоенной личности. В Америке холодильники есть даже у бедных, не говоря уж об унитазах, водопроводе и круглосуточном электроснабжении – удобствах, которыми на моей родине пользовались далеко не все представители среднего класса. Почему же тогда я чувствовал себя бедным? Возможно, причина крылась в моих жизненных обстоятельствах. Мне стала домом унылая, об одной спальне квартирка на первом этаже, насквозь пропахшая грязными носками, о чем я и сообщил тете. В тот день, так же как и во все предшествующие, я обнаружил Бона в глубокой апатии на длинном языке нашей красной велюровой софы. Он покидал это ложе только на время своего ночного дежурства в церкви преподобного Р-р-р-рамона, поставившего себе цель спасти души, экономя деньги. Ради этой цели, в доказательство того, что можно поклоняться одновременно Богу и маммоне, моему другу платили наличными, никак это не оформляя. При отсутствии декларируемых доходов Бон не мог рассчитывать на социальную страховку в случае инвалидности или потери работы. Однако его это устраивало: как и другие беженцы без профессиональных навыков, имеющих рыночную ценность, он получал свое пособие с чистой совестью, уверенный, что оно причитается ему по праву. Послужив своей родине за гроши, приняв участие во вдохновленной американцами войне, он разумно полагал, что велфэр в качестве награды лучше ордена. К тому же ему некуда было деваться: никто не искал сотрудника, который умеет прыгать с парашютом, совершать тридцатимильные броски с сорокакилограммовым снаряжением, попадать в яблочко хоть из револьвера, хоть из винтовки и терпеть больше физических мучений, чем лоснящиеся специалисты по боям без правил.

Получив от государства очередную подачку, Бон тратил наличные на ящик пива, а продуктовые талоны – на недельный запас мороженных полуфабрикатов. Так произошло и сегодня. Открыв холодильник, я взял свою пивную пайку и присоединился к Бону в гостиной, где он уже расстрелял себя полудюжиной банок. Пустые гильзы валялись на ковре, а сам он лежал на софе навзничь, прижав ко лбу следующий холодный снаряд. Я плюхнулся в широкое кресло – залатанное, но вполне годное к употреблению, – и включил телевизор. Пиво имело цвет и вкус

детской мочи, но, следуя своему обычному распорядку, мы прилежно и буднично допились до беспамятства. Я очнулся во временной промежности между очень поздним вечером и очень ранним утром с мерзкой губкой во рту и в ужасе пялился на отрубленную голову гигантского насекомого, раззявившего на меня челюсти, пока не опознал в ней деревянную коробку телевизора с поникшими усами антенны. Орал национальный гимн, развевались звездно-полосатые стяги, потом на экране выросли величественные багряные горы, на фоне которых парили реактивные истребители. Когда все это наконец скрыла пелена статической ряби и снега, я дотащился до замшелой беззубой пасти унитаза, а оттуда до нижней койки двухъярусной кровати в тесной спальне. Бон уже отыскал дорогу на верхнюю. Я улегся и попытался вообразить, что мы отдыхаем как солдаты, хотя единственное место близ Чайнатауна, где можно купить двухъярусную кровать, – это детская секция дешевого мебельного магазина с продавцами-мексиканцами или людьми, похожими на мексиканцев. Я не мог отличить одного уроженца Южного полушария от другого, но не видел в этом ничего обидного для них, тем более что они сами называли меня китаезой в лицо. Подобно нам, их цветным собратям в этом блеклом городе, они торговались с упорством вежливых насильников, не принимающих отказа, всегда готовые скостить налог с продаж тому, кто заплатит им мятыми банкнотами. Это тоже было частью американского образа жизни, которую все иммигранты понимали нутром.

Промаявшись час, я так и не смог вернуться ко сну. Тогда я пошел на кухню и съел бутерброд с колбасой, параллельно перечитывая вчерашнее письмо от тетушки. *Дорогой племянник*, писала она, *спасибо за твое последнее письмо. Погода у нас стоит ужасная, очень сыро и ветрено.* Далее приводились подробности ее борьбы с розами и заказчиками в ателье, а также положительный итог визита к врачу, но для меня не было ничего важнее сигнала о погоде: он означал, что между строк находится секретное сообщение Мана, вписанное туда невидимыми чернилами из рисового крахмала. На следующий день, когда Бон уйдет на несколько часов убирать церковь, мне предстояло сделать водный раствор йода и нанести его кисточкой на бумагу, чтобы проявить ряд цифр фиолетового цвета. По артистическому замыслу Мана, они указывали на страницу, строку и слово в “Азиатском коммунизме и тяге разрушения по-восточному” Ричарда Хедда – ныне самой главной книге в моей жизни. Благодаря невидимым посланиям Мана я уже знал, что моральный дух народа высок, восстановление страны ведется медленно, но верно, а руководящие органы довольны моими отчетами. А с чего бы им быть недовольными? Изгнанники только и делали что рвали на себе волосы да скрежетали зубами. Едва ли мне стоило сообщать это с помощью невидимых чернил, которые я планировал приготовить из кукурузного крахмала и воды.

В этом месяце истекал первый год после падения Сайгона – падения, или освобождения, или того и другого вместе. Под влиянием сентиментальности и похмелья в равных дозах я решил отметить годовщину наших мытарств очередным письмом тете. Покинув родину не только по воле обстоятельств, но и по собственному выбору, я все же волей-неволей сочувствовал своим землякам; я наглотался микробов их скорби, которые носились в воздухе, и теперь тоже бродил, спотыкаясь, в туманной долине памяти. *Моя дорогая тетушка, столько всего случилось!* Перескакивая с пятого на десятое, я рассказывал о судьбах изгнанников после лагеря с точки их замутненного слезами зрения, из-за чего слезы наворачивались на глаза и мне. Я писал о том, что никого из нас не отпускали, пока мы не найдем себе спонсора, гарантирующего, что мы не присоединимся к щедрой государственной титке, брызжущей велфэром. Те из нас, кому не удавалось сразу найти покровителей, писали умоляющие письма фирмам, которые когда-то нас нанимали, военным, которые когда-то давали нам советы, любовницам, которые когда-то с нами спали, церквям, которые предположительно могли проявить к нам добросердечие, и даже случайным знакомым – а вдруг сдурю помогут? Кто-то из нас уехал в одиночку, кто-то с семьей, многие наши семьи были расколоты и раскромсаны, кто-то из нас угодил в теплые края на Западном побережье, напоминающие о доме, но большинство рассеялось по далеким штатам, чьи названия мы не могли толком выговорить: Алабаме, Арканзасу, Джорджии, Кентукки, Миссури, Монтане, Южной Каролине и прочим. Мы обсуждали эту

новую географию на своей собственной версии английского, делая ударение на каждой гласной: Чикаго у нас стал Чик-а-го, Нью-Йорк скорее походил на Ньюарк, Техас развалился на Тех-асс, Калифорния превратилась в Ка-ли. Покидая лагерь, мы обменивались телефонными номерами и адресами пунктов назначения, зная, что наша внутренняя осведомительная сеть поможет нам выяснить, в каком городе можно найти работу получше, в каком штате налоги пониже, где дают велфэр пожирнее, где поменьше расизма, где живет побольше тех, кто выглядит как мы и ест как мы.

Если бы нам позволили остаться вместе, сказал я тетке, мы образовали бы самодостаточную, внушительных размеров колонию, прыщ на заднице политического тела Америки, со своими готовыми политиками, полицейскими и военными, со своими собственными банкирами, торговцами и инженерами, со своими врачами, юристами и бухгалтерами, с поварами, горничными и дворниками, с владельцами фабрик, механиками и конторщиками, с ворами, проститутками и убийцами, с писателями, актерами и певцами, с гениями, учителями и сумасшедшими, со священниками, монахами и монашками, с католиками, буддистами и каодаистами, с уроженцами Юга, Центра и Севера, с умниками, посредственностями и дураками, с патриотами, ренегатами и неприсоединившимися, с честными, продажными и равнодушными – нас хватило бы на то, чтобы избрать в Конгресс своего представителя и получить в Америке свой голос, мы создали бы настоящий Маленький Сайгон, такой же чудесный, сумасбродный и неэффективный, как его прототип, и именно поэтому-то нам и не позволили остаться вместе, а разогнали одним бюрократическим повелением по всем городам и весям нашего нового мира. Но где бы мы ни оказывались, мы находили друг друга, сбивались на выходных кучками в подвалах, в церквях и на задних дворах, на пляжах, куда приносили в объемистых сумках свою еду и питье, чтобы не тратиться на более дорогую продукцию в сетевых супермаркетах. Мы как могли старались придерживаться своих кулинарных традиций, но по причине зависимости от китайских рынков наша еда имела отталкивающий китайский налет – еще один плевком нам в душу, оставляющий нас с кисло-сладким привкусом ненадежных воспоминаний, правильным ровно настолько, чтобы возродить прошлое, и неправильным ровно настолько, чтобы напомнить нам о безвозвратной утрате этого прошлого, вместе с которым мы лишились единственной идеальной разновидности нашего универсального растворителя с его неповторимой палитрой ароматов – рыбного соуса. Ах, этот рыбный соус! Как же мы скучали по нему, милая тетушка, каким все стало без него безвкусным, как тосковали мы по огромной соусодельне на острове Фукуок, по ее бочкам, доверху набитым отборным урожаем спрессованных анчоусов! Иностранцы ругают эту пряную жидкую приправу наигустейшего коричневого цвета за ее якобы отвратительный смрад, из-за которого, по их мнению, мы все пованиваем рыбой. Но мы пользуемся своим рыбным соусом на манер трансильванских крестьян, отпугивавших чесноком вампиров, – в нашем случае, чтобы оградить себя от глупых обитателей Запада, не способных понять, что самое мерзкое на свете – это тошнотворный запах сыра. Разве перебродившую рыбу можно сравнить со свернувшимся молоком?

Но из уважения к нашим хозяевам мы держали свои чувства при себе, сидели бок о бок на колючих диванах и шершавых коврах, теснились за кухонными столами перед ребристыми пепельницами, где, отмечая бег времени, росли горки пепла, жевали сушеных кальмаров и горькую жвачку воспоминаний, пока у нас не начинали ныть челюсти, обменивались слуханными из вторых и третьих уст историями о наших рассеявшихся по стране земляках. Так узнавали мы о клане, который превратил в рабов фермер из Модесто, о наивной девушке, которую продали в бордель в Спокейне, куда она полетела в надежде выйти замуж за своего ухажера из американской армии, о вдовце с девятью детьми, который не пережил суровой миннесотской зимы – когда его нашли, он лежал в снегу навзничь, с открытым ртом, и уже окоченел, – о бывшем десантнике в Кливленде, который купил ружье и отправил на тот свет сначала жену с двумя детьми, а потом и себя, и об измученных беженцах на Гуаме, которые попросились обратно во Вьетнам да так там и сгинули, и об избалованной девице, которая подседа на героин и затерялась на балтиморских улицах, и о жене одного политического деятеля,



которая мыла утки в доме для престарелых, но потом сломалась, напала на мужа с кухонным тесаком и угодила в психушку, и о четверых подростках, которые приехали сюда без семей, ограбили в Куинсе два винных магазина, убили грузчика и загремели в тюрьму со сроками от двадцати лет до пожизненного, об убежденном буддисте в Хьюстоне, который шлепнул своего малолетнего сына и попал под суд за жестокое обращение с ребенком, и о продавце в Сан-Хосе, который выдавал по продуктовым талонам палочки для еды и был оштрафован за нарушение закона, и о муже в Роли, который всыпал по заслугам своей потаскухе-жене и был арестован за домашнее насилие, и о мужчинах, которые спаслись, но потеряли жен, и о женщинах, которые спаслись, но лишились мужей, и о детях, которые спаслись, но остались не только без родителей, но и без бабушек и дедушек, и о семьях, в которых стало меньше на одного, двух, трех и больше детей, и о шестерых бедолагах, которые заснули в тесной, промерзшей насквозь комнатухе в Терре-Хоте, распалив для обогрева жаровню с углем, и перекочевали в небытие на невидимом облаке угарного газа. Мы просеивали эту мутную жижу в поисках золота – истории о младенце-сироте, усыновленном канзасским миллиардером, или об инженере, купившем в Арлингтоне лотерейный билет и выигравшем два миллиона, или о школьнице из Батон-Ружа, которую избрали старостой класса, или о парне из Фон-дю-Лака, которого приняли в Гарвард, когда подошвы его кроссовок еще были испачканы засохшей гуамской грязью, или о той самой кинозвезде, твоей любимице, милая тетушка, которая после падения скиталась по всему миру, из аэропорта в аэропорт, и нигде ее не принимали, и никто из ее подружек, американских звезд, не отвечал на ее отчаянные телефонные звонки, пока наконец она не зацепила на последнюю монетку Типпи Хедрен и та не переправила ее в Голливуд. Так мы намыливались скорбью и ополаскивались надеждой, и хотя мы верили почти каждому слуху, достигавшему наших ушей, почти никому из нас не хватало смелости поверить, что наша нация мертва.

## Глава 5

Судя по тем многочисленным признаниям, которые довелось прочесть мне самому, и по тем замечаниям, которые вы уже сделали, я подозреваю, уважаемый комендант, что вы едва ли привыкли читать исповеди вроде моей. Я не могу корить за необычность своего признания вас – только себя. Я виновен в честности, чуть ли не впервые за все свои взрослые годы. Зачем начинать теперь, в этих условиях – в одиночной камере размером три метра на пять? Возможно, причина в том, что я не знаю, почему я здесь. Когда я был кротом, или так называемым спящим агентом, мне по крайней мере было понятно, зачем я должен притворяться. Но сейчас другое дело. Если меня приговорят – или, как я подозреваю, уже приговорили, – мне остается разве что объяснить свои поступки в том стиле, какой я выберу сам, независимо от вашего мнения о них.

Полагаю, мне можно поставить в заслугу терпение, с коим я относился к настоящим опасностям и мелким хлопотам, сопровождавшим мою жизнь. Я жил как крепостной слуга, как беженец, чья работа связана с единственным преимуществом – возможностью получать велфэр. Я даже спать толком не мог, ибо спящие агенты, как правило, страдают хронической бессонницей. Может, Джеймс Бонд и умел безмятежно дремать на ложе из гвоздей, каковое представляет собой жизнь шпиона, но мне это не удавалось. Станным образом мне помогало заснуть лишь самое шпионское из всех моих занятий – расшифровка посланий Мана и шифровка своих собственных при помощи невидимых чернил. Поскольку каждое послание требовалось кропотливо кодировать слово за словом, как отправителю, так и получателю надлежало быть максимально лаконичным, и сообщение от Мана, которое я расшифровал на следующий вечер, гласило попросту: *хорошая работа, не привлекай к себе внимания, и еще: все диверсанты уже задержаны.*

Свой ответ я решил зашифровать после торжественного открытия генеральского магазина, где, по приглашению генерала, должен был появиться и Клод. Хотя мы несколько раз говорили по телефону, я не видел его с Сайгона. У генерала была и другая причина желать моего присутствия. Так сказал Бон спустя пару дней, вернувшись из магазина, куда его наняли помощником – неполная нагрузка в церкви позволила ему взяться и за эту работу. Я сам уговорил генерала нанять Бона и был рад тому, что теперь он будет проводить на ногах больше времени, чем на спине. Зачем он хочет меня видеть? – спросил я. Бон открыл артритическую дверцу холодильника и извлек оттуда самый чудесный декоративный предмет из всех, что имелись в нашем распоряжении, – блестящий серебристый цилиндр пива “Шлиц”. В наших рядах есть осведомитель. Выпьешь?

Давай две.

Торжественное открытие назначили на конец апреля, чтобы объединить этот праздник с годовщиной падения Сайгона, или его освобождения, или того и другого вместе. Дата выпала на пятницу, и мне пришлось попросить миз Мори, секретаршу в практичных туфлях, отпустить меня из колледжа пораньше. В сентябре я бы на такое не осмелился, однако к апрелю наши отношения приняли неожиданный оборот. В первые месяцы после нашего знакомства мы потихоньку изучали друг друга на перекурах, во время пунктирных разговоров о том о сем, обычных для сослуживцев, а затем и по окончании работы, в барах далеко за пределами кампуса. Поначалу, опираясь на костюмные предпочтения миз Мори, ее любовь к большому джазовым оркестрам, ланчи в пакетах из оберточной бумаги и холодность в обращении со мной, я решил, что передо мной закоренелая бюрократка, которую исправит только могила, но я ошибался. Теперь мы были на дружеской ноге – если под этим можно понимать регулярные половые акты в поту и без предохраняющих средств у нее дома в Креншоу, эпизодические случаи украдкой в кабинете заведующего кафедрой и спорадические вечерние соития на скрипучем заднем сиденье моего “форда”.

Как она объяснила после нашей первой романтической интерлюдии, пригласить меня выпить, “когда будет настроение”, ее в конечном счете сподвигли моя

мягкость, рассудительность и добродушие. Через несколько дней мы отправились в гавайский бар с основной клиентурой из крупных мужчин в цветастых рубашках навыпуск и женщин в джинсовых юбках, куда еле влезали их объемистые ягодицы. По бокам от входа пылали бамбуковые факелы, а внутри смотрели с дощатых стен зловещие маски неопределенного тихоокеанского происхождения, чьи губы словно говорили: уга-буга! Освещали зал настольные лампы в виде темнокожих и гологрудых гавайских танцовщиц в юбках “хула”. На официантке была такая же юбка, светло-соломенная – под цвет волос, и бикини-топ из отполированных половинок кокосовых орехов. Примерно после третьей порции миз Мори облокотилась на стойку, подперев рукой подбородок, и позволила зажечь себе сигарету, что представляется мне едва ли не самой эротичной предварительной лаской, доступной мужчине при общении с женщиной. Она пила и курила, как восходящая кинозвезда в эксцентрической комедии, одна из тех дамочек в мягких бюстгальтерах и платьях с подплечниками, что говорят на особом жаргоне из двусмысленностей и недомолвок. Глядя мне прямо в глаза, она сказала: я должна кое в чем признаться. Я улыбнулся, надеясь, что мои ямочки произведут впечатление. Обожаю признания, сказал я. В вас есть что-то загадочное, сказала она. Поймите меня правильно – дело не в том, что вы стройный, смуглый и привлекательный. Вы просто смуглый, ну и... не без своего обаяния. Сначала, услышав о вас и встретившись с вами в первый раз, я подумала: отлично, приехал Дядя Том-сан, полный засранец, чистая туфта. Несчастный заморыш с плантаций, только что не сахарных, а рисовых. Как вы их охмуряете, этих гайдзинов! Белые люди вас любят, правда? Я-то им разве что нравлюсь. Для них я изящная китайская куколка, гейша с перебинтованными ножками. Но я слишком мало говорю, чтобы меня любить, а если и говорю, то не так. Я не могу воткнуть в прическу палочки для еды, как последняя идиотка, и чирикать сукияки да сайонара, от чего они прямо балдеют, корчить из себя этакую Сюзи Вонг, будто все белые мужики сплошь Уильямы Холдены и Марлоны Брандо, даже если они выглядят как Микки Руни. Но вы! Вы умеете говорить, а это важно. Мало того – вы еще и замечательно слушаете. Вы овладели той самой пресловутой непроницаемой восточной улыбкой, киваете и сочувственно морщите лоб, и люди продолжают все вам выкладывать, думая, что вы абсолютно с ними согласны, хотя вы еще не проронили ни слова. Что вы на это скажете?

Миз Мори, сказал я, вы меня просто сразили. Я думаю, сказала она. И зови меня София, черт побери. Я тебе не перерзевшая мамаша твоей школьной подружки. Закажи мне еще выпить и дай еще прикурить. Мне сорок шесть, и я не собираюсь это скрывать, но скажу тебе одно: если женщине сорок шесть и она всю жизнь жила, как сама хотела, она умеет все, что есть смысл делать в постели. И тут ни при чем “Камасутра”, “Подстилка из плоти” и вся эта восточная белиберда из репертуара нашего несравненного зава. Вы же проработали у него шесть лет, сказал я. А то я не помню, сказала она. Это только мое воображение или и правда всякий раз, как он открывает дверь в свой кабинет, где-то звенит гонг? И еще – курит он у себя в кабинете или только жжет благовония? По-моему, я слегка разочаровываю его тем, что не кланяюсь ему при каждой встрече. На собеседовании он спросил меня, говорю ли я по-японски. Я объяснила, что родилась в Калифорнии, в Гардине. Ах, так вы нисэй, сказал он, как будто знание одного этого слова помогло ему что-то узнать обо мне. Вы забыли свою культуру, миз Мори, хотя вы всего лишь второго поколения. Вот ваши родители – они иссэй, они-то ее хранили. Вы не хотите выучить японский? А съездить в Японию? Долгое время после этого разговора мне было не по себе. Я гадала, почему это я не хочу учить японский, почему я уже на нем не говорю, почему я скорее предпочла бы поехать в Париж, Стамбул или Барселону, чем в Токио. Но потом я подумала: да кому это надо? Спрашивал кто-нибудь Джона Кеннеди, говорит ли он по-гэльски, наезжает ли в Дублин, лопает ли по вечерам картошку и собирает ли наклейки с лепреконами? Так почему нам не положено забывать нашу культуру? Разве моя культура не здесь, если я здесь родилась? Конечно, ему я всех этих вопросов не задавала. Просто улыбнулась и сказала: да, сэр, как вы правы! Она вздохнула. Что делать – это работа. Но я скажу тебе еще кое-что. После того как я твердо решила для себя, что ни черта я не забыла, что я отлично знаю свою культуру, а именно американскую, и свой язык, а именно английский, я все время чувствую себя в

кабинете этого человека шпионкой. На поверхности я такая простая славная миз Мори, бедняжка, позабывшая о своих корнях, но внутри я София, и ты меня лучше не трожь.

Я откашлялся. Миз Мори...

Хм-м?

Кажется, я в вас почти влюбился.

София, сказала она. И давай проясним одну вещь, плейбой. Если мы с тобой что-нибудь и закрутим, а это еще очень большое если, то никто никому ничего не должен. Ты не влюбляешься в меня, а я не влюбляюсь в тебя. Она выпустила два дымовых колечка. Просто чтобы ты знал: я не верю в брак, но верю в свободную любовь.

Ну надо же, сказал я, какое совпадение. Я тоже.

По мнению Бенджамина Франклина, как сообщил мне десять лет назад профессор Хаммер, завести любовницу старше себя – большая удача; во всяком случае, так отец-основатель наставлял одного юношу. Я не помню всего письма нашего американского мудреца целиком, только два пункта. Первый: эти женщины “так благодарны!!” Что, возможно, справедливо в отношении многих, но не миз Мори. Коли уж на то пошло, она ожидала благодарности от меня – и вполне справедливо. Раньше мне приходилось довольствоваться утешениями лучшего друга мужчины, т. е. онанизма, ибо проститутки были мне явно не по карману. Теперь же я имел свободную любовь, чье существование бросало вызов не только капитализму, стиснутому своими протестантскими традициями, точно поясом целомудрия, но и коммунизму с конфуцианской окраской. Это один из недостатков коммунизма (надеюсь, временный) – убеждение, что каждый товарищ должен вести себя точно благородный крестьянин, возделывающий своей мотыгой исключительно собственную делянку. В условиях азиатского коммунизма свободно все, кроме любви, поскольку на Востоке сексуальная революция пока не разразилась. Аргументация такова: если ты имеешь достаточно секса, чтобы произвести на свет шесть-восемь, а то и дюжину отпрысков (как, согласно Ричарду Хедду, оно и бывает почти во всех азиатских семьях), тебе едва ли требуется революция, чтобы получить его еще больше. Американцев же, привитых от одной революции и благодаря этому устойчивых к другой, интересует лишь тропическое шипение свободной любви, а не ее политический запал. Однако под чутким руководством миз Мори я начал понимать, что истинная революция подразумевает также и сексуальное освобождение.

Мои прозрения были не так уж далеки от прозрений мистера Франклина. Этот лукавый старый сибарит прекрасно понимал важность эротики для политики – не зря в своем стремлении обеспечить американской революции французскую помощь он обхаживал дам не менее старательно, чем государственных деятелей. Так что суть письма Первого Американца его юному другу была правильна: всем нам следует завести себе любовниц, превосходящих нас по возрасту. Это не столь уж сексистское заявление, как может показаться: ведь оно подразумевает и то, что женщины в возрасте должны спать с более молодыми жеребцами. Пускай посланию старого греховодника и не хватало тонкости, зато в нем была грубая прямота, касающаяся нашей животной природы. Отсюда пункт второй, а именно: годы берут свое, начиная с верхних этажей тела и постепенно спускаясь вниз. Первым делом стареют черты лица, затем шея, грудь, живот и далее, так что пожилая любовница остается упругой и аппетитной там, где это имеет значение, даже если ее физиономия уже давно высохла и сморщилась, в каком случае ей можно просто надеть на голову ведро.

Но в случае с миз Мори такой нужды не было, поскольку она обладала приятной внешностью женщины без возраста. Для полного счастья мне требовалось только найти партнершу для Бона, который, насколько я знал, тоже практиковал сольные партии. Застенчивый от рождения, он проглотил свою пилюлю католицизма

всерьез. По отношению к сексу он проявлял больше смущения и нерешительности, чем по отношению к тому, что казалось мне не в пример труднее – например, к убийству других людей. Кстати, это весьма характерно и для истории католицизма вообще, на всем протяжении которой секс так хорошо прятали под ватиканскими сутанами, что его будто вовсе не существовало. Чтобы папы, кардиналы, епископы, рядовые священники и монахи путались с женщинами, девицами, мальчиками и друг с другом? Никто об этом даже не заикался! И ведь в сексе самом по себе ничего плохого нет – противен не он, а лицемерие. А то, что церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа замучила, сгноила, уничтожила в крестовых походах и заразила смертельными болезнями миллионы людей повсюду от Аравии до обеих Америк? Признается с дежурным ханжеским сожалением, и то далеко не всегда.

Со мной же все было наоборот. Едва переступив порог своего пылкого отрочества, я принялся ублажать себя и с тех пор занимался этим с усердием хорошего спортсмена, причем использовал ту же руку, какой крестился, вознося фальшивые молитвы. Со временем это семя полового бунтарства дало политические всходы, несмотря на все отцовские проповеди о том, что онанизм неизбежно приводит к слепоте, оволосению ладоней и импотенции (революцию он к этому списку добавить забыл). Если мне суждено угодить в ад – что ж, ничего не поделаешь! Привыкнув грешить наедине с собой, иногда чуть ли не ежечасно, я неизбежно должен был рано или поздно начать грешить с другими. Так сложилось, что свой первый противоестественный акт я совершил в тринадцать лет с выпотрошенным кальмаром, умыкнутым с материнской кухни, где он ожидал своей нормальной участи в компании сородичей. Ах, бедный, невинный, бессловесный кальмар! Ты был размером с кисть моей руки и, лишившись головы, щупалец и кишок, приобрел удобную форму презерватива – впрочем, тогда я еще не знал, что это такое. Твоя внутренняя поверхность была скользкой и гладкой, как у вагины – впрочем, этого чудесного объекта я не видел еще никогда, если не считать того, что демонстрировали младенцы и дети дошкольного возраста, разгуливающие по дворам и переулкам моего родного города в одних рубашонках или совсем голышом. Этим они скандализировали наших французских господ, ибо те считали детский нудизм признаком варварства, каковое затем оправдывало их самих, грабящих и насилующих нас во имя святой цели – заставить наших детей носить одежду, дабы они не выглядели такими соблазнительными в глазах честных христиан, чьи дух и плоть равно подвергались опасности. Но я отвлекся! Вернемся к тебе, мой обреченный на надругательство кальмар: когда я просто из любопытства сунул в твое тесное склизкое отверстие сначала указательный, а затем средний палец, моя беспокойная фантазия просто не могла воздержаться от аналогии с тем табуированным женским органом, мысли о котором неотвязно преследовали меня в последние несколько месяцев. Без всякого понуждения, абсолютно независимо от моей воли, мое безумное мужское естество воспряло, и меня неодолимо повлекло к тебе, о мой дивный, чарующий, обворожительный кальмар! Хотя моя мать должна была вот-вот вернуться домой, хотя соседка могла в любой момент пройти мимо пристройки, где находилась наша кухня, и застукать меня с моей головоногой невестой, я спустил штаны. Загипнотизированный неотразимым кальмаром и своим восставшим органом, я объединил их в одно целое, и первый, к несчастью, оказался как раз в пору последнему. К несчастью, потому что с того дня любой кальмар, оставшийся со мной наедине, вызывал у меня непреодолимую тягу к зоофилии, пусть и в смягченном варианте – в конце концов, о мой горемычный соблазнитель, ты ведь был мертв, хотя теперь я вижу, что это поднимает другие моральные вопросы. Впрочем, нельзя сказать, что я предавался этим извращениям так уж часто, ибо кальмары в нашем далеком от побережья городке были редким лакомством. Отец время от времени дарил их матери, поскольку сам питался хорошо. Священников всегда балуют набожные домохозяйки и состоятельные прихожане, благоговеющие перед ними так, будто именно они охраняют вход в эксклюзивный ночной клуб под названием рай. Эти поклонники и поклонницы убирали ему жилье, готовили еду, угощали его обедами и подкупали самыми разнообразными приношениями, в том числе морепродуктами, не предназначенными для голодранцев вроде моей матери. В миг своего судорожного семяизвержения я не почувствовал ровно никакого стыда, но

по возвращении способности мыслить здраво ощутил тяжелейшее бремя вины – вовсе не из-за того, что пошатнул какие-то моральные устои, а потому, что не мог позволить себе осквернить уста матери даже крохотной толикой этого кальмара. Их было у нас всего полдюжины, и она непременно заметила бы, что одного не хватает. Как же быть? Что делать? Я застыл, сжав в горсти ошеломленного внезапной дефлорацией моллюска, из чьего оскверненного лона сочились последствия моего кощунства, и вскоре в моем хитроумном мозгу зародился коварный план. Во-первых, тщательно устранить все улики путем промывания. Во-вторых, пометить жертву насилия ножевыми порезами, дабы облегчить опознание. Затем ждать ужина. Моя простодушная мать вернулась в нашу жалкую хибарку, нафаршировала кальмаров молотой свининой и бобовой лапшой с грибами, приправила имбирем, изжарила и подала на стол с имбирно-лаймовым соусом, куда их полагалось макать. Я увидел на блюде свою скорбную покинутую одалиску с отметинами, нанесенными моей рукой и, едва услышав предложение браться за дело, схватил ее палочками, чтобы лишить мать всякой возможности опередить меня. Чуть помедлил под ее ласковым выжидающим взором, затем обмакнул кальмара в имбирно-лаймовый соус и откусил первый кусочек. Ну? – спросила она. 3-3-замечательно, пробормотал я. Отлично, только ты не глотай сразу, а жуй хорошенько, сынок. Не торопись. Будет гораздо вкуснее. Да, мама, сказал я. И так, мужественно улыбаясь, послушный сын медленно и не без удовольствия сжевал всего поруганного кальмара, чей солоноватый вкус мешался со сладостью материнской любви.

Кто-то, безусловно, сочтет эту историю непристойной. Кто-то, но не я! Массовая резня – да, непристойна. пытки – непристойны. Три миллиона убитых – непристойны. Но мастурбация посредством кальмара, пусть и с элементами сексуального принуждения? Ну нет. Лично я глубоко убежден, что наш мир стал бы гораздо лучше, если бы слово “убийство” нам было так же трудно выговорить, как слово “мастурбация”. И несмотря на то, что по характеру я больше склонен к любви, нежели к битвам, мой политический выбор и тайная полиция в конце концов вынудили меня культивировать ту грань моей натуры, которую в детстве я пустил в ход лишь однажды, – агрессивность. Впрочем, даже работая в тайной полиции, я не только не прибегал к насилию сам, но и старался не допустить, чтобы к нему прибегали мои товарищи. Я позволял насилию свершиться лишь тогда, когда обстоятельства складывались уж очень неблагоприятно, загоняя меня в такие ситуации, откуда нельзя было выпутаться при помощи хитроумия. К сожалению, это хоть и изредка, но случалось, и воспоминания о некоторых допрошенных до сих пор преследовали меня с фанатической неотступностью: жилистый монтаньяр с жилой провода на шее и взбухшими жилами на лбу, упрямый террорист с багровым лицом в белой комнате, сумевший выдержать все, кроме одного, коммунистическая шпионка с предательской бумажной кашей во рту, наши кислые имена буквально на кончике ее языка. У всех этих пленных был общий и единственный пункт назначения, но вело туда множество тернистых путей. Когда я прибыл в генеральский магазин на торжественное открытие, меня охватило чувство, хорошо знакомое этим бедолагам, – жуткая уверенность того сорта, что прячется, похикивая, под карточными столиками в домах престарелых. Кто-то скоро умрет. Возможно, я.

Винный магазин находился в восточном конце Голливудского бульвара, вдали от пышного гламура Египетского и Китайского театров, где шли премьерные кинопоказы. В этом совсем не фешенебельном районе, хоть и солнечном, порой творились темные дела, и кроме обязанностей продавца Бон должен был выполнять еще одну: отпугивать потенциальных воришек и грабителей. Он бесстрастно кивнул мне из-за кассы; за его спиной тянулись полки с парадными квартами известных брендов, пинтовыми фляжками, которые удобнее всего красть, и, в самом уголке, мужскими журналами с подретушированными лолитами на обложках. Иди в подсобку, сказал Бон, Клод с генералом уже там. В подсобке зудели люминесцентные лампы и пахло дезинфекцией и старым картоном. Клод встал мне навстречу с пластикового стула, и мы обнялись. Он прибавил несколько фунтов, но в остальном не изменился – на нем даже по-прежнему была знакомая мне по Сайгону мятая спортивная куртка.

Садитесь, сказал генерал из-за своего стола. При каждом нашем движении пластиковые стулья бесстыдно скрипели. Со всех сторон нас подпирали коробки и ящики. На генеральском столе теснились увесистый телефон с дисконабирателем, штемпельная подушечка, истекающая красными чернилами, стопка квитанций, проложенных синей копиркой, и настольная лампа со сломанной шеей, не способная держать голову прямо. Когда генерал выдвинул ящик, мое сердце трепыхнулось. Вот оно! Миг, когда крыса получит молотком по темечку, нож в шею, пулю в висок или все это разом, просто ради забавы. По крайней мере, все произойдет сравнительно быстро. В далеком Средневековье, как рассказывал Клод, обучая нас в Сайгоне тактике допросов, меня выпотрошили бы и четвертовали, а голову насадили на кол, чтобы все могли ею любоваться. Один палач-юморист освежал свою жертву заживо, набил кожу соломой, посадил на коня и с помпой провез по городу. Умора! Я перестал дышать, ожидая, что генерал сейчас вытащит пистолет и удалит мне мозги нехирургическим образом, но он вытащил всего лишь бутылку скотча и пачку сигарет.

Н-да, сказал Клод, я предпочел бы воссоединиться с вами в более подходящих условиях, джентльмены. Я слышал, что вы спаслись из Доджа с большим трудом. Это еще мягко сказано, заметил генерал. А вы? – спросил я. Наверняка выбрались оттуда с последним вертолетом.

Не будем драматизировать, сказал Клод, принимая от генерала сигарету и стаканчик виски. Я улетел несколькими часами раньше на посольском. Он вздохнул. Никогда не забуду этого дня. Мы слишком долго ждали, и в конце все пошло кувырком. Вы были последние, кого вывезли на самолете. Потом появились морпехи на вертолетах, чтобы забрать остальных из посольства и аэропорта. И “Эйр Америка” отправила свои спасательные вертушки на наши секретные посадочные площадки. Но вот беда: рисовать номера этих площадок на крышах мы наняли местных вьетнамок, так что все в городе о них знали. Умно, правда? Когда настал момент истины, все эти дома оказались окружены. И те, кто должен был сесть в вертолеты, не смогли этого сделать. Та же история в аэропорту: внутрь не попасть. Пристани – перекрыты наглухо. Автобусы, и те не могли пробиться к посольству, потому что его осадили тысячи. И у всех в руках бумажки – трудовые договоры, брачные свидетельства, письма, даже американские паспорта. И все орут. Я знаю такого-то, такой-то может за меня поручиться, я замужем за американским гражданином. Да кому какая разница! Морпехи стояли на стене и спихивали всех, кто пытался туда залезть. Надо было подобраться к какому-нибудь поближе и сунуть ему тысячу долларов – тогда он втаскивал тебя наверх. Время от времени мы подходили к ограде или воротам, высматривали тех, кто на нас набрал, и указывали на них. Если им удавалось пробиться поближе, охранники выдергивали их из гущи народа или немножко приоткрывали калитку, чтобы туда пролез только нужный человек. Но иногда мы замечали своих знакомых в глубине толпы или на дальнем краю, и махали им, подзывая к себе, но они не могли протолкаться. Вьетнамцы из передних рядов не пропускали вьетнамцев сзади. Так что мы смотрели на них и махали, и они смотрели на нас и махали, но потом через какое-то время мы просто отворачивались и уходили. Слава богу, что их криков не было слышно во всем этом гаме. Я возвращался в дом, чтобы выпить, но легче не становилось. А послушали бы вы радио! Помогите, я переводчик, по этому адресу семьдесят переводчиков, заберите нас отсюда. Помогите, здесь на территории пятьсот человек, заберите нас отсюда. Помогите, тут в отделе снабжения двести, заберите нас отсюда. Помогите, в гостинице ЦРУ сотня, заберите нас отсюда. Угадайте, сколько из них мы забрали? Никого. Мы сами велели им прийти в эти места и ждать. У нас были там свои уполномоченные, и мы позвонили им и сказали, никого сюда не приводить. Выбирайтесь оттуда сами и приходите в посольство. А эту публику бросьте. И ведь за городом тоже были люди. Нам звонили агенты едва ли не со всей страны. Помогите, я в Кантхо, вьетконговцы уже на подходе. Помогите, я в лесу Юминь, что мне делать, как же моя семья. Помогите мне, вызволите меня отсюда. У них не было ни единого шанса. Даже у некоторых из посольства и то не было шанса. Мы эвакуировали тысячи, но когда снялся последний вертолет, во дворе еще ждали четыреста человек – мы их всех аккуратно построили и велели ждать вертолетов, которые вот-вот прилетят. Никто

из них так и не выбрался.

Господи боже, мне надо еще выпить, даже говорить об этом нет сил. Спасибо, генерал. Он потерял глаза. Одно могу сказать – это было личное. Когда я оставил вас в аэропорту, то вернулся на свою виллу, чтобы хоть чуточку поспать. Я загодя сказал Май: встретимся на рассвете. Она должна была забрать семью. Шесть часов – ее нет, потом четверть седьмого, половина седьмого, семь. Шеф звонит мне и спрашивает, где я, черт возьми. Я отключаюсь. Четверть восьмого, половина, восемь. Опять звонит шеф и говорит, срочно давай в посольство, все уже на борту. Да пошел он, вонючка венгерская. Хватаю оружие и еду в город искать Май. Про дневной комендантский час все уже забыли, носятся по улицам, ищут способ удраить. В пригородах, правда, спокойней. Нормальная жизнь. Увидел соседей Май с флагом комми. На прошлой неделе те же самые люди размахивали вашим флагом. Я спросил их, где она. Они говорят: откуда нам знать, где эта американская шлюха. Я хотел пристрелить их на месте, но все на улице обернулись и смотрят на меня. Не мог же я ждать, пока местный Вьетконг меня прижучит. Поехал обратно на виллу. Уже десять. Ее нет. Я не мог больше ждать. Сел в машину и заплакал. Я не плакал из-за девушки тридцать лет, и вот пожалуйста. Потом поехал в посольство и вижу – внутрь не попасть. Как я уже говорил, народу тысячи. Я оставил ключи в зажигании по вашему примеру, генерал, и надеюсь, какой-нибудь засранец-коммунист сейчас катается на моем “шевроле”. Потом стал продираться сквозь толпу. Вьетнамцы, которые не пускали вперед своих же вьетнамцев, мне уступали. Конечно, я кричал, толкался и пихался, и многие из них толкались и пихались в ответ, но я все-таки продвигался вперед, хотя, чем ближе я подходил, тем труднее мне становилось. Я уже перекинулся взглядом с морпехами на стене и знал: стоит мне подобраться туда, и меня спасут. Я вспотел как свинья, рубашку мне порвали, и вся эта масса давила на меня. Люди передо мной не видели, что я американец, и никто бы не повернулся просто потому, что я похлопал его по плечу, так что я дергал их за волосы, или тянул за ухо, или хватал за шиворот и отталкивал в сторону. Я еще никогда ничего подобного не делал. Сначала мне хватало гордости не визжать, но очень скоро я тоже начал срываться на визг. Пустите меня, я американец, мать вашу. Наконец я добрался до стены, и когда морпехи нагнулись, схватили меня за руку и вытащили вверх, я чуть было не заревел снова. Клод допил свое виски и грохнул стаканом по столу. Мне в жизни не было так стыдно, но я в жизни так не радовался тому, что я американец, черт побери.

Мы посидели в молчании, и генерал разлил нам еще по двойной порции.

За вас, Клод, сказал я, поднимая стакан. Поздравляю.

С чем? – спросил он, поднимая свой.

Теперь вы знаете, каково это – быть одним из нас.

Он обронил короткий горький смешок.

Я подумал в точности то же самое.

Сигналом к последней фазе эвакуации выбрали песенку “Белое рождество”, которую должна была транслировать радиостанция ВС США, но даже тут план провалился. Во-первых, поскольку это была совершенно секретная информация, предназначенная только для американцев и их союзников, весь город тоже знал, какой песни ждать. И что, по-вашему, происходит? – сказал Клод. Диджей не может найти эту песню. Бинга Кросби. Обшарил всю свою кабинку в поисках этой записи, а ее нет как нет. И что? – спросил генерал. Он находит версию в исполнении Теннесси Эрни Форда и включает ее. Это еще кто? – спросил я. Мне почему знать? По крайней мере, слова и музыка те же. Так что, говорю я, обстановка в норме. Клод кивнул. Полный бардак. Будем надеяться, что этот конфуз канет в забвение.

С этой молитвой ложились спать многие генералы и политики, но некоторые



конфузы были простительнее других. Взять хотя бы название операции “Порывистый ветер” – конфуз, ставший предвестием конфуза. Я целый год размышлял над ним, гадая, могу ли подать на правительство Соединенных Штатов в суд за преступную небрежность или, на худой конец, за губительное отсутствие литературного воображения. Какой военный гений выдал этот “порывистый ветер” из своих плотно сжатых ягодиц? Неужто никому не пришло в голову, что “порывистый ветер” может вызвать ассоциацию с “божественным ветром”, вдохновлявшим камикадзе, а более вероятно – особенно если речь идет о лишенной исторической памяти молодежи, – с феноменом метеоризма, в просторечии именуемого испусканием ветров? Или я просто недооцениваю этого военного гения и на самом деле он был мастером по части скрытой иронии – возможно, он-то и предложил “Белое рождество” в качестве условного сигнала, чтобы в очередной раз поиздеваться над вьетнамцами, которые и этот праздник не отмечали, и снега никогда не видели. Мог ли этот неведомый насмешник предугадать, что вонь, взбаламученная лопастями всех американских вертолетов, окажется эквивалентной могучему пердежу в лицо всем брошенным вьетнамцам? Выбирая между тупостью и иронией, я остановился на последней – она подразумевала у американцев хоть какие-то крохи достоинства. Только это и можно было извлечь из трагедии, которая нас постигла или которую мы сами на себя навлекли, в зависимости от точки зрения. Беда в том, что трагедия, в отличие от комедии, не заканчивается чистеньким аккуратным финалом. Она до сих пор держала в плену всех нас, и особенно генерала, этого новоиспеченного бизнесмена.

Я рад, что вы здесь, Клод. Вы не могли выбрать более удачный момент.

Клод пожал плечами. Я всегда появлялся вовремя, генерал.

У нас проблема, как вы и предупреждали меня перед нашим отбытием.

Какая проблема? В ту пору, мне помнится, у вас была не одна.

Среди нас есть осведомитель. Шпион.

Оба посмотрели на меня, словно ища подтверждения. Я сохранял бесстрастную мину, хотя желудок мой начал вращаться против часовой стрелки. Когда генерал произнес имя, это оказалось имя упитанного майора. Мой желудок сменил направление вращения. Я не знаю этого малого, сказал Клод.

Его и не за что знать. Как офицер он ничем не отличился. Это наш юный друг внес его в список эвакуируемых.

Если помните, сэр, то как раз майора...

Неважно. Важно, что я устал и зря поручил вам эту работу. Я вас не виню. Ошибка была моя. Но теперь настало время ее исправить.

Почему вы решили, что это он?

Первое: он китаец. Второе: мои агенты в Сайгоне сообщают, что его семья живет хорошо, и даже очень. Третье: он жирный. А жирных я не люблю.

То, что он китаец, еще не означает, что он шпион, генерал.

Я не расист, Клод. Ко всем своим подчиненным я отношусь одинаково, независимо от их происхождения, – вот как к нашему юному другу. Но этот майор... то, что его семья в Сайгоне живет хорошо, весьма подозрительно. Почему они живут хорошо? Кто им помогает? Коммунисты знают всех наших офицеров и их родных. Больше ни одна офицерская семья там хорошо не живет. Так почему его?

Косвенная улика, генерал.

Раньше это вас никогда не останавливало, Клод.

Здесь все иначе. Здесь надо играть по новым правилам.

Но я ведь могу слегка отойти от правил, верно?

Вы можете даже прямо нарушить их, если знаете как.

Я подытожил полученную информацию. Во-первых, чисто случайно и к своей собственной досаде, я одержал блестящий успех, взвалив вину на невиновного. Во-вторых, у генерала есть в Сайгоне свои люди, а это говорит о наличии какого-то сопротивления. В-третьих, генерал поддерживает контакт со своими агентами, хотя прямые каналы связи вроде бы отсутствуют. В-четвертых, генерал наконец вновь стал самим собой – вечным комбинатором, всегда имеющим как минимум по одному замыслу в каждом кармане и дополнительный в носке. Поведя вокруг руками, он сказал: по-вашему, я похож на мелкого предпринимателя, джентльмены? По-вашему, мне нравится продавать выпивку пьянчугам, неграм, мексиканцам, бомжам и наркоманам? Послушайте-ка, что я вам скажу. Я всего лишь коротаю время. Наша война не кончена. Эти сволочи-коммунисты... ладно, не буду лицемерить, нам от них прилично досталось. Но я знаю свой народ. Я знаю своих солдат, своих подчиненных. Они не сдались. Они полны готовности биться и умереть, дайте только шанс. Это все что нам нужно, Клод. Один шанс.

Браво, генерал, сказал Клод. Я знал, что вы не позволите себе долго сидеть сложа руки.

Я с вами, сэр, сказал я. До конца.

Хорошо. Потому что майора выбрали вы. Согласны, что вам следует исправить свою ошибку? Я полагаю, что так. Но вам не придется делать это одному. Я уже обсудил проблему майора с Боном. Вы устраните эту проблему вместе. Решение найдете сами – тут я полагаюсь на ваш профессионализм и ваше безграничное воображение. Прежде вы никогда меня не разочаровывали, если не считать этой промашки с майором. Теперь можете реабилитироваться. Все ясно? Хорошо. Тогда вы свободны. А мы с Клодом еще обсудим кое-какие дела.

Зал магазина был пуст, если не считать Бона, загипнотизированного светящимся экранчиком крошечного черно-белого телевизора рядом с кассой: передавали бейсбольный матч. Я обналичил взятый с собой чек, возврат от Федеральной налоговой службы. Сумма была небольшая, но символически значимая, ибо крохоборское правительство моей родины никогда не возвращало своим обмшленным гражданам и малой толики того, что ему однажды удалось у них отнять. Сама эта идея выглядела абсурдной. Наше общество представляло собой клептократию высшего порядка: правительство изо всех сил старалось обокрасть американцев, рядовые жители изо всех сил старались обокрасть правительство, а худшие из нас изо всех сил старались обокрасть друг дружку. Теперь, несмотря на сочувствие к изгнанным землякам, я не мог не радоваться тому, что наша страна рождается заново и вековые наслоения коррупции гибнут в революционном пожаре. Что там возврат налогов! Революция перераспределит все несправедливо добытые капиталы, следуя принципу “лучшее – бедным”. А на что бедные употребят эти дары социализма, решать им самим. Лично я приобрел на свою капиталистическую компенсацию столько бухла, чтобы мы с Боном могли пребывать в тревожной амнезии вплоть до следующей недели, – поступок, возможно, не слишком предусмотрительный, но, тем не менее, явившийся результатом моего свободного выбора, то бишь священного права каждого американца.

Майор? – сказал я, пока Бон укладывал бутылки в пакет. Ты правда думаешь, что он шпион?

Откуда мне знать? Я пешка, мое дело маленькое.

Ты делаешь, что прикажут.

Ты тоже, умник. А раз ты такой умный, ты все и спланируешь. Ты здесь лучше

ориентируешься, чем я. Но черную работу оставь мне. Теперь иди-ка посмотри сюда. За стойкой, под кассой, лежал двуствольный обрез. Нравится?

Откуда ты его взял?

Здесь легче купить пушку, чем проголосовать или получить права. Даже английский знать не надо. Забавно, что как раз майор и помог мне его достать. Он говорит по-китайски. А в Чайнатауне полно китайских банд.

С этой штукой будет много грязи.

Мы не с этой штукой пойдем, светлая голова. Он открыл коробку для сигар, тоже лежащую на полке под стойкой. Внутри обнаружился тупорылый револьвер тридцать восьмого калибра – во Вьетнаме у меня был в точности такой же. Это для тебя достаточно тонкий инструмент?

Снова я оказался жертвой обстоятельств, и снова мне предстояло вскоре увидеть другую жертву обстоятельств. Единственным, что хоть как-то скрашивало мою грусть, было выражение лица Бона. Он выглядел счастливым – впервые за целый год.

## Глава 6

Чуть позже состоялось торжественное открытие. Генерал жал гостям руки, непринужденно болтал с ними о том о сем, и улыбка не сходила с его лица. Подобно акуле, которая жива только пока плавает, политик – а именно это стало теперь генеральской профессией – должен безостановочно шевелить губами. Роль избирателей в данном случае выполняли его старые товарищи по оружию, сторонники, военные и друзья – взвод примерно из тридцати мужчин среднего и пожилого возраста, которых после лагеря беженцев на Гуаме мне редко доводилось встречать без мундиров. Появление этих людей в штатском теперь, год спустя, подтверждало их статус проигравших войну и убедительно демонстрировало их виновность в многочисленных мелких преступлениях по части выбора одежды. Они скрипели по залу в грошовых туфлях с распродаж и мятых бюджетных брюках или в аляповатых костюмах из тех, что оптовики имеют обыкновение впаривать, то бишь продавать парами по цене одного. Галстуки, носовые платки и носки при этом добавляют даром, хотя больше пользы принес бы одеколон, пусть даже самой пошлой разновидности – все равно, лишь бы не было так заметно, что злорадный скунс истории оставил на них свою въедливую отметину. Большинство гостей превосходили меня по рангу, но благодаря обноскам с плеча профессора Хаммера я был одет лучше их. Его синий пиджак с золотыми пуговицами и серые фланелевые слаксы сидели на мне идеально – для этого их пришлось подкроить совсем немного.

Таким щеголем я и пробирался среди этой публики, хорошо знакомой мне в связи с моей деятельностью на посту генеральского адъютанта. Многие из них раньше командовали артиллерийскими батареями и пехотными батальонами, но теперь не имели в распоряжении ничего опаснее гордости, галитоза и ключей от машины, при наличии последней. Все сплетни об этих поверженных вояках я отсылал в Париж и знал, чем они зарабатывают (или, во многих случаях, *не* зарабатывают) себе на хлеб. Самым удачливым оказался генерал, снискавший себе дурную славу тем, что когда-то отправлял свои лучшие войска на сбор корицы; нынче этот коричный барон заправлял пиццерией. Один полковник, страдающий астмой снабженец, который с особой горячностью отстаивал преимущества дегидрированных продуктов, работал сторожем. Бравый майор, прежде заведовавший вертолетами-транспортниками, стал механиком. Седой капитан с особым талантом отслеживать партизан – поваром фастфуда. Бесстрастный лейтенант, чья рота попала в засаду и уцелел только он один, – курьером. И так далее, причем значительный их процент аккумулировал пыль наряду с велфэром, потихоньку плесневея и усыхая в затхлом воздухе субсидируемых квартир, как и положено жертвам метастазирующего рака под названием ассимиляция и злокачественной ипохондрии изгнанников. При таком психосоматическом состоянии обычные социальные и семейные невзгоды приобретали фатальный характер, а уязвимые жены и дети этих бывших героев выступали носителями западной заразы. Дети, получив нагоняй, огрызались не на родном, а на чужом языке, который усваивали быстрее отцов. Что же касается жен, то многие из них были вынуждены подыскать себе работу и таким образом выйти из привычного для их повелителей образа пленительных цветков лотоса. Как сказал упитанный майор, мужику в этой стране не нужны яйца, капитан. У всех баб есть свои.

Верно, согласился я, хотя подозревал, что мозги майора и всех остальных промыты ностальгией. Их воспоминания подверглись такой тщательной стирке, что совершенно изменили цвет, ибо во Вьетнаме, если только меня не подводила собственная память, они никогда не отзывались о своих женах с такой нежностью. А вы не думали куда-нибудь переехать, майор? Может, вам с женой удалось бы начать все сначала и вновь разжечь былые чувства. Избавиться, так сказать, от осадка прошлого.

А что я буду есть? – со всей серьезностью спросил он. Китайская еда лучше всего там, где мы живем. Я поправил ему галстук, покосившийся в пандан к покосившимся зубам. Ладно, майор. Тогда я приглашаю вас перекусить вместе. Покажете мне, где найти хорошую китайскую еду.

С удовольствием! Упитанный майор засиял улыбкой – бонвиван, обожающий вкусную еду и добрых приятелей, не имеющий в этом новом мире ни единого врага, если не считать генерала. Зачем только я назвал генералу его имя! Почему было не назвать кого-нибудь, чьи грехи перевешивали бы его плоть, вместо того чтобы назвать этого толстяка, чья плоть явно перевешивала грехи? Оставив майора, я протолкался сквозь толпу к генералу. Я созрел для политической агитации, пусть даже самого расчетливого толка. Генерал вместе с супругой нашлись в проходе между шардоне и каберне; они давали интервью репортеру, который по очереди нацеливал на них микрофон, точно счетчик Гейгера. Я поймал взгляд генеральши, мощностъ ее улыбки увеличилась на пару десятков ватт, и репортер обернулся. На шее у него висел фотоаппарат, из нагрудного кармана торчала четырехцветная шариковая ручка.

Чтобы узнать его, мне потребовалось несколько секунд. В последний раз я видел Сон До – или, как его звали на американский манер, Сонни – в шестьдесят восьмом, незадолго до того, как покинул Америку. Он тоже получил особую стипендию и учился в часе езды от моего колледжа – в округе Ориндж, где родился военный преступник Ричард Никсон, а еще Джон Уэйн. Там царил дух такого кондового патриотизма, что я искренне считал, будто химическое оружие “эйджент ориндж” разработано в тех краях или, по крайней мере, названо в их честь. Сонни изучал журналистику, что могло бы принести пользу нашей стране, если бы его убеждения не носили столь откровенно подрывного характера. Он носил на плече бейсбольную битку принципиальности и был всегда готов размогнуть ею мягкие комки несообразностей, которыми метили в него противники. В ту пору он был самоуверен, или высокомерен, в зависимости от точки зрения: сказывались гены его аристократических предков. Его отец был мандарином, как он без устали напоминал всем подряд. Дед выступал против французов так упорно и ожесточенно, что ему выписали билет в один конец на Таити; семейное предание гласило, что там, предварительно сведя дружбу с больным сифилисом Гогеном, он пал жертвой не то лихорадки денге, не то особо злостного и губительного штамма тоски по родине. От этого героического деда – наверняка совершенно невыносимого, как все люди стойких убеждений, – Сонни и унаследовал непоколебимую уверенность в своей правоте. Сонни всегда считал себя правым во всем и в этом смысле походил на самого твердолобого консерватора с той единственной разницей, что взгляды имел радикально левые. Он возглавлял антивоенную фракцию студентов-вьетнамцев – горстку энтузиастов, которые ежемесячно собирались в безликой комнате студенческого клуба или на чьей-нибудь квартире и вели горячие дискуссии, забывая о стынувшей еде. Я посещал и эти вечеринки, и альтернативные, организованные столь же компактной группой сторонников войны; если не считать политической линии, все прочее – угощение, песни, анекдоты и темы для разговоров – было абсолютно взаимозаменяемым. Независимо от своей политической ориентации, эти студенты хлебали из одной и той же полной до краев чаши одиночества и, как нынешние бывшие офицеры в генеральском магазине, сбивались вместе, чтобы почувствовать телесное тепло друзей по несчастью в атмосфере изгнания, такой студеной, что даже калифорнийское солнце не могло согреть их холодные ноги.

Я слышал, что и ты здесь, сказал Сон До, схватив меня за руку и раскатав на лице сердечную улыбку. Его глаза лучились памятной мне уверенностью, придающей обаяние его аскетическим чертам. Как я рад снова тебя видеть, дружище! Дружище? Для меня это была новость. Сон берет у нас интервью для своей газеты, вмешалась генеральша. Я главный редактор, сказал он, протягивая мне визитку. Интервью пойдет в нашем первом выпуске. Генерал, раздумавшийся от выпивки с закуской, снял с полки шардоне. Примите это в знак признательности за ваши усилия по возрождению благородного искусства журналистики в новых для нас краях, мой юный друг. Его слова не могли не напомнить мне обо всех тех журналистах, которых он одарил бесплатным проживанием и питанием в тюрьме за дурную привычку сообщать властям чуть больше правды, чем следовало. Возможно, Сонни подумал о том же, так как попытался отказаться от вина и взял его лишь после упорных настояний генерала. Я увековечил акт передачи с помощью громоздкого “никона” Сонни: он встал между генералом и генеральшей,

подперев ладонью бутылку, которую генерал держал за горлышко. Шлепните это на первой странице, посоветовал генерал вместо прощания.

Оставшись вдвоем, мы с Сонни обменялись краткими синопсисами последних лет нашей жизни. После колледжа он решил остаться в Америке, понимая, что возвращение сулит ему пригласительный билет в один из тех эксклюзивных зарешеченных отелей, которые французы с присущим им утонченным вкусом возвели на солнечных пляжах архипелага Кондао. До прибытия нас, беженцев, Сонни работал репортером в одной из газет округа Ориндж, избрав местом своего постоянного жительства городок, где я никогда не бывал, – Вестминстер, или, как произносили это название наши земляки, Вет-мин-тер. Тронутый нашим бедственным положением, он решил основать первую газету на родном языке, дабы скрепить нашу коммуну узами объединяющих новостей. Все остальное потом, сказал он, сжимая мне плечо. У меня сейчас еще одна встреча. Выпьем как-нибудь кофею, дружище? Так потеплело на душе, когда я тебя увидел! Слегка ошарашенный, я дал ему свой телефон, и он скрылся в поредевшей толпе. Я поискал упитанного майора, но и тот уже исчез. В отличие от него, почти все наши соотечественники за последнее время усохли – либо в абсолютном смысле, по вине вышеупомянутых хворей, вызванных эмиграцией, либо в относительном, по сравнению с окружающими их американцами, настолько высокими, что они не смотрели сквозь новоприбывших и не смотрели на них сверху вниз. Они просто смотрели поверх них. С Сонни же дело обстояло наоборот. Его нельзя было игнорировать, но по иным причинам, нежели прошлое. Я не помнил его таким мягким и великодушным в наши университетские дни. Тогда он стучал кулаком по столу и распинался, как распинались, должно быть, вьетнамские студенты в Париже в двадцатые и тридцатые годы – та первая поросль коммунистов, из которой вышли вожди нашей революции. Мое поведение тоже изменилось, хотя точная суть этих перемен была завуалирована капризами памяти. Исторических данных уже не существовало, ибо все свои студенческие дневники я сжег перед отъездом на родину, опасаясь везти с собой любые компрометирующие следы своих подлинных мыслей.

Через несколько дней я завтракал с упитанным майором. Это была будничная, грубо-приземленная сцена из тех, что обожал описывать Уолт Уитмен, скетч о новой Америке с реквизитом из горячей рисовой каши и поджаристых крулеров в лапшичной Монтерей-Парка, битком набитой стойко сопротивляющимися ассимиляции китайцами, среди которых затесались представители нескольких других азиатских рас. Оранжевая пластиковая столешница блестела от жира, чай из белой хризантемы в жестяном чайничке ждал, пока его разольют в шербатые чашки цвета и консистенции зубной эмали. Я ел в умеренном темпе, тогда как майор насыщался с самозабвенностью человека, влюбленного в еду, умудряясь еще и болтать с полным ртом, так что случайная рисинка или капелька слюны время от времени прилетали то мне на щеку, то на ресницы, то в мою собственную тарелку. Он жевал с таким смаком, что я не мог не любить и не жалеть это наглядное воплощение невинности.

Неужто он информатор? Трудно поверить, хотя при наличии своего рода изошренного коварства шпионы из таких людей получают идеальные. Впрочем, логичней было предположить, что генерал усугубил вьетнамскую склонность к конспирации толикой американской паранойи – возможно, не без моей помощи. Насколько я помнил, упитанный майор никогда не проявлял особых талантов по части обмана, политиканства и прочих закулисных махинаций. В Сайгоне он отвечал за коммуникации нашей секретной службы на китайском языке, а также следил за тайными маневрами в Тёлоне, где Национальный освободительный фронт создал целую подпольную сеть для политической агитации, подготовки терактов и контрабандной торговли. Что еще важнее, он поставлял мне сведения о лучшей китайской еде в Тёлоне, от величественных дворцов с пышными свадебными банкетами до дребезжащих по немощным улицам тележек и тех высококомобильных старух, что носили свою стряпню в судках на коромысле и продавали ее прямо на тротуарах. Вот и здесь, в Калифорнии, он пообещал мне лучшую рисовую кашу во всем Большом Лос-Анджелесе, так что теперь я внимал и

сочувствовал ему над шелковистой белизной этого уникального варева. Упитанный майор работал оператором бензоколонки в Монтерей-Парке и получал зарплату черным налом, чтобы не лишиться пособия. Его жена корпела над пазлами дешевого шитья в ателье-потогонке, и у нее уже начала развиваться близорукость. Господи боже, она не умолкает ни днем ни ночью, простонал он, сгорбившись над своей тарелкой с укоризненной миной некормленного пса, следя глазами за моим недоеденным крулером. Я у нее кругом виноват. Почему мы не остались дома, что нам делать здесь, где мы беднее, чем раньше, зачем было рожать детей, которых мы не можем прокормить? Забыл вам сказать, капитан, что в лагере моя жена забеременела. Двойня! Можете себе представить?

С тяжелым сердцем, но веселым голосом я поздравил его. Он с благодарностью принял мой нетронутый крулер. По крайней мере, они американские граждане, сказал он, поглощая этот аппетитный бонус. Шпинат и Брокколи. Это их американские имена. Честно говоря, мы и не думали давать им американские имена, пока акушерка не спросила. Я запаниковал. Конечно, им нужны американские имена! Первое, что приходит на ум, – Шпинат. Помните эти забавные мультики, где моряк Попай ест шпинат и сразу превращается в суперсилача? С парнем по имени Шпинат никто не захочет связываться. Ну, а отсюда один шаг до Брокколи. По телевизору говорили, обязательно ешьте брокколи, и я это запомнил. Здоровая пища, не то что моя. Сильные и здоровые – вот какие будут мои двойняшки. Иначе им нельзя. Эта страна не для слабых и толстых. Мне надо сесть на диету. Нет, правда! Вы слишком добры. Я прекрасно знаю, что я толстый. И плюс в этом, кроме того, что ты много ешь, единственный: толстяков все любят. Так? Так! Людям нравится смеяться над толстяками и жалеть их. Когда я пришел на заправочную станцию просить работу, я вспотел, хотя дороги туда было всего два квартала. Люди видят толстяка в поту, и им его жаль, хотя они и презирают его немножко. Потом я улынулся, потряс брюхом и посмеялся, рассказывая, как мне нужна работа, и хозяин нанял меня в тот же момент. Чтобы меня нанять, ему не хватало одного – причины. Насмеша человека и вызови у него жалость к себе, и дело в шляпе. Видите? Вот вы сейчас улыбаетесь, и вам меня жалко. Не надо так уж меня жалеть, у меня хорошая смена, с десяти утра до восьми вечера, семь дней в неделю, туда и обратно хожу пешком. И ничего не делаю, только кнопки на кассе нажимаю. Шикарно! Заезжайте, я вам налью галлончик-другой бесплатно. Нет, я настаиваю! В конце концов, это же вы помогли мне отсюда выбраться. А я вас так толком и не отблагодарил. И потом, жизнь здесь не сахар. Мы, вьетнамцы, должны держаться вместе.

Ах, бедный упитанный майор! Тем вечером дома я смотрел, как Бон чистит и смазывает револьвер на журнальном столике, а потом заряжает его шестью медными пулями и кладет на маленькую подушку, доставшуюся нам вместе с диваном, – на ее заляпанном, кричащем алом велюре он выглядел как дар низложенному монарху. Застрелю его через подушку, сказал Бон, с треском вскрывая пиво. Чтоб шуму было поменьше. Отлично, сказал я. По телевизору Ричард Хедд давал интервью о положении в Камбодже; его английский акцент резко контрастировал с бостонским выговором репортера. Посмотрев на них с минуту, я спросил: а что, если он не шпион? Прикончим невинного. Тогда это будет просто убийство. Бон отхлебнул пива. Во-первых, сказал он, генерал знает то, чего не знаем мы. Во-вторых, мы не убиваем, а ликвидируем. Уж кто-кто, а ты должен это понимать. Ваши люди все время занимались ликвидацией. В-третьих, война есть война. На ней гибнут и невинные. Это убийство, только если ты знаешь, что они невинны. И даже тогда это не преступление, а трагедия.

Ты обрадовался, когда генерал выбрал тебя, правда?

А что, это плохо? Он поставил банку и взял револьвер. Есть люди, рожденные для того, чтобы владеть кистью или пером; он был рожден для того, чтобы владеть пистолетом. В его руке он выглядел естественно, как оружие, которым можно гордиться, вроде гаечного ключа. Мужчине нужна цель, сказал он, задумчиво глядя на револьвер. Пока я не встретил Линь, у меня была цель. Я хотел отомстить за отца. Потом я влюбился, и Линь стала важнее, чем отец и месть. Я не плакал с

тех пор, как он умер, но после свадьбы плакал на его могиле, потому что я предал его там, где это значит больше всего, – в своем сердце. Это мучило меня, пока не родился Дык. Сначала он был для меня просто странным маленьким уродцем. Я гадал, что со мной не так, почему я не люблю собственного сына. Но он потихоньку рос, и как-то вечером я вдруг заметил, как идеально сделаны его ручки и ножки, и пальчики там и там – точная копия моих. Первый раз в жизни я убедился, что чудеса все-таки бывают. С этим чувством, с этим огромным удивлением нельзя было сравнить даже влюбленность, и я понял, что так мой отец, наверно, смотрел на меня. Он создал меня, а я создал Дыка. Это была природа, вселенная, Бог, действующие через нас. И вот тогда-то я полюбил своего сына – когда понял, как неважен я сам, и как чудесен он, и как однажды он почувствует в точности то же самое. А еще я тогда понял, что не предавал своего отца. И я снова заплакал, держа на руках сына, потому что в тот день я наконец стал мужчиной. Зачем я тебе все это говорю? Затем, чтобы ты знал: раньше в моей жизни был смысл. В ней была цель. Теперь ее нет. Я был сын, и муж, и отец, и солдат, а теперь все это исчезло. Я не мужчина, а если мужчина не мужчина, он никто. Единственный способ стать кем-то – это что-нибудь сделать. Так что у меня выбор: убить себя или убить кого-нибудь другого. Усек?

Я не просто усек – я был изумлен. Это была самая длинная речь, какую я от него слышал; его скорбь, гнев и отчаяние вырвались из души, расслабив по дороге голосовые связки. Он даже стал менее безобразным, чем был объективно, почти привлекательным: сильный прилив эмоций смягчил его резкие черты. Я еще никогда не встречал человека, которого бы так глубоко трогала не только любовь, но и перспектива кого-то убить. Тогда как он был экспертом по необходимости, я был новичком по своей воле, хотя имел шансы набраться опыта. У нас на родине убить человека – и не обязательно мужчину, но и женщину или ребенка – не сложнее, чем перевернуть страницу утренней газеты. Для этого нужны всего лишь повод и оружие, и слишком многие с обеих сторон располагают как тем, так и другим. Но мне не хватало другого: желания и тех разнообразных оправданий, которые человек напяливает на себя в качестве камуфляжа, необходимости защитить Бога, родину, честь, идеологию или своих товарищей, даже если в конечном счете все, что он защищает на самом деле, – это самая нежная его часть, тот спрятанный морщинистый мешочек, коим наделен каждый мужчина. Все эти ходовые извинения устраивают многих, но не меня.

Мне хотелось разубедить генерала в том, что упитанный майор – шпион, но как было избавить его от мнения, которым я же его и заразил? Мало того: я должен был доказать генералу, что могу исправить якобы совершенную мною ошибку и способен на решительные поступки. Уклониться от этого было нельзя, как ясно показало мне генеральское поведение во время нашей следующей встречи несколько дней спустя. Он этого заслуживает, сказал генерал, болезненно завороченный несмываемым клеймом вины на лбу майора, этим крошечным знаком обреченности, которым я отметил беднягу собственноручно. Но торопиться не надо. Я никуда не спешу. Все операции следует готовить вдумчиво и скрупулезно. Все это было сказано в подсобке, где с недавних пор царил бесстрастная атмосфера военного штаба: на стенах появились карты с изображениями нашей фигуристой родины как во всем ее женственном великолепии, так и частями, каждая под пластиковым покрытием и с болтающимся рядом на веревочке красным маркером. Лучше выполнить все медленно и хорошо, чем быстро и плохо, добавил он. Так точно, сэр, сказал я. По-моему, здесь требуется...

Не утомляйте меня деталями. Просто дайте знать, когда все будет сделано.

Итак, кончина майора была предрешена. Теперь мне оставалось лишь одно: сочинить максимально правдоподобную историю, согласно которой в его смерти не будем повинны ни я, ни генерал. Самый очевидный вариант решения этой нехитрой задачи нашелся почти сразу: обычная американская трагедия, только на сей раз такая, где роль главного действующего лица отведена злополучному беженцу.



В тот же субботний вечер я отправился ужинать к профессору Хаммеру; поводом для приглашения послужило скорое отбытие Клода в Вашингтон. Еще одним (и последним) гостем был бойфренд профессора по имени Стэн – аспирант Калифорнийского университета, пишущий диссертацию об американских экспатриантах-литераторах в Париже. Этому белозубому блондину примерно моих лет было самое место в рекламе зубной пасты, где он мог бы с успехом изображать молодого отца очаровательных зубастеньких херувимчиков. О гомосексуальности профессора Клод сообщил мне перед моим поступлением в колледж в шестьдесят третьем году – желая, как он тогда объяснил, избавить меня от неожиданного потрясения. Не имея ни одного знакомого гомосексуалиста, я очень хотел посмотреть на представителя этой породы в его естественной среде обитания, то бишь на Западе, ибо на Востоке, по всей видимости, таковые отсутствуют. К моему разочарованию, профессор Хаммер оказался практически неотличим от всех остальных, если не считать его острого ума и безупречного вкуса во всем, включая Стэна и искусство кулинарии.

Ужин из трех блюд профессор приготовил собственноручно: салат из зелени разных сортов, утиное конфи с картофелем, приправленным розмарином, и яблочный пирог из слоеного теста, причем все это предварялось martinis, сопровождалось пино-нуар и завершилось односолодовым шотландским виски. Трапезу сервировали в педантично оформленной столовой профессорского бунгало в Пасадине: все, от двустворчатых окон до люстры ар-деко и латунной фурнитуры встроенной мебели, было либо оригинальными изделиями начала XX века, либо их добросовестной имитацией. Время от времени профессор поднимался из-за стола и менял пластинку на проигрывателе, выбирая новую из своей обширной джазовой коллекции. За ужином мы беседовали о бибопе, романе XIX века, клубе “Доджерс” и грядущей двухсотлетней годовщине Америки. Затем, взяв скотч, перебрались в гостиную с массивным камином из речного камня и солидным гарнитуром в том же миссионерском стиле – угловатые деревянные каркасы и кожаные подушки. Стены украшали книги самого разного цвета, высоты и толщины – они шествовали друг за дружкой демократическим парадом индивидуализма в столь же произвольном порядке, в каком стояли книги в университетском кабинете профессора. Здесь, в приятном окружении букв, слов, фраз, абзацев, глав и томов, мы и скоротали остаток вечера, отмеченный, в частности, памятным разговором, произошедшим сразу после того, как все расселись по своим местам. Возможно, литература вокруг нас стимулировала у профессора приступ ностальгии, потому что он сказал: а я все еще помню вашу курсовую о “Тихом американце”. Это была одна из лучших студенческих работ, которые я читал. Я скромно улыбнулся и сказал спасибо, тогда как Клод, сидевший на диване рядом со мной, презрительно фыркнул. На мой вкус, так себе книга. Эта его вьетнамка только и делает что готовит опиум и читает книжки с картинками, да еще изредка чирикает, как птичка. Вы когда-нибудь видели такую вьетнамку? Если да, познакомьте. У тех, кого я знаю, рот не закрывается, что в постели, что вне.

Бросьте, Клод, сказал профессор.

Хоть бросьте, хоть подымите. Без обид, Эйвери, но наш американский друг в этой книге тоже подозрительно напоминает латентного гомосексуалиста.

Рыбак рыбака, сказал Стэн.

Кто это все сочинил? Ноэл Кауард? У него фамилия Пайл – это ж надо! Сколько шуток можно придумать на такую фамилию? Вдобавок, это прокоммунистическая книга. Или, по меньшей мере, антиамериканская. Один черт, если разобраться. Клод повел рукой, имея в виду то ли книги, то ли мебель, то ли гостиную, то ли вообще весь этот ухоженный дом. Трудно поверить, что он когда-то был коммунистом, а?

Стэн? – спросил я.

Да не Стэн. Ты что, тоже, Стэн? Я думал, нет.

Оставался только профессор, который в ответ на мой взгляд пожал плечами. Ну да, в вашем возрасте, сказал он, обнимая Стэна за плечи. Я был горяч, впечатлителен, хотел изменить мир. Коммунизм соблазнил меня, как и многих других.

А теперь он соблазняет сам, сказал Стэн, пожимая профессорскую руку, отчего меня чуточку передернуло. Для меня профессор оставался ходячим интеллектом, и видеть в нем тело или обладателя такового было все еще непривычно.

Вы когда-нибудь жалеете, что были коммунистом, профессор?

Нет, не жалею. Не сделав этой ошибки, я не стал бы тем, кто я теперь.

И кто же, сэр?

Он улыбнулся. Пожалуй, вы могли бы назвать меня американцем, пережившим второе рождение. Парадокс, но если кровавая история последних десятилетий и научила меня чему-нибудь, то лишь одному: что для защиты свободы требуются мускулы, которые есть только у Америки. Даже наша университетская деятельность имеет цель. Мы учим вас лучшему из всего сказанного и передуманного не только ради того, чтобы вы объяснили миру, что такое Америка – а я всегда побуждал вас к этому, – но и затем, чтобы вы ее защищали.

Я пригубил виски. Оно было мягким, с дымком, с ароматом торфа и старого дуба, тонким привкусом лакрицы и неуловимой шотландской маскулинности. Я предпочитаю виски в неразбавленном виде, как и правду. К сожалению, неразбавленная правда не доступнее односолодового шотландского виски восемнадцатилетней выдержки. А как насчет тех, кого не научили лучшему из сказанного и передуманного? – спросил я у профессора. Что если мы не сможем их научить или они не захотят учиться?

Профессор устремил задумчивый взгляд в медную глубь своего напитка. Думаю, с учетом характера вашей работы вы с Клодом встречали таких предостаточно. Тут нет легкого ответа, разве что сказать: так было всегда. С тех самых пор, как первый пещерный житель открыл огонь и стал считать тех, кто по-прежнему прозябал во тьме, невежественными и некультурными, цивилизация боролась с варварством... и у каждой эпохи варвары свои.

Цивилизация против варварства – куда уж понятней, но как тогда следовало определить убийство упитанного майора? Простой это варварский поступок или сложный, приближающий постреволюционную цивилизацию? Наверно, второе – противоречивый акт в духе нашего времени. Мы, марксисты, считаем, что капитализм порождает противоречия и погибнет от них, но лишь в том случае, если люди не будут сидеть сложа руки. Однако противоречия свойственны не только капитализму. Как сказал Гегель, трагедия – это не конфликт между правым и неправым, а конфликт правого с правым, дилемма, которой не может избежать никто из нас, желающих творить историю. Майор имел право жить, но и я имел право его убить. Разве не так? Ближе к полуночи, когда мы с Клодом отправились восвояси, я попытался с его помощью облегчить себе совесть – конечно, лишь в той степени, в какой мог себе это позволить. Когда мы курили на тротуаре напоследок, я задал ему вопрос, который в моем воображении задавала мне мать: что если он невиновен?

Он выпустил колечко, просто чтобы показать свое умение. Совсем невиновных не бывает. Особенно в этих делах. Ты не думал, что у него на руках тоже есть чья-то кровь? Он определял сочувствующих Вьетконгу. Вполне мог зацепить не того. Такое случалось. А если он сам сочувствующий, тогда точно называл не тех. Намеренно.

Я ничего этого не знаю наверняка.

Вина и невиновность. Это космические категории. На каком-то уровне мы все виновны. А на каком-то нет. Разве не об этом вся история с первородным грехом?

Согласен, сказал я. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Слушать о чужих моральных метаниях так же утомительно, как о домашних ссорах: они не волнуют никого, кроме прямых участников. В данном случае дело явно касалось меня одного, если не считать упитанного майора, чье мнение никого не интересовало. Клод предложил мне отпущение или, по крайней мере, оправдание, но у меня не хватило духу сказать ему, что я не могу им воспользоваться. Сын отца, вспоминавшего о первородном грехе на каждой мессе, я давно утратил способность относиться к этой древней шалости всерьез.

Назавтра я приступил к рекогносцировке. В то воскресенье и в пять следующих, с мая до конца июня, я ставил машину за полквартала от бензозаправки и ждал восьми часов вечера, когда упитанный майор заканчивал работу и отправлялся домой, неся в руке коробку для ланча. Увидев, что он поворачивает за угол, я заводил мотор, подъезжал к углу и наблюдал, как он медленно шагает по тротуару, а затем трогался следом. Он жил в трех кварталах от станции – здоровый худой человек легко одолел бы это расстояние за пять минут. Упитанному майору требовалось одиннадцать, и я все время держался по меньшей мере за квартал от него. Его маршрут пролегал по району, чьи обитатели, казалось, находятся на грани вымирания от скуки, и все шесть воскресений он перемещался по нему с регулярностью перелетной утки. Жил он в крошечном домике на четыре квартиры, при котором был гараж из такого же количества отсеков – один пустовал, а три других занимали машины с обвисшими, помятыми задами пожилых водителей автобуса. Второй этаж выдавался над первым; два ряда его окон выходили на улицу, а машины стояли в его тени. В восемь одиннадцать вечера, плюс-минус несколько минут, угрюмые зенки этих спальных окон были открыты, но зашторены, причем светилось только одно. В первые два воскресенья я останавливался на углу и смотрел, как упитанный майор сворачивает в гараж и исчезает. На третье и четвертое я не сопровождал его от станции, а поджидал за полквартала от дома, с другой стороны. Оттуда, глядя в зеркальце, я видел, как он ныряет в сумерки гаража – там, по краю, бежала дорожка, ведущая к квартирам первого этажа. В эти первые четыре воскресенья я уезжал домой сразу после его исчезновения, но в пятое и шестое оставался на месте. Машина, для которой предназначался пустующий отсек, такая же старая и побитая, как и прочие, возвращалась не раньше десяти; за рулем сидел усталого вида китаец в заляпанном поварском комбинезоне, с бумажным пакетом в жирных пятнах.

В субботу накануне ответственного дня мы с Боном поехали в Чайнатаун. В переулке у Бродвея, где продавали со складных столов всякое барахло, мы купили университетские футболки и бейсболки – судя по цене, контрафактный товар. Затем, перекусив свиным шашлыком с лапшой, посетили сувенирную лавку, битком набитую разнообразными восточными безделушками, рассчитанными в первую очередь на западную клиентуру. Здесь были китайские шахматы, деревянные палочки для еды, бумажные фонарики, гипсовые будды, миниатюрные фонтанчики, слоновьи бивни с кропотливо вырезанными на них пасторальными сценками, репродукции ваз эпохи Мин, подносы с изображениями Запретного города, резиновые нунчаки в комплекте с постерами Брюса Ли, свитки с акварельными пейзажами вроде подернутых облаками горных лесов, жестянки с чаем и женьшенем и то, ради чего мы сюда пришли, – красные хлопушки. Я купил две упаковки, а по пути домой, на местном рынке, прихватил еще сетку апельсина с непристойно выпяченными пупками.

Когда стемнело, мы с Боном вооружились отвертками и совершили еще одну вылазку. Мы бродили по округе, пока не нашли домик с таким же гаражом, как у майора. Убедившись, что из соседских окон машин не видно, мы свинтили с одной из них номерные знаки – Бон спереди, а я сзади, – что заняло у нас не больше тридцати секунд, а затем вернулись домой и смотрели телевизор, пока не пришла пора ложиться спать. Бон отключился сразу же, но я заснуть не мог. Наш поход в Чайнатаун напомнил мне одно происшествие, случившееся со мной и упитанным майором в Тёлоне несколько лет назад. Поводом послужил арест предполагаемого вьетконговца, поднявшегося с верха нашего серого списка в низ черного. Этого малого называли вьетконговцем столько людей, что его пора нейтрализовать, сказал

майор, предъявив мне пухлое досье, результат своих трудов. Официальная профессия – торговец рисовым вином. Подпольная – содержатель казино. Хобби – сбор взносов в пользу Вьетконга. Мы оцепили нужный район, выставив блокпосты на улицах и пешие дозоры в переулках. Пока вспомогательные бригады искали уклонистов от призыва, проверяя документы у всех подряд, люди майора вошли в магазин, где продавалось рисовое вино, проникли в кладовую, отпихнув по дороге хозяйскую жену, и нашли рычаг, открывающий дверь в потайную комнату. Там шла игра в кости и в карты; официантки в бесстыдных нарядах разносили бесплатное вино и горячий суп. Когда полицейские ворвались в зал, посетители и обслуга кинулись к задней двери, но за ней их уже поджидали другие крепкие ребята. Засим последовала обычная буффонада с визгом, воплями, дубинками и наручниками, после чего на подмостках остались только упитанный майор, я и наш подозреваемый, которого я никак не ожидал здесь увидеть. Я предупредил Мана о готовящейся облаве и был уверен, что хозяина мы не застанем.

Вьетконг? – воскликнул он, всплескивая руками. Да что вы! Я предприниматель!

И неплохой, сказал майор, поднимая объемистый мусорный пакет с выручкой казино.

Тут вы меня поймали, уныло сказал хозяин. У него был впалый подбородок, а на щеке родинка размером с фасолину, из которой росли три длинных волоска – хоть сейчас отрывай и загадывай желание. Ладно, забирайте деньги, они ваши. Пусть это будет моя скромная помощь нашей полиции.

Вы нас оскорбляете, сказал майор, ткнув его дубинкой в живот. Они пойдут не нам, а правительству в погашение ваших штрафов и налоговых недоимок. Верно, капитан?

Верно, кивнул я, подыгрывая ему, как требовала моя роль в этой театральной постановке.

Но вот насчет будущих налогов – это другой разговор. Верно, капитан?

Верно. Я ничем не мог помочь этому человеку. Неделя, проведенная на допросах в нашем центре, оставила на нем следы всех цветов, от иссиня-черного до изжелта-красного. По прошествии этого времени наши специалисты вынесли заключение, что он не является агентом Вьетконга. Неопровержимым доказательством послужила кругленькая сумма, которую упитанный майор получил от жены арестованного. Видимо, я ошибся, весело сказал он, вручая мне конверт с моей долей. Она была примерно равна годовому жалованью – впрочем, на последнее и нельзя было прожить целый год. Отказаться значило навлечь на себя подозрение, поэтому я взял деньги. Сначала у меня возник соблазн пустить их на благотворительные цели, а именно на поддержку красивых молодых женщин в стесненных обстоятельствах, однако я хорошо помнил если не дела моего отца, то его слова вкупе с нравоучениями Хо Ши Мина. Иисус и Дядюшка Хо сходились в том, что деньги развращают; это иллюстрировали как менялы, осквернявшие храм, так и капиталисты, эксплуатирующие колонии, не говоря уж об Иуде и его тридцати сребрениках. В итоге я оплатил грех майора, отдав эти деньги Ману на очередной встрече в базилике и таким образом пожертвовав их революции. Понял теперь, против чего мы боремся? – спросил он. *Дева Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных*, бубнили старухи. Вот почему мы победим, сказал Ман. Наши враги развращены. Мы – нет. Я пишу все это, чтобы подтвердить правоту Клода: упитанный майор действительно был грешен. Возможно, он не только вымогал деньги, но и совершал более аморальные поступки, хотя и это не поднимало его по части развращенности на уровень выше среднего. Это лишь закрепляло его на среднем уровне.

На следующий день, в семь тридцать вечера, мы припарковались на улице неподалеку от бензостанции. Мы надели футболки и бейсбольные шапки с символикой Калифорнийского университета – если бы нас заметили, то, по нашим расчетам, приняли бы за студентов. Краденые номера были на моей машине,

настоящие – в бардачке. Нам пригодились бы любые отвлекающие факторы, но самыми полезными оказались те, что не зависели от нас, хотя я их и предвидел. Я опустил стекло, и до нас доносились отдаленные раскаты городского праздничного салюта, а также периодический треск мелкой пиротехники, говорящий о чувствовании независимости в индивидуальном порядке. Ближе раздавалась стрельба более скромного масштаба: где-то в окрестностях, нарушая запрет, взрывали рассыпные бомбочки, запускали в низкое небо пару шутих или поджигали ленту китайских хлопушек. Пока мы ждали майора, Бон сидел напряженно, плотно сомкнув губы и сгорбившись, не позволяя мне включить радио. Плохие воспоминания? – спросил я. Угу. После этого мы некоторое время молча наблюдали за станцией. Две машины свернули туда, заправились и поехали дальше. Как-то под Шадеком наш первый разведчик наступил на выпрыгивающую мину. Она негромко хлопает, когда выпрыгивает. Потом ба-бах. Я был за два человека от него, и ни царапины. А ему яйца оторвало. И хуже всего, что бедняга выжил.

Я что-то сочувственно пробормотал и покачал головой, но этим и ограничился: кастрация не поддается словесной оценке. На наших глазах заправились еще две машины. Я мог оказать упитанному майору только одну услугу. Не хочу, чтобы он мучился, сказал я.

Он даже ничего не заметит.

В восемь упитанный майор покинул станцию. Я подождал, пока он дойдет до угла, потом завел мотор. Мы поехали к его дому другим путем, чтобы он не увидел, как мы его обгоняем. Четвертый отсек гаража был пуст, и я поставил машину туда. Затем глянул на часы. Три минуты – до появления майора еще восемь. Бон достал из бардачка револьвер и еще раз открыл барабан, чтобы проверить патроны. Потом защелкнул его обратно и положил револьвер на красную бархатную подушку у себя на коленях. Я посмотрел на все это и сказал: а вдруг то, чем она набита, попадет в него вместе с пулей? Или кусочки ткани? Полиция заметит и начнет разбираться.

Он пожал плечами. Значит, обойдемся без подушки. Тогда будет громко.

Где-то в конце улицы снова затрещали китайские хлопушки – точно такие, какие я обожал в детстве. На Новый год мать поджигала длинную красную ленту, я затыкал уши, и мы с ней вместе визжали, глядя, как эта волшебная змея мечется туда-сюда, в пламенном экстазе пожирая себя с хвоста до головы, а может, с головы до хвоста.

Всего один выстрел, сказал я, когда треск прекратился. Никто не прибежит посмотреть, что случилось, когда вокруг столько шума.

Бон взглянул на часы. Ладно, давай так.

Он натянул латексные перчатки и скovyрнул с ног кроссовки. Я открыл дверцу, вылез, тихо закрыл ее и занял позицию по другую сторону гаража, рядом с дорожкой, бегущей от тротуара к почтовым ящикам жильцов и дальше, к двум квартирам первого этажа – вход в первую был футах в десяти от ящиков. Выглядывая из-за угла, я видел свет в гостиной этой квартиры сквозь занавески на запертом окне. С другой стороны дорожку окаймлял высокий деревянный забор, поверх которого белела стена такого же соседнего коттеджа. Одна половина окон в ней была окнами ванных, а другая – окнами спален. Из этих окон второго этажа просматривалась дорожка, ведущая к квартире, но заглянуть оттуда в гараж было нельзя.

Бон в одних носках прошел к своему месту между двумя ближайшими к дорожке машинами, сел на корточки и пригнулся ниже уровня окон. Я снова проверил время: восемь ноль семь. В руках у меня был полиэтиленовый пакет с желтым смайликом и надписью “СПАСИБО!”. В нем лежали хлопушки и апельсины. Может, не надо, сынок? – спросила мать. Поздно, мама. Деваться уже некуда.

Я успел выкурить полсигареты, прежде чем майор в последний раз появился у гаража. Привет! Его лицо расплылось в озадаченной улыбке. Коробка для ланча была, как водится, при нем. Что вы здесь делаете? Я заставил себя улыбнуться в ответ. Поднял свою ношу и сказал: я тут проезжал мимо и решил вам забросить.

Что это? Он был на полпути ко мне.

Подарок на Четвертое июля. Бон вынырнул из-за машины, мимо которой шел майор, но я по-прежнему смотрел на него. В трех футах от меня он спросил: а разве на Четвертое июля дарят подарки?

На его лице все еще было написано недоумение. Я протянул ему пакет обеими руками, и он наклонился, чтобы заглянуть внутрь. Бон подошел к нему, бесшумно ступая, с револьвером в руке. Зря вы это, сказал майор. Когда он взялся за пакет, Бону следовало бы выстрелить. Но вместо этого он сказал: привет, майор.

Майор обернулся с подарком в одной руке и коробкой в другой. Я отступил в сторону, услышал, как он начал что-то говорить, увидев Бона, и тут Бон спустил курок. Выстрел отдался в гараже таким оглушительным эхом, что у меня заболели уши. Череп майора треснул, когда он упал затылком на тротуар, и если его не убила пуля, то добило падение. Он лежал на спине, и дыра от пули зияла у него во лбу третьим глазом, плачущим кровью. Уходим, прошипел Бон, засовывая револьвер за пояс. Опустившись на колени, он повернул майора на бок, а я наклонился и поднял пакет – теперь счастливое желтое личико на нем было усыпано кровавыми веснушками. Последнее слово майора будто застряло в его открытом рту. Бон вынул из бокового кармана майорских штанов бумажник, встал и подтолкнул меня к машине. Я посмотрел на часы: восемь тринадцать.

Я вывел машину из гаража. На меня напало онемение – оно началось с мозга и глазных яблок и распространилось до пальцев рук и ног. А я думал, он не увидит, что с ним будет, сказал я. Извини. Я просто не мог выстрелить ему в спину. Но ты не волнуйся, он ничего не почувствовал. Меня не волновало, почувствовал ли что-нибудь упитанный майор. Меня волновало, что чувствую я. Больше мы не разговаривали, а по дороге домой я заехал в безлюдный переулок, и мы поменяли номера. Дома, снимая кроссовки, я увидел на их белых носках пятнышки крови. Я отнес кроссовки на кухню и вытер мокрым бумажным полотенцем, а потом набрал на телефоне номер генерала – телефон висел рядом с холодильником, который до сих пор украшало мое раздвоенное “я”. Он ответил на втором гудке. Алло? Все сделано. Пауза. Хорошо. Повесив трубку, я вернулся в гостиную с двумя стаканами и бутылкой ржаного виски и обнаружил, что Бон уже выпотрошил бумажник майора. Куда мы это денем? – спросил он. На журнальном столике лежали карточка социального обеспечения, удостоверение личности – водительские права отсутствовали, потому что упитанный майор не имел машины, – пачка квитанций, двадцать два доллара, горстка мелочи и несколько фотографий. На одной, черно-белой, были он с женой в день свадьбы, одетые по-западному. Он уже к тому времени успел растолстеть. На другом фото, цветном, были его близняшки недель двух-трех от роду, бесполые и сморщенные. Сожжем, сказал я. Бон принес мусорное ведро с зажигалкой, и пока я наливал нам обоим выпить, начал поджигать бумаги по очереди и бросать в ведро. От бумажника вместе с номерными знаками, полиэтиленовым пакетом и пеплом мне предстояло избавиться завтра.

За упокой, сказал Бон. Когда он протянул мне стакан с моей порцией, я заметил у него на ладони красный шрам. Медицинский вкус виски был так ужасен, что мы тут же выпили по второй, чтобы смыть его, потом по третьей, и так далее, – все под специальные выпуски теленовостей, посвященные дню рождения страны. И это был не просто рядовой день рождения, а двухсотлетие великой и могучей нации, слегка очумевшей от затрещин, полученных в ходе последних заграничных вылазок, но теперь вновь крепко стоящей на ногах и готовой к достойному ответу – по крайней мере, так утверждали болтуны. Потом мы съели три апельсина и пошли спать. Я лег на свою койку, закрыл глаза, отшиб колени о передвинутую мебель своих мыслей и содрогнулся от того, что меня окружало. Я открыл глаза, но это не

помогло. С открытыми глазами или с закрытыми я видел то же самое – третий глаз во лбу упитанного майора, плачущий из-за того, что он видел во мне.

## Глава 7

Признаюсь, что смерть майора разбередила мне душу, комендант, хотя вас она не тревожит вовсе. Он был человек относительно невинный, а на большее в этом мире нет смысла надеяться. В Сайгоне я мог поверять свои сомнения Ману на наших еженедельных встречах в базилике, но здесь остался наедине с собой, своими поступками и убеждениями. Я знал, что сказал бы мне Ман, но просто хотел услышать это от него снова, как случалось раньше – например, в тот раз, когда я передал ему пленку с планами будущих операций парашютно-десантного батальона. В результате моих действий погибнут невинные люди, так ведь? Конечно, ответил Ман, стоя на коленях и прикрывая губы молитвенно сложенными руками. Только они не невинны. Так же как и мы, друг мой. Мы революционеры, а революционеры невинными не бывают. Мы слишком много знаем и слишком много сделали.

Я содрогнулся во влажном сумраке базилики под монотонный гудеж старух. *И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.* Вопреки ходовым представлениям, революционная идеология даже в тропической стране пылкостью не отличается. Она холодна, искусственна. Неудивительно, что революционеры порой нуждаются в естественном тепле – и, получив по прошествии некоторого времени после кончины упитанного майора приглашение на свадьбу, я принял его с радостью. Сопровождать меня в гости к молодым, чьи имена я узнал только из пригласительного билета, вызвалась снедаемая любопытством миз Мори. Отцом невесты был легендарный полковник-морпех, чей батальон успешно противостоял без американской поддержки целому полку Северовьетнамской армии во время битвы за Хюэ, а отцом жениха – вице-президент сайгонского филиала Банка Америки. Его семья покинула Сайгон на специальном чартерном самолете, избежав таким образом унижительного пребывания в лагере. Главной отличительной чертой вице-президента, помимо его непринужденно-аристократической повадки, были черные усики в духе Кларка Гейбла, слегка напоминающие мертвую гусеницу на верхней губе, – обычное украшение добродушных жуиров с Юга. Меня пригласили потому, что я несколько раз встречался с ним на родине в качестве генеральского адъютанта. Мой крайне низкий статус соответствовал удаленности наших мест от сцены: между нами и уборными, из которых отчетливо пахло дезинфекцией, находились только столики для детей и оркестр. Нам составляли компанию несколько бывших младших офицеров, парочка банковских клерков некогда среднего, а ныне, после переезда в Америку, низшего звена, чей-то кузен с явными признаками инцестуального вырождения и жены всех вышеперечисленных. В тяжелые времена я и вовсе не попал бы в число гостей, но теперь, когда срок нашего американского изгнания перевалил за год, кое для кого вновь наступила пора изобилия. Банкет устроили в одном из китайских ресторанов Вестминстера; здесь же, в пригородной усадьбе в стиле ранчо, обитал усатый банкир вместе со своим семейством. По сравнению с его сайгонской виллой это был шаг вниз, но почти для всех присутствующих и такое жилище оставалось недостижимой мечтой. Увидев среди публики Сонни – как ценный представитель прессы он сидел на несколько кругов ближе к средоточию власти, – я вспомнил, что Вестминстер и его город.

Несмотря на ресторанный шум и суету – официанты-китайцы в красных жилетках без устали сновали по лабиринту из праздничных столов, – в огромном зале царила атмосфера, чуть тронутая меланхолией. Бросалось в глаза отсутствие отца невесты: он защищал западные окраины Сайгона до последнего дня и попал в плен с остатками своего батальона. В начале банкета генерал произнес в его честь торжественную речь, вызвавшую слезы, возлияния и смятение чувств. Ветераны поднимали за героя бокалы, прикрывая бравурными тостами плачевную нехватку героизма у себя самих. А что делать – улыбайся и пей, если не хочешь завязнуть по шею в зыбучих песках противоречий, заметил упитанный майор, чья отрубленная голова красовалась среди прочих яств в самом центре стола. Следуя этому совету, я улыбнулся и опрокинул рюмку коньяку, а затем смешал “Реми Мартен” с содовой для миз Мори, по ходу дела комментируя экзотические традиции, манеры, прически и фасоны одежды нашего жизнерадостного народа. Я выкрикивал свои



объяснения, стараясь переорать грохот кавер-группы во главе с щеголеватым недомерком в расшитом блестками пиджачке. Он пел, расхаживая по эстраде в туфлях на золотой платформе, встряхивая гламурной рокерской шевелюрой, завитой под парик Людовика Четырнадцатого, только что без пудры, и красноречиво прижимая к губам головку микрофона. Банкиры и военные, сплошь сертифицированные гетеросексуалы, были от него в экстазе и встречали каждый игривый взмах его таза, затянутого в тесные атласные брючки, восхищенным ревом. Когда солист шутливо пригласил на танец настоящих мужчин, генерал первым откликнулся на его вызов. Он ухмылялся, вышагивая с певцом под *"Black is Black"*, гимн распутного сайгонского декаданса, под поощрительные выкрики и аплодисменты зрителей, а певец подмигивал над его плечом а-ля Мэй Уэст. Это была стихия генерала – общество людей, которые ценили его или знали, что не стоит выказывать при нем свое недовольство или несогласие. Казнь – нет, *ликвидация* – бедного упитанного майора снова вдохнула в него жизнь настолько, что на похоронах он не скупясь расточал ему дифирамбы. По его словам, майор был скромным и самоотверженным тружеником, выполнявшим свой долг перед родиной и семьей без единой жалобы – и все ради нелепой смерти от руки уличного грабителя. Я снимал похороны на свой "кодак" и позже отправил фотографии парижской тетке, а Сонни, тоже явившийся почтить память майора, делал заметки для некролога. После церемонии генерал вручил супруге покойного конверт с вспомоществованием из оперативного фонда, предоставленного Клодом, потом заглянул в коляску, где мирно спали Шпинат с Брокколи. Что до меня, то я смог выжать из себя лишь общие слова сочувствия вдове, чья вуаль скрывала водопад слез. Ну как? – спросил Бон, когда я вернулся домой. А ты как думаешь? – сказал я, направляясь к холодильнику, как обычно начиненному пивом. Если не считать совести, из всех частей моего организма больше всего злоупотреблений приходилось на долю печени.

На свадьбах вред, наносимый этому органу, часто усугублялся видом невинных радостных лиц жениха с невестой. Их брак мог привести к отчуждению, изменам, страданиям и разводу, а мог – к взаимной нежности, верности, детям и семейному счастью. Хотя у меня не было охоты жениться, свадьбы напоминали мне о том, чего я лишился не по своей воле. Поэтому я начинал каждую свадьбу, как гангстер из дешевого фильма, чередуя смешки с циничными замечаниями, а заканчивал, как разбавленный коктейль: треть пения, треть сентиментальности и треть грусти. Именно в этом состоянии я вывел миз Мори на танцплощадку после разделки свадебного торта, и именно тогда опознал одну из двух певиц, по очереди сменявших у микрофона нашего голосистого оболъстителя. Это была старшая дочь генерала, благополучно пережившая коллапс страны в Сан-Франциско. Нынешняя Лана мало чем напоминала девочку, которую я встречал на генеральской вилле в пору ее учебы в лицее и на летних каникулах. Тогда ее еще звали Лан и она носила наискромнейшую одежду – школьный белый аозай из тех, что вызывали у многих западных писателей близкие к педерастическим фантазии о скрытых под ними юных телах, ибо эти костюмы подчеркивали все их изгибы, не выставляя напоказ ни дюйма плоти, кроме участков над воротником и ниже манжет. Похоже, зарубежные авторы угадывали в этом метафорический образ всей нашей родины – блудливая и вместе с тем замкнутая, она намекала на все и не отдавала ничего, прячась за издевательской маской чинности и благопристойности, соблазняющей хуже любого откровенного бесстыдства. Едва ли хоть одного путешественника, журналиста или случайного наблюдателя нашей провинциальной жизни оставляли равнодушным девочки в этих трепещущих белых аозаях, едущие на велосипеде в школу или из школы, – бабочки, которых всякий западный гость мужского пола мечтал пришить к своему коллекционному планшету.

В действительности Лан была законченным сорванцом, и генеральша или гувернантка каждое утро запикивали ее в аозай, как в смиренную рубашку. Крайней формой ее бунтарства стала отменная учеба, принесшая ей, как и мне, американскую стипендию. Она получила приглашение от Калифорнийского университета в Беркли, который ее родители считали коммунистической колонией профессоров-радикалов и студентов-смутьянов, только и думающих о том, как бы охмурить и затащить в постель невинное дитя. Они хотели отправить дочь в

женский колледж, где ее могла совратить разве что коварная лесбиянка, но Лан уперлась и не желала учиться нигде, кроме Беркли. Когда они запретили ей ехать, она стала угрожать самоубийством. Ни отец, ни мать не воспринимали эти угрозы всерьез, пока она не проглотила горсть снотворных таблеток. К счастью, ладонь у нее была маленькая. После того как ее откачали, генерал чуть не пошел на попятный, но генеральша не дрогнула. Тогда Лан бросилась в реку Сайгон, выбрав для этого момент, когда на набережной было много прохожих – двое из них и спасли ее, плавающую на поверхности в своем белом аозае. Наконец сдалась и генеральша, и осенью семьдесят второго года Лан улетела в Беркли изучать историю искусств: родители надеялись, что этот предмет послужит развитию в ней утонченной женственности и сделает ее более пригодной для замужества.

Летом семьдесят третьего и семьдесят четвертого она появлялась дома иностранкой с прической перьями по тогдашней моде, в клешеных джинсах, блузке, обтягивающей ее скромную грудь туго, как батут, и туфельках сабо, добавляющих к ее скромному росту несколько дюймов. От гувернанток я слышал, что генеральша усаживает ее у себя в гостиной и читает ей лекции о необходимости сохранять девственность и культивировать Четыре Добродетели и Три Покорства – комбинация, похожая на название эротического романа для высоколбых. Одно только упоминание о ее старательно обороняемой или, возможно, уже потерянной девственности было щедрой порцией дров для топки моего воображения, которую я раскошегаривал в тиши своей комнаты неподалеку от ее спальни, общей с младшей сестрой. С тех пор как мы перебрались в Калифорнию, Лан навещала родителей несколько раз, но меня в эти дни туда не приглашали. Не пригласили меня и на торжественное вручение дипломов, состоявшееся пару месяцев тому назад, причем ей был вручен диплом с отличием. Лишь краем уха я уловил раз-другой, как генерал бормочет что-то насчет неблагодарной дочери, которая по окончании университета решила не возвращаться домой, а жить сама по себе. Хотя я пытался вытянуть из него сведения о том, чем Лана, как звали ее здесь, теперь занимается, он проявил весьма нетипичную для него некоммуникабельность.

Теперь я узнал чем и понял, отчего ее отец был так неразговорчив. Эта Лана на сцене не имела никакой связи с той Лан, которую я помнил. Вторая певица в составе группы выглядела ангелом-хранителем традиций – облаченная в аозай цвета шартреза, с длинными прямыми волосами и расчетливым макияжем, она угощала публику брызжущими эстрогеном балладами о безутешных девушках, покинутых храбрыми воинами по велению долга, и о самом утраченном Сайгоне. В песнях Ланы не было ни капли подобной тоски и сожалений – эта современная искusstельница и не думала оглядываться назад. Даже меня шокировала черная кожаная мини-юбка, под которой, казалось, вот-вот мелькнет то сокровенное, о чем я прежде столько грезил. Золотистая шелковая блузка над мини-юбкой взблескивала при каждом повороте ее торса и просто когда она напрягала легкие, исполняя очередную зажигательную песенку из тех, что освоили блюз- и рок-группы нашей родины, дабы развлекать американских солдат или американизированную молодежь. Раньше этим же вечером я слышал, как она поет *"Proud Mary"* – тогда я еще не знал, что это Лана, – а теперь с трудом заставлял себя не таращиться на нее, когда музыканты грянули *"Twist and Shout"* и почти все присутствующие младше сорока пустились в пляс, замороженные ее хриловатым голосом. Если не считать незамысловатого, но элегантного ча-ча-ча, твист был любимым танцем наших южан, ибо не требовал никакой координации. Даже генеральша не возражала против этого невинного развлечения, позволяя детям высыпать на площадку и присоединяться к ней. Но, взглянув на генеральский столик, занимавший почетное место у самого края площадки, я увидел, что оба супруга остались сидеть и вид у обоих такой, словно они жуют кислый плод тамаринда, затенявшего их утерянную виллу. И неудивительно! Ведь энергичнее всех твистовала сама Лана – ее бедра так и ходили ходуном, и головы всех мужчин вокруг, точно привязанные к ним невидимыми ниточками, дергались то в одну сторону, то в другую. Я тоже вел бы себя аналогично, если бы мое внимание не отвлекала миз Мори, танцующая рядом с таким детским азартом, что я не мог удержаться от улыбки. Она выглядела чрезвычайно женственной и довольно

раскованной по сравнению со своим обычным стилем. Ее завитые волосы украшала лилия, а шифоновое платье смело приоткрывало колени. Я уже отпустил ей не один комплимент по поводу внешности, а сейчас, воспользовавшись случаем полюбоваться ее коленями во время твиста, выразил восхищение и ее пластикой. Давненько я так не отрывалась, сказала она, когда песня кончилась. Я тоже, миз Мори, сказал я, целуя ее в щеку. София, поправила она.

Не успел я ответить, как на эстраду вышел Кларк Гейбл и провозгласил о появлении нежданного гостя – конгрессмена, который служил в нашей стране “зеленым беретом” с 62-го по 64-й, а теперь представлял тот район, где мы находились. Этот конгрессмен снискал в Южной Калифорнии немалую известность как подающий надежды политик: в округе Ориндж военное прошлое считалось хорошим заделом. Здесь его прозвища вроде “Напалмового Неда”, “Ядерного Неда” или “Неда Всех-замочу”, используемые в зависимости от настроения и геополитического кризиса, звучали скорее нежно, чем насмешливо. Он ненавидел красных до позеленения и потому был одним из тех немногочисленных местных политиков, которые встретили беженцев с распростертыми объятиями. Большинство американцев испытывали к нам смешанные чувства, а то и открытую неприязнь, видя в нас живое напоминание о своем обидном фиаско. Мы угрожали незыблемости и симметрии черно-белой Америки, чья расовая политика, устроенная по принципу инь-ян, не оставляла пространства для людей какого бы то ни было другого цвета, особенно для жалкого желтокожего народца, присосавшегося к американскому кошельку. Нас считали странными чужаками, питающими нездоровое пристрастие к Шарикку Американскому – кстати, на каждого домашнего баловня этой породы хозяева тратили больше годового дохода целой бангладешской семьи. (Впрочем, рядовому американцу было не под силу оценить подлинный ужас ситуации. Хотя иным из нас и вправду доводилось трапезничать собратями Рин-Тин-Тина и Лесси, мы делали это не по-неандертальски прямо и незатейливо, как воображали себе рядовые американцы, то бишь с помощью дубинки, вертела и пригоршни соли, а со всей изощренностью и сноровкой истинных гурманов, ибо наши повара умели готовить псину семью укрепляющими мужскую силу способами, от извлечения костного мозга до набивания колбас, и могли по-разному сварить, потушить и поджарить ее как на сковородке, так и на гриле – ням!) Однако этот конгрессмен писал статьи в нашу защиту и зазывал эмигрантов в свой округ Ориндж.

Боже мой, посмотрите на себя, сказал он с микрофоном в руке, стоя рядом с Кларком Гейблом между ангелом и искусительницей. Лет сорока с хвостиком, гибрид юриста и политика, он сочетал агрессивность первого с речистостью последнего, что наглядно демонстрировала его голова – блестящая, точно отполированная, и заостренная, точно кончик пера. Слова текли из нее с легкостью чернил самого высокого качества. Ровно на эту голову он и отличался по росту от более короткого Кларка Гейбла, да и в остальных измерениях был настолько обширен, что в границы его тела втиснулись бы двое вьетнамцев обычного калибра. Взгляните на себя, леди и джентльмены, взгляните на себя так, как должны были бы смотреть на вас мои соотечественники-американцы, то есть как на своих соотечественников-американцев. Я глубоко благодарен судьбе за то, что присутствую здесь сегодня и тоже могу порадоваться бракосочетанию прелестной вьетнамской девушки и обаятельного вьетнамского парня, которое отмечается в китайском ресторане, на калифорнийской почве, под американской луной и в христианской вселенной. Позвольте мне сказать вам кое-что, леди и джентльмены, поскольку я прожил два года среди ваших земляков в высокогорье, дрался бок о бок с вашими бойцами, делил с ними все тяготы войны и выступал против нашего общего врага, и я думал тогда, как думаю и теперь, что не мог бы сделать со своей жизнью ничего более разумного, чем пожертвовать ею ради ваших надежд, ваших мечтаний и вашего стремления к лучшей жизни. Хотя я, как и вы, искренне верил в то, что эти надежды, мечтания и стремления могут осуществиться на вашей родине, история в согласии с таинственной и непререкаемой Божьей волей сдала нам другие карты. Я здесь, чтобы сказать вам, леди и джентльмены, что это лишь временная неудача, ибо ваши воины бились решительно и отважно и превозмогли бы врага, если бы Конгресс оставался в

своей поддержке столь последовательным, как обещал президент. С ним были солидарны многие, многие американцы. Но не все. Вы знаете, кого я имею в виду. Демократы. Пресса. Антивоенное движение. Хиппи. Студенчество. Радикалы. Америка была ослаблена собственными внутренними разногласиями, пораженцами, коммунистами и предателями, наводнившими наши университеты, редакции наших газет и наш Конгресс. Вы, как ни грустно это говорить, только напоминаете им об их трусости и предательстве. Но я здесь, чтобы сказать вам, что мне вы напоминаете о другом – о великом американском обещании! О светлых перспективах иммиграции! О прекрасной американской мечте! О том обещании, которым народ этой страны дорожил прежде и обязательно будет дорожить вновь: что Америка – это земля свободы и независимости, земля патриотов, всегда готовых встать на защиту маленького человека, в каком бы уголке мира он ни обитал, земля героев, никогда не устающих биться во благо своим друзьям и на горе своим врагам, земля, которая приветствует таких, как вы, пожертвовавших столь многим во имя наших общих ценностей – свободы и демократии! Однажды, друзья мои, Америка снова поднимется во весь рост, и это произойдет благодаря таким людям, как вы. И однажды, друзья мои, страна, которую вы потеряли, вновь станет вашей! Ибо никто на свете не сможет воспрепятствовать воле народа и неизбежному движению к свободе! А теперь повторите вместе за мной на своем чудесном языке, что все мы верим...

Внимающие ему зрители бурно хлопали и вопили на протяжении всей речи и, выкати он в зал коммуниста в клетке, непременно потребовали бы, чтобы он вырвал у него из груди красное сердце и поднял его, еще бьющееся, в своем огромном кулаке. Казалось, их уже нельзя завести сильнее, но ему это удалось. Вскинув руки вверх буквой V – возможно, это означало победу, или Вьетнам, или призыв голосовать за него, или что-нибудь, адресующееся к более глубоким и темным слоям подсознания, – он стал выкрикивать в микрофон на безупречном вьетнамском: *Вьетнам муон-нам! Вьетнам муон-нам! Вьетнам муон-нам!* Все, кто сидел, вскочили, а все, кто стоял, подтянулись, и все хором заревели вслед за конгрессменом лозунг “Вьетнам навсегда!”. Кларк Гейбл сделал знак музыкантам, и зазвучали первые такты нашего национального гимна, который и ангел, и искусительница, и Кларк Гейбл, и конгрессмен запели с воодушевлением, так же как и все прочие, включая меня и за исключением лишь стоических китайцев-офицантов, наконец-то получивших возможность передохнуть.

Когда гимн кончился, конгрессмена обступили на сцене поклонники, тогда как все остальные зрители опустили на свои места с посткоитальным самодовольством. Я повернулся и увидел рядом с миз Мори Сонни при блокноте и ручке. Чудно, сказал он, порозовевший от рюмки-другой коньяку. Тот же самый лозунг в ходу и у коммунистической партии. Миз Мори пожала плечами. Лозунг – как пустой костюм, сказала она. Любой может в него влезть. Здорово подмечено, сказал Сонни. Не возражаете, если я это использую? Я познакомил их и спросил его, не хочет ли он подобраться поближе, чтобы сделать фото. Он ухмыльнулся. Дела у моей газеты идут неплохо, так что я нанял фотографа. А интервью у нашего славного конгрессмена я уже взял. И зря не надел бронежилет: он в меня прямо очередями сажал.

Типичное поведение белого человека, сказала миз Мори. Замечали вы когда-нибудь, что стоит белому выучить два слова на каком-нибудь азиатском языке, и мы уже прыгаем до потолка от счастья? Он просит стакан воды, а мы смотрим на него, как на Эйнштейна. Сонни улыбнулся и записал это тоже. Вы пробыли здесь дольше, чем мы, миз Мори, сказал он с толикой восхищения. Вам приходилось замечать, что когда мы, азиаты, говорим по-английски, то вынуждены произносить фразы как можно чище, иначе кто-нибудь обязательно примется нас передразнивать? Неважно, кто здесь сколько пробыл, сказала миз Мори. Белые всегда будут считать нас иностранцами. Но разве у этой медали нет другой стороны? – сказал я с чуть заплетающимся от выпитого языком. Если мы говорим на идеальном английском, то американцы нам доверяют. Тогда им легче считать нас своими.

Ага, значит, ты из этих? Глаза Сонни стали непрозрачными, как тонированные стекла автомобиля. Он изменился совсем не так сильно, как померещилось мне поначалу. Несколько наших встреч после первого дружеского воссоединения показали, что он просто убавил громкость своей персоны. Ну и что же ты думаешь о нашем конгрессмене?

Ты хочешь меня процитировать?

Как анонимный источник.

Он – лучшее, что могло с нами случиться, сказал я. И это не было ложью. Наоборот, это была правда самого ценного сорта – та, что имеет по меньшей мере два смысла.

В следующий уикенд мне представился шанс оценить потенциал конгрессмена с большей определенностью. Ярким солнечным утром я повез генерала с генеральшей из Голливуда в Хантингтон-Бич, где конгрессмен жил и куда он пригласил их на ланч. Мое звание шофера было солиднее, чем сам автомобиль “шевроле нова”, хоть и не очень старый. Но факт оставался фактом: генеральскую чету, удобно расположившуюся на заднем сиденье, вез собственный шофер. Моя роль заключалась в своего рода консервации их прошлой и, возможно, будущей жизни. Дорога занимала примерно час, и их разговор вертелся в основном вокруг конгрессмена, пока я не спросил про Лану. Она выглядит уже совсем взрослой, сказал я. Лицо генеральши в зеркальце заднего вида потемнело от едва сдерживаемого гнева.

Она совершенно безумна, объявила генеральша. Мы хотели, чтобы это осталось в кругу семьи, но теперь, когда она заделалась *певичей* – в устах генеральши это слово прозвучало как *коммунистка*, – мы уже ничего не можем поправить. Кто-то сказал ей, что у нее талант, и она приняла комплимент всерьез. Она и правда талантлива, сказал я. Бросьте! Не надо ее поощрять. Да вы посмотрите на нее! Она выглядит как *шлюха*. Для того ли я ее растила? Какой приличный человек согласится взять в жены *это*? Вот вы, капитан. Наши глаза встретились в зеркальце заднего вида. Нет, мадам, я не взял бы в жены *это*, сказал я, – тоже двулика правда, поскольку, любуясь их дочерью, я думал вовсе не о свадьбе. Разумеется, сердито ответила она. Этим и плоха жизнь в Америке – здесь царит *разврат*. Дома мы держали его за решеткой, в ночных клубах и на базах. Но здесь мы не в силах оградить наших детей от этого вездесущего распутства, этой пошлости и безвкусицы – от всего, что так обожают американцы. Они чересчур много позволяют своим детям. Они позволяют им *встречаться* друг с другом и даже не переживают по этому поводу! Все мы знаем, что *встречаться* – это эвфемизм. Что они за родители, если не просто разрешают своим дочерям вступать в половые отношения еще подростками, но и поощряют их в этом? У меня нет слов! Где их моральная ответственность? Тьфу!

За ланчем беседа каким-то образом свернула именно в это русло, и генеральша вновь изложила свои аргументы конгрессмену и его жене Рите, сбежавшей от кубинской революции. В ней можно было усмотреть некоторое сходство с Ритой Хейворт самой блестящей поры, времен “Гильды”, с довеском в десять-пятнадцать фунтов и во столько же лет. *Кастро*, сказала она таким же тоном, каким генеральша произносила “*певича*”, – это сам дьявол. А жизнь с дьяволом, дорогие гости, хороша только одним: вы понимаете, что такое зло, и умеете его распознать. Вот почему я так рада вашему сегодняшнему визиту: ведь кубинцев и вьетнамцев роднит ненависть к общему врагу, коммунизму. Этот пассаж скрепил духовные узы между конгрессменом, Ритой и генеральской четой, так что за столом, где молчаливая экономка ревниво следила за состоянием тарелок, генеральша не постеснялась рассказать хозяевам о Лане. Рита немедленно преисполнилась сочувствия. Она была домашним вариантом мужа: такая же пламенная антикоммунистка, видевшая в любой мелочи очередное доказательство того, что коммунизм порождает бедность, упадок, атеизм и разложение самых разнообразных сортов. В моем доме я рок-н-ролла не допущу, сказала она, сжимая генеральше руку в знак совместной скорби о ее падшей дочери. Я не позволю

никому из моих детей ни с кем *встречаться* до восемнадцати лет, и пока они живут в этом доме, они будут приходить по вечерам не позже десяти. Это наше слабое место: мы даем людям слишком много свободы, смотрим сквозь пальцы на все эти наркотики и секс, точно такие вещи ничуть не заразны.

В каждой системе бывают свои эксцессы, которые следует пресекать изнутри, сказал конгрессмен. Мы позволили хиппи украсть значение слов “любовь” и “свобода” и лишь теперь пробуем отвоевать их обратно. Эта борьба начинается и заканчивается дома. Восседаю во главе стола с генералом одесную и генеральшей ошую, конгрессмен говорил мягким голосом с размеренными интонациями, мало напоминающим его публичное громоизвержение. Мы следим за тем, что читают, слушают и смотрят наши дети, но сколько у нас шансов на успех, если они включают телевизор и радио, когда им вздумается? Тут необходимо правительство: только оно может гарантировать, что Голливуд и студии звукозаписи не зайдут слишком далеко.

А разве вы сами не правительство? – спросил генерал.

Конечно! Вот почему один из моих приоритетов – законодательство, которое регулирует кино и музыку. Это не цензура, а просто рекомендации, пусть и немного жесткие. Разумеется, ни в Голливуде, ни в этих музыкальных шарашках меня не любят – то есть пока не познакомятся со мной лично и не убедятся, что я не какой-нибудь там людоед, который только и норовит что полакомиться их творениями. Я всего лишь помогаю им поднять качество их продукции. Видите ли, одно из следствий моей работы в подкомиссии – то, что я теперь на короткой ноге кое с какими ребятами из Голливуда. Допускаю, что раньше я относился к ним с некоторым предубеждением, но среди них и правда попадаются очень толковые и увлеченные своим делом. Толковые и увлеченные – а это, по-моему, главное. Насчет всего остального мы спорим. В общем, один из них снимает фильм о войне и попросил у меня совета. Я обещал взглянуть на сценарий и сказать, что в нем правильно, а что нет. Но вам, генерал, я говорю об этом потому, что это история про операцию “Феникс”, а я знаю, что тут вы большой специалист. Сам-то я улетел еще до ее начала. Вы не против оказать посильную помощь? А то они там бог знает что наснимают.

Как раз для таких случаев я и держу при себе моего капитана, сказал генерал, кивая в мою сторону. Фактически он мой атташе по культурной части. Он с удовольствием прочтет сценарий и выскажет свое мнение. Когда я спросил конгрессмена, как называется фильм, ответ меня несколько удивил. “Деревушка”?

Да нет, Фолкнер тут ни при чем. Режиссер сам писатель. Ни дня не провел в армии, зато насмотрелся пацаном боевиков с Джоном Уэйном и Оди Мерфи. Главный герой – “зеленый берет”, который должен спасти одну деревушку. Я два года отслужил в особом отряде и видел чертову прорву деревушек, но ничего похожего на этот плод его воображения мне не попадалось.

Хорошо, сказал я, сделаю что смогу. Я прожил в северной деревне всего несколько лет до нашего побега на Юг в пятьдесят четвертом и сохранил о той поре лишь смутные детские воспоминания, но нехватка опыта никогда не мешала мне идти на риск. Именно с таким настроением я подошел к Лане после ее захватывающего выступления, чтобы поздравить ее с успехами на новом поприще. Мы стояли в вестибюле ресторана, около стенда с внушительной фотографией новобрачных, и она смерила меня внимательным, беспристрастным взглядом оценщика предметов искусства. Потом улыбнулась и сказала: а я все гадала, почему вы со мной не здороваетесь, капитан. Я объяснил, что просто не узнал ее, и тогда она спросила, понравилось ли мне то, что я увидел. Я уже не похожа на ту девочку, которую вы знали, правда, капитан?

Кто-то и впрямь предпочитал невинных школьников в аозаях – кто-то, но не я. Они вписывались в пасторальный, чистый образ нашей культуры, имеющий ко мне мало отношения; он был так же далек от меня, как заснеженные пики отцовской родины. Да, я был нечист, я хотел только нечистого и только его заслуживал. На ту

девочку вы не похожи, согласился я. Зато похожи на женщину, которой в моих мыслях когда-нибудь должны были стать. Никто никогда не говорил ей ничего подобного, и неожиданность моего ответа слегка сбила ее с толку. Чуть помолчав, она сказала: вижу, я не единственная, кто изменился после переезда сюда, капитан. Вы стали гораздо... прямее, чем были, когда жили с нами.

Я больше не живу с вами, сказал я. Если бы в тот миг из зала не вышла генеральша, кто знает, куда завел бы нас этот разговор? Не сказав мне ни слова, она взяла дочь под локоток и повлекла в направлении дамской комнаты с решимостью, которой трудно было противиться. Хотя после того вечера я не видел Лану довольно долго, в течение последующих недель она часто возвращалась ко мне в фантазиях. Независимо от того, чего я хотел и заслуживал, она неизменно появлялась в белом аозае, а ее длинные черные волосы то обрамляли лицо, то прикрывали его. В безымянном городе грез, где происходили наши встречи, на мое призрачное "я" накатывала тревога. Даже в таком сомнамбулическом состоянии я помнил, что белый – это не только цвет чистоты и невинности. Это еще и знак траура и смерти.

## Глава 8

Мы хозяева дня, но ЧАРЛИ – хозяин ночи. Никогда этого не забывай. Такие слова слышит сержант ДЖЕЙ БЕЛЛАМИ, блондин двадцати одного года от роду, только что прибывший в знойные тропики Нама, от своего нового командира, капитана УИЛЛА ШЕЙМАСА. Крещенный кровью своих товарищей на берегах Нормандии и едва не расставшийся с жизнью во время китайской психической атаки в Корее, Шеймас подтянулся по карьерной лестнице на блоке, смазанном “Джеком Дэниэлсом”. Он знает, что выше ему, простому парню из Бронкса, уже не подняться: манеры не те, да и лайковые перчатки на его здоровенные кулаки не налезут. Это война политическая, сообщает он своему новому помощнику из-за дымовой завесы, попыхивая кубинской сигарой. Но на любой войне убивают одинаково. Его задача – спасти невинных монтаньеров, обитающих в буколической деревушке на границе с диким Лаосом. Им угрожает Вьетконг, да не простой, а тот, хуже которого не бывает, – Кингконг! Кингконг готов умереть за свою страну, чего нельзя сказать о большинстве американцев. Что еще важнее, Кингконг готов убивать за свою страну – и с какой же алчностью он облизывается, едва учуяв железистый запах крови белого человека! Кингконг наводнил густые джунгли вокруг деревушки матерыми партизанами из тех, что убивали французов еще в пору Индокитайской войны. Мало того, и в самой деревушке теперь полно агентов Кингконга и сочувствующих – они нацепили дружеские маски, а сами лелеют коварные замыслы. Им противостоит Народная бригада – разношерстная компания местных ополченцев, фермеров и подростков, которых тренирует Особый отряд сил специального назначения, состоящий из десятка “зеленых беретов”. Этого довольно, думает сержант Беллами, неся одинокую ночную вахту на дозорной вышке. Он не успел закончить Гарвард и очутился далеко от родного Сент-Луиса, далеко от своего папаши-миллионера и мамы в мехах. Этого довольно – этих ошеломительно прекрасных джунглей и простого, скромного народа. Здесь мое место, и здесь я, Джей Беллами, останусь, может быть, навсегда – в ДЕРЕВУШКЕ.

Такова, во всяком случае, была моя интерпретация сценария, который личная секретарша режиссера прислала мне в толстом конверте с моим именем, выведенным чудесным почерком, но с ошибками. Это было вторым тревожным звонком, а первым – то, что во время нашего разговора по телефону, понадобившегося, чтобы узнать мой почтовый адрес и назначить встречу с режиссером у него дома в Голливуд-Хиллс, эта секретарша, Вайолет, не потрудилась сказать ни здрасте, ни до свиданья. Когда Вайолет открыла мне дверь, выяснилось, что эту странную манеру общения она практикует не только заочно. Рада видеть, много о вас слышала, очень понравились замечания – в точности так она и сказала, опуская точки, а кое-где и местоимения, словно ей жаль было зря тратить на меня пунктуацию и грамматику. Потом, не удостоив меня зрительным контактом, пригласила войти легким наклоном головы, полным снисхождения и презрения.

Возможно, эта резкость была просто чертой ее характера, поскольку выглядела она как бюрократ наихудшей породы – амбициозный, начиная от аккуратной квадратной стрижки до аккуратных, коротко подстриженных ногтей и аккуратных практичных туфелек. А может, все дело было во мне, все еще выбитом из колеи как смертью упитанного майора, так и видением его отрубленной головы на свадебном банкете. Эмоциональный осадок того вечера сработал как капля мышьяка, которую уронили в стоячий пруд моей души: на вкус ничего не изменилось, но во все проникла отравка. Так что, возможно, именно поэтому, вступив в мраморный холл, я тут же заподозрил, что причина ее поведения – моя национальность. Должно быть, глядя на меня, она видела мою желтизну, мои чуть узковатые глаза и тень дурной славы восточных гениталий, тех якобы микроскопических мужских причиндалов, что высмеивались полуграмотными художниками на стенах многих общественных уборных. Пусть я был азиатом лишь наполовину – если речь идет о расе, в Америке действует принцип “все или ничего”. Или ты белый, или нет. Любопытно, что в студенческие годы я никогда не ощущал себя неполноценным в этом смысле. Я был иностранцем по определению, а значит, ко мне следовало относиться как к гостю. Но теперь, когда я превратился в нормального американца со статусом



ПМЖ, водительскими правами и картой социального обеспечения, Вайолет по-прежнему считала меня иностранцем, и эта несправедливость саднила, как глубокая царапина на коже моей самоуверенности. Может, я просто подцепил паранойю, этот всеобщий американский недуг? Что если Вайолет была поражена дальтонизмом, сознательной неспособностью отличать белый от любого другого цвета, – единственным дефектом, который американцы хотят иметь? Но, глядя, как она шагает по натертому до блеска бамбуковому паркету, далеко обходя смуглую горничную, обрабатывающую пылесосом турецкий ковер, я понимал, что такое просто невозможно. Мой безупречный английский ничего не значил. Даже слушая мой голос, она все равно смотрела сквозь меня или видела вместо меня кого-то другого – очередного восточного кастриката из тех, чьи образы выжжены на сетчатке всех любителей голливудского ширпотреба. Я говорю о таких карикатурах, как Фу Манчу, Чарли Чен, его Сын Номер Один, Хоп Син – это ж надо, *Хоп Син!* – и тот зубастый, очкастый япошка, которого не столько сыграл, сколько спародировал Микки Руни в “Завтраке у Тиффани”. Это выглядело до того оскорбительно, что даже развенчало в моих глазах поначалу непобедимо соблазнительную Одри Хепберн – ведь как ни крути, а она молчаливо потворствовала этой гнусности.

Усевшись напротив режиссера в его кабинете, я уже внутренне кипел от воспоминаний обо всех этих прежних обидах, хотя внешне сохранял спокойствие. С одной стороны, я попал на встречу со знаменитым творцом авторского кино – я, некогда рядовой обожатель этого искусства, по субботам регулярно блаженствовал в полумраке дневного сеанса, чтобы затем выползти, моргая, на солнечный свет, ослепительный, как люминесцентные лампы родильной палаты. С другой, я только что прочел сценарий, озадачивший меня не обычными спецэффектами вроде грандиозных взрывов и кровавой каши, а в первую очередь тем, что автор умудрился рассказать историю о моих родных краях, в которой ни один из их коренных обитателей не произнес ни одного вразумительного слова. Вайолет разобрала мою этническую чувствительность еще сильнее, но, поскольку высказывать раздражение было непродуктивно, я заставил себя улыбнуться и пустил в ход свой стандартный трюк – принял непроницаемый вид бандероли, перевязанной шпагатом.

Творец изучал меня – актера массовки, у которого хватило нахальства влезть в середину его идеальной мизансцены. Золотая статуэтка “Оскара” рядом с телефоном выполняла роль то ли королевского скипетра, то ли инструмента для вышибания мозгов строптивым сценаристам. Черная шерсть наглядным доказательством мужественности курчалась по предплечьям Творца и выбивалась из-под ворота рубахи, напоминая мне о моей относительно безволосости, ибо моя грудь, а также живот и ягодицы гладки и обтекаемы, как у пластикового Кена. После триумфа двух своих последних фильмов Творец превратился в самого модного режиссера-сценариста во всем Голливуде. В “Передряге”, первом из этих фильмов, получившем хвалебные отзывы критиков, повествовалось о приключениях молодого американца греческого происхождения на улицах Детройта, где бушевали расовые беспорядки. Он был отчасти автобиографичен: Творец родился под оливково-греческой фамилией и обесцветил ее в типично голливудской манере. Следующий его фильм показал, что он покончил со своей коричневатой этнической идентичностью, переключившись взамен на идентичность кокаиновой белизны. Героями “Венис-Бич”, посвященного крушению американской мечты, стали пьяница-репортер и его страдающая депрессиями жена – не только супруги, но и конкуренты, ибо каждый сочинял свою версию Великого американского романа. Их деньги и жизнь медленно утекали по мере того, как росли стопки исписанной бумаги, а завершалась картина видом их захиревшего, придушенного белой бугенвиллеей домика в лучах тихоокеанского заката. Это была повесть Джоан Дидион и Реймонда Чандлера, напророченная Уильямом Фолкнером и снятая Орсоном Уэллсом. Это было мощно. Как бы мне ни хотелось отрицать его талант, положила руку на сердце я не могла этого сделать.

Весьма рад знакомству, начал Творец. Прекрасные комментарии. Как насчет чего-

нибудь выпить. Кофе, чай, минералка, виски. Для виски никогда не рано. Вайолет, капельку виски. И лед. Я сказал, лед. Тогда не надо. И мне тоже. Всегда предпочитал чистый. Посмотрите в окно. Да нет, не на садовника. Хосе! Хосе! Приходится стучать по стеклу, чтоб услышал. Он почти глухой. Хосе! Отойди! Закрываешь вид. Вот так. Полюбуйтесь, какой вид. Я про ту надпись, "Голливуд", вон она. Никогда мне не надоедает. Как Слово Божье – упало с небес, шлепнулось на холмы, и Слово было Голливуд. Разве Бог не сказал сначала, да будет свет. А что такое кино, если не свет. Без света какое кино. Ну, и слова. Как увижу поутру эту надпись, сразу писать хочется. Что. Согласен, там не "Голливуд" написано. Вы меня ущучили. Отличное зрение. Эта штука разваливается. Полбуквы "В" отвалилось, а "У" так и вовсе целиком. Скоро вообще ни хрена не останется. Ну и что. Смысл-то ясен. Спасибо, Вайолет. Будем. Как там у вас говорят. Я сказал ему, как там у нас говорят. Йо-йо-йо, так. Мне нравится. Легко запомнить. Ну, йо-йо-йо, стало быть. А теперь за конгрессмена – за то, что нас свел. Я раньше ни одного вьетнамца не знал, вы первый. Не так уж вас много в Голливуде. Кой черт, да вас тут совсем нет. А аутентичность – это важно. Конечно, не важнее воображения. История все равно на первом месте. Универсальность истории – вот что главное. Но не ошибаться в деталях тоже полезно. Я давал сценарий на проверку "зеленому берету", который воевал с монтаньярами. Он сам меня нашел. Свой сценарий принес. Все сценаристы. Этот писать не умеет, зато настоящий американский герой. Два раза туда летал, убил вьетконговца голыми руками. "Серебряная звезда" и "Пурпурное сердце" с дубовыми листьями. Ну и снимки он мне показывал. Меня чуть не вывернуло. Правда, кое-какие идейки появились, насчет фильма. Почти ничего не поправил. Что вы об этом думаете.

Я не сразу сообразил, что он задал мне вопрос. Я был дезориентирован, как человек, едва начавший изучать английский и силящийся понять другого иностранца, для которого он тоже неродной. Замечательно, сказал я.

Вот-вот, замечательно. Но вы – другое дело. Вы написали мне на полях еще один сценарий. Вы вообще раньше хоть раз сценарий читали.

Я снова не сразу понял, что это очередной вопрос. Как и у Вайолет, у него были проблемы с общепринятой пунктуацией. Нет...

Так я и думал. И с чего вы тогда взяли...

Но у вас же ошибки в деталях.

У меня ошибки в деталях. Слышите, Вайолет. Я изучал вашу страну, дорогой мой. Я читал Йозефа Баттингера и Фрэнсис Фицджеральд. А вы читали Йозефа Баттингера и Фрэнсис Фицджеральд. Он историк, главный специалист по вашему маленькому кусочку мира. А она лауреат Пулитцеровской премии. Разобрала по косточкам всю вашу психологию. Думаю, я кое-что знаю про ваш народ.

Его агрессивность взвинтила меня, а поскольку я не привык к такому состоянию, то взвинтился еще больше. Пожалуй, только этим и можно объяснить мое дальнейшее поведение. У вас даже крики неправильные, сказал я.

Прошу прощения.

Я ждал чего-то более информативного, пока не понял, что он перебил меня вопросом. Смотрите, сказал я; мой шпагат начал понемногу разматываться. Если не ошибаюсь, на страницах 26, 42, 58, 77, 91, 103 и 118 – практически везде, где кто-нибудь из моих земляков подает голос, он или она кричат. Не говорят, а только кричат. Так хотя бы крики можно было передать правильно?

Крики – универсальная вещь. Вы согласны, Вайолет.

Конечно, сказала она со своего места поблизости от меня. Нет, сказал я, крики не универсальны. Если я возьму вот этот телефонный шнур, обмотаю его вокруг вашего горла и затяну так, что у вас вылезут глаза и почернеет язык, крики Вайолет будут совсем не похожи на тот крик, который будете пытаться издать вы.

В данном случае мужчина и женщина испытывают ужас совершенно разного типа. Мужчина знает, что умирает. Женщина боится, что скоро умрет. Они находятся в разном положении, и это кардинально влияет на тембр их голоса. Послушайте их внимательно, и вы поймете, что боль хоть и универсальна, однако наряду с этим абсолютно индивидуальна. Мы не знаем, похожа ли наша боль на чужую, пока не обсудим это. А то, как мы говорим и думаем, зависит от наших личных и культурных особенностей. К примеру, если в этой стране кто-то убегает, спасая свою жизнь, он захочет вызвать полицию. Это разумная реакция на угрозу боли. Однако в моей стране полицию никто вызывать не станет, поскольку боль зачастую причиняет именно она. Вы согласны, Вайолет?

Вайолет немо кивнула.

Теперь, если разрешите, вернемся к вашему сценарию. В нем вы заставляете представителей моего народа кричать следующим образом: *АЙ-Й-И-И-И-И!!!* Так кричит, например, Крестьянин № 3, напоровшись на кол во вьетконговской яме-ловушке. Или Маленькая Девочка, которая жертвует своей жизнью, чтобы предупредить “зеленых беретов” о проникшем в деревню противнике, – она тоже кричит так перед тем, как ей перерезают горло. Но я много раз слышал, как кричат мои земляки, когда им больно, и смею вас уверить, что это звучит иначе. Хотите послушать, как они кричат?

Он сглотнул, и его адамово яблоко подпрыгнуло. Хорошо.

Я встал и оперся на стол, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. Но я не видел его. Вместо него я видел лицо жилистого монтаньяра, старейшины племени бру, который жил в настоящей деревушке примерно в тех краях, где разворачивалась эта вымышленная история. Прошел слух, что он связной Вьетконга. Я был на своем первом задании в качестве лейтенанта и никак не мог помешать моему капитану обмотать вокруг его горла ржавую колючую проволоку. Дышать она позволяла, но при каждом глотке щекотала ему кадык. Впрочем, кричал старик не от этого – это были только цветочки. Но я, мысленно наблюдая эту сцену, закричал за него.

Вот как это звучит, сказал я и потянулся через стол к ручке “Монблан”. Подвинул к себе сценарий и для наглядности написал на обложке крупными черными буквами: *АЙ-Й-Я-А-А-А-А!!!* Потом закрыл перо колпачком, положил ручку обратно на кожаный блокнот Творца и сказал: вот как кричат у нас в стране.

Спустившись из дома Творца на холмах в генеральский – их разделяли примерно тридцать кварталов, – я отчитался о своем первом знакомстве с киноиндустрией. Мой рассказ поверг генерала с генеральшей в глубокое негодование. После моей вспышки у Творца мы с ним и Вайолет побеседовали еще некоторое время с меньшей горячностью; я обратил их внимание на то, что отсутствие членораздельно говорящих вьетнамцев в фильме про Вьетнам может быть воспринято как своего рода культурная глухота. Верно, перебила меня Вайолет, но все сводится к тому, кто платит за билеты и ходит в кино. Будем откровенны – вряд ли в кинотеатрах окажется много зрителей вьетнамской национальности, верно? Я подавил свой гнев. Ну ладно, ответил я, но если уж вы беретесь снимать фильм о другой стране, не лучше ли дать жителям этой страны сказать что-нибудь связанное, а не ограничиваться, как сейчас в вашем сценарии, ремарками *“Крестьяне говорят что-то на своем туземном языке”*? Разве это не выглядело бы чуть более достоверно, чуть более правдиво, чуть более аутентично? Не кажется ли вам, что наделить их даром нормальной человеческой речи было бы приличнее, чем просто признать, что они способны издавать некие загадочные звуки? Пусть хотя бы говорят на английском с сильным акцентом – можно ведь изобразить этокое псевдоазиатское чирикание, словно они говорят на каком-то восточном языке, который странным образом понятен американцам. И не кажется ли вам, что было бы убедительнее, если бы ваш “зеленый берет” влюбился какую-нибудь местную девицу? Что, солдаты любят и умирают только друг за друга? Ведь если на горизонте нет женщины, получается так.

Творец поморщился и сказал: очень интересно. Шикарная идея. Я в восторге, но у

меня вопрос. Какой же. Ах да. Сколько фильмов вы сняли. Ни одного. Или я не прав. Нуль, zero, шиш с маком, ни хрена ни морковки, и как еще это будет на вашем языке. Так что спасибо, научили дурака ложку держать. А теперь убирайтесь из моего дома и приходите, когда сделаете парочку фильмов. Может, тогда я и выслушаю парочку ваших дешевых советов.

Почему он вел себя так грубо? – спросила генеральша. Он же сам попросил вас прочесть сценарий.

Ему в голову не приходило, что я буду его критиковать. Он рассчитывал на полное одобрение.

Он думал, вы рассыплетесь в комплиментах.

А когда этого не случилось, обиделся. Художники все недотроги.

Вот и конец вашей голливудской карьере, сказал генерал.

Не нужен мне никакой Голливуд, ответил я, хотя точнее было бы сказать, что это я не нужен Голливуду. Признаюсь, Творец разозлил меня, но стоило ли на него злиться? Ведь он даже не знал, что французское словечко “монтаньяры” – собирательное название, под которым скрываются десятки разных горных народностей. Просветив его на этот счет, я сказал: представьте, что я пишу сценарий об американском Западе и без разбору называю всех тамошних жителей индейцами. Наверно, вы захотели бы знать, с кем воюет ваша конница – с навахо, апачами или команчами, не так ли? Вот и я, услышав про монтаньяров, хочу знать, о ком идет речь – о бру, мнонгах или таой.

Раскрою вам один секрет, сказал Творец. Вы готовы. Так слушайте. Всем насрать.

Его позабавило мое временное онемение. Увидеть меня бессловесным все равно что увидеть египетскую кошку из породы бесшерстных – редкое и не особенно приятное зрелище. Только позже, за рулем, я горько усмехнулся, вспоминая, как он выбил меня из седла моим собственным любимым оружием. До чего же я был туп! Как глубоко заблуждался! Вечный прилежный студент, я прочел сценарий за несколько часов и еще несколько перечитывал его и писал комментарии, все это время ошибочно полагая, что моя работа кому-то нужна. Я простодушно верил, что могу отвлечь голливудского исполина от его цели – синхронного оболванивания и облегчения карманов мировой аудитории. Сопутствующей выгодой было обкрадывание истории: настоящая история оставалась в подземных шахтах вместе с мертвецами, а зрители получали крошечные блестящие алмазики, над которыми могли ахать вволю. Голливуд не только создавал чудовищ для фильмов ужасов – он сам был таким чудовищем, раздавившим меня своей пятой. Я проиграл, и Творец двинулся дальше к воплощению своего замысла – использовать моих соотечественников в качестве грубого сырья для эпической саги о том, как белые люди спасают хороших желтых людей от плохих желтых людей. Я пожалел французов: они наивно считали, что могут эксплуатировать страну, лишь захватив ее. Гораздо более эффективный Голливуд сам выдумывает страны, которые хочет эксплуатировать. Меня взбесило мое бессилие перед выдумками и нечистоплотностью Творца. Его высокомерие обозначило новую веху в мировом развитии, поскольку это была первая война, чью историю собирались писать не победители, а побежденные, располагающие самой могучей пропагандистской машиной из всех, что когда-либо существовали на свете (при всем уважении к Йозефу Геббельсу и фашистам, так и не сумевшим достичь глобального доминирования). Голливудские верховные жрецы искренне разделяют мнение мильтоновского Сатаны о том, что лучше царствовать в Аду, чем прислуживать на Небесах, лучше быть злодеем, подонком и антигероем, чем добродетельным статистом, – кем угодно, пока ты остаешься в лучах прожекторов на авансцене. В этой очередной оптической иллюзии всем вьетнамцам суждено было выглядеть убогими, ибо им отводились только роли бедных, невинных, злых и продажных. Нас не просто поразили немотой – нас превратили в баранов.

Покушайте фо, сказала генеральша. Может быть, вам станет легче.

Она как раз закончила стряпать, и по дому разливался густой ностальгический аромат мясного бульона с бадьяном – запах, который я могу описать только как букет любви и нежности, тем более изумительный оттого, что на родине генеральша никогда ничего не готовила. Стряпня наряду с уборкой, шитьем, присмотром за детьми, их воспитанием и так далее считалась уделом простых женщин, а горстке подобных генеральше аристократок надлежало выполнять лишь чисто биологические функции – впрочем, на то, чтобы представить генеральшу выполняющей любую из них, кроме дыхания, у меня попросту не хватало фантазии. Но в эмиграции ей пришлось научиться готовить, поскольку все прочие члены семьи были способны разве что вскипятить воду. Для генерала даже это оставалось непосильной задачей. Он мог разобрать и собрать винтовку М-16 с завязанными глазами, но газовая плита была для него непостижима, как дифференциальное уравнение. Впрочем, это могло быть и притворством: как почти все вьетнамцы мужского пола, он не желал иметь с домашним хозяйством ничего общего. Дома он только ел и спал, причем и в том и в другом проявлял больше сноровки, чем я. Со своим фо он разделался на добрых пять минут раньше меня, хотя моя низкая скорость потребления объяснялась не недостатком аппетита, а тем, что под влиянием генеральшиного супа я словно растаял и перенесся в прошлое, в дом своей матери, варившей бульон на серых говяжьих костях, которые за ненужностью отдавал ей отец. Обычно мы ели фо без тонких ломтиков мяса, его белковой составляющей, так как говядина была нам не по карману – лишь изредка моей несчастной матери удавалось наскрести все, чего требовал канонический рецепт. Но даже нищета не мешала матери готовить волшебный суп, а я помогал ей, запекая лук с имбирем, чтобы положить их в кастрюлю для аромата. Еще в мои обязанности входило снимать пенку, пока кости кипятились на медленном огне, – тогда бульон получался прозрачный и наваристый. Поскольку этот процесс занимал несколько часов, я подвергал себя танталовым мукам, делая у плиты уроки и заодно вдыхая сводящие с ума пары. Фо генеральши окунул меня в давний уют материнской кухни, где вряд ли было тогда так тепло, как чудилось мне теперь, но это и неважно – я все равно время от времени делал паузы, чтобы посмаковать не только суп, но и сладкую начинку моих воспоминаний.

Восхитительно, сказал я. Сколько лет такого не пробовал!

Чудеса, правда? Я и не подозревал, что у нее есть этот талант.

Вам надо открыть ресторан, сказал я.

Ну что за глупости! Она была явно польщена.

А это вы видели? Генерал вытащил из стопки на кухонном столе последний номер газеты Сонни, выходящей раз в две недели. Я еще не читал. Оказалось, что генерала встревожили статья Сонни о похоронах майора, события уже почти месячной давности, и его же отчет о свадьбе. По поводу кончины майора Сонни написал, что “полиция приняла это за убийство с целью ограбления, но уверены ли мы, что у офицера секретной службы не было врагов, желавших ему смерти?” В рассказе о свадьбе он кратко изложил содержание речей и подвел итог риторическим вопросом: “Не пора ли прекратить все эти разговоры о войне? Ведь она уже кончилась”.

Он делает то, чего от него ждут, сказал я, хотя понимал, что он перегнул палку. Но это и впрямь звучит немного наивно.

По-вашему, это наивность? Уж больно вы снисходительны. Вообще-то дело репортера – излагать факты. Он не должен интерпретировать их, добавлять что-то от себя и подсовывать людям дурацкие идеи.

Насчет майора он прав, не так ли?

Да на чьей вы стороне? – спросила генеральша, окончательно сбрасывая с себя

роль поварихи. Репортерам нужны редакторы, а редакторам нужны выволочки. Такова лучшая газетная политика. Беда Сонни в том, что он сам себе редактор и его никто не проверяет.

Вы совершенно правы, мадам. Пикировка с Творцом выбила меня из колеи, заставила отчасти позабыть о своей роли. Излишняя свобода прессы вредна для демократии, провозгласил я. Сам я в это не верил, однако верил мой персонаж, славный капитан, и как актер, исполняющий его роль, я должен был проявлять с ним солидарность. Но обычный актер проводит в маске гораздо меньше времени, чем без нее, тогда как в моем случае все было наоборот. Неудивительно, что иногда я мечтал содрать с лица маску, всякий раз с горечью обнаруживая, что она и есть мое лицо. Теперь, поправив на себе лицо капитана, я сказал: простые люди не в силах разобраться, что для них хорошо и полезно, если вокруг чересчур много разных мнений.

По любой теме или вопросу должно высказываться не больше двух позиций, заметил генерал. Возьмите избирательную систему. Тот же принцип. У нас была уйма партий и кандидатов, и посмотрите, во что мы из-за этого вляпались. А здесь выбираешь или левую руку, или правую, и этого хватает с лихвой. Всего два варианта, а какая драма разыгрывается на каждом президентских выборах! Порой даже два варианта – это на один больше, чем надо. Одного варианта вполне достаточно, а еще лучше, когда их нет вовсе. Чем меньше, тем лучше, так? Вы знаете этого малого, капитан. К вам он прислушается. Напомните ему, как мы решали проблемы у себя на родине. Хоть мы теперь и здесь, нам всем нельзя забывать, как мы решали проблемы там.

В старые добрые времена Сонни уже сидел бы в камере. Но вслух я сказал: коли уж речь зашла о старых временах, сэр, каковы наши шансы снова их вернуть?

Шансы растут, сказал генерал, откидываясь на спинку стула. У нас есть друзья и союзники в лице Клода и конгрессмена, и я знаю от них, что они не одиноки. Но сейчас трудно добиться открытой поддержки. Американцам надоело слышать имя нашей страны. Так что мы вынуждены действовать исподволь.

Хорошо бы иметь в разных местах своих людей, предложил я.

Я составил список офицеров для первого собрания. Поговорил с каждым из них лично – они жаждут борьбы. Тут им ловить нечего. Единственный шанс вернуть свою честь и вновь стать мужчинами заключается в том, чтобы вернуть свою страну.

Нам нужен не только авангард.

Авангард? – спросила генеральша. Это язык коммунистов.

Возможно. Однако коммунисты победили, мадам. И это не просто везение. Думаю, нам стоит перенять у них кое-какие стратегические идеи. Авангард может повести остальных туда, куда они должны и хотят пойти, хотя еще сами этого не знают.

Он прав, сказал генерал.

Авангард работает в подполье, но иногда показывает публике другое лицо. Его прикрытием становятся добровольные организации и прочее в том же духе.

Именно так, сказал генерал. Поглядите на Сона. Мы хотим сделать его газету одним из таких прикрытий. И нам нужны молодежная группа, женская группа, даже группа интеллектуалов.

А еще нам нужны ячейки. Части организации следует отделить друг от друга, чтобы при потере одной уцелели все остальные. Одна из таких ячеек – мы. Кроме того, есть ячейки, куда входят Клод и конгрессмен, но о них я ничего не знаю.

Всеу свое время, капитан. Быстро только мухи женятся. Конгрессмен работает со

своими контактами, чтобы расчистить нашим посланцам дорогу в Таиланд.

Там будет наша база.

Именно. Возвращаться морем слишком трудно. Сушей гораздо легче. А тем временем Клод ищет для нас деньги. Они обеспечат нам все необходимое. Людей мы соберем, но им понадобятся оружие, подготовка, место для подготовки. Надо будет переправить их в Таиланд. Вы же сами сказали: мы должны думать как коммунисты. Планировать на десятилетия вперед. Жить и работать в подполье, по их примеру.

По крайней мере, темнота нам уже привычна.

Вот-вот. У нас просто нет выбора. По сути говоря, его у нас никогда и не было, если вести речь о важных вещах. Коммунизм заставил нас делать все, что мы делали, чтобы ему противостоять. Нами повелевала история. И у нас нет выбора – только бороться, сопротивляться злу и тому, чтобы о нас забыли. Вот почему – тут генерал поднял газету Сонни – даже говорить, что война кончена, опасно. Нельзя, чтобы наши люди погрязли в благодушии и расслабленности.

И чтобы они забыли свое возмущение, тоже, добавил я. Вот где газеты могут сыграть свою роль – на культурном фронте.

Но только если журналисты будут делать свою работу как им положено. Генерал швырнул газету обратно на стол. Возмущение. Хорошее слово. Нет – прощению, да – возмущению. Как вам такой девиз?

Звучит неплохо, сказал я.

## Глава 9

К моему крайнему удивлению, Вайолет позвонила мне на следующей неделе. Помоему, нам больше не о чем говорить, сказал я. Он пересмотрел свое отношение к вашим советам, возразила она. Я заметил, что на этот раз она использует в нашей беседе законченные фразы. Он вспыльчив и плохо воспринимает критику, что всегда первый же и признает. Но когда он остыл, то понял, что в ваших комментариях есть полезные мысли. Вдобавок вы не побоялись с ним спорить, и это вызвало у него уважение. На такое осмеливаются немногие, что превращает вас в идеального кандидата на должность, которую я предлагаю. Нам нужен консультант по всему, что связано с Вьетнамом. Мы уже изучили историю, костюмы, оружие, обычаи – то, что можно найти в книгах. Но нам не хватает живого человека, и этим человеком могли бы стать вы. Мы будем набирать массовку из вьетнамских беженцев на Филиппинах, и кому-то надо с ними работать.

Откуда-то издали выплыл шелест материнского голоса: в тебе не по половинке всего, а вдвойне! Несмотря на минусы своего сомнительного происхождения, я постоянно слышал от матери слова поддержки, и ее несокрушимая вера в меня привела к тому, что я никогда не уклонялся от брошенного мне вызова и не упускал благоприятных шансов. Мне предлагали четыре месяца оплачиваемого отпуска в тропическом раю (шесть, если съемки выбьются из графика) – возможно, не таком уж раю, если местные мятежники поведут себя чересчур самонадеянно, и не столько отпуска, сколько напряженной работы, и не столько оплачиваемого, сколько малооплачиваемого, но зато я получал передышку от эмигрантской жизни в Америке, а это перевешивало все остальное. Моя совесть, растревоженная смертью упитанного майора, напоминала о себе по несколько раз на дню с упорством налогового инспектора. Центральное место на задворках моего сознания, в неумолкающем католическом хоре моей вины, занимала майорская вдова. На похоронах я дал ей всего пятьдесят долларов – больше у меня не было. Теперь, с учетом бесплатного проживания и питания, я мог бы выделить часть своего скудного гонорара на пособие ей и детям.

Иногда с невинными обходятся несправедливо, и я сам был когда-то невинным ребенком, с которым обходились несправедливо. И не чужие, а члены моей собственной семьи: мои родные тетки не хотели, чтобы я играл со своими двоюродными братьями и сестрами на семейных сборищах, и прогоняли меня с кухни, если там было чем полакомиться. У меня до сих пор зудели шрамы от душевных ран, нанесенных этими тетками на Новый год, в то время, которое все прочие дети вспоминают с такой теплотой. Какой первый Новый год я помню? Наверное, тот, когда мне было пять или шесть. Серьезный и взволнованный, я ждал в толпе других детей, когда наступит моя очередь подойти к каждому из взрослых и произнести маленькую речь с пожеланиями здоровья и счастья. Но хотя я не позабыл ни слова, не запинаясь, как большинство моих кузенов, и излучал искренность и обаяние, Тетя Номер Два не наградила меня красным конвертиком. За мной наблюдало все материнское семейное древо – на его узловатых ветвях разместились ее родители, девять ее братьев и сестер и три дюжины моих, двоюродных. Я просчиталась, сказала эта ведьма, глядя на меня сверху вниз. Взяла на один меньше. Я замер с почтительно сложенными на груди руками в ожидании волшебного конверта или по крайней мере извинения, но больше ничего так и не последовало – прошло, как мне показалось, несколько минут, прежде чем мама положила мне на плечо ладонь и сказала: поблагодари тетю за то, что она так любезно преподала тебе урок.

Только позже, дома, на нашей общей деревянной кровати, мама позволила себе заплакать. Неважно, что остальные дяди и тети дали мне красные конвертики, хотя, сравнив их содержимое с тем, что получили мои кузены, я обнаружил, что у меня вдвое меньше денег. Это потому, что ты полукровка, сказал один догадливый братец. Ты ублюдок. Когда я спросил маму, что такое ублюдок, ее щеки вспыхнули. Будь моя воля, сказала она, я задушила бы его голыми руками. В моей жизни не было другого дня, когда я узнал бы так много о себе, мире и его обитателях. За



образование надо говорить спасибо, каким бы путем оно ни доставалось. И в каком-то смысле я действительно чувствую себя обязанным тетке и двоюродному брату, чьи уроки запомнились мне гораздо лучше многих благородных поучений, услышанных в школе. Ладно же, они еще увидят! – в слезах повторяла моя мать, обнимая меня с такой силой, что я еле дышал, уткнувшись лицом в одну ее утешительно мягкую грудь и сжимая рукой другую. Сквозь тонкую хлопковую ткань просачивался густой теплый аромат молодого женского тела на исходе влажного дня, проведенного большей частью на ногах и на корточках за стряпней или подачей еды. Они еще увидят! Ты будешь стараться больше их всех, выучишь больше их всех, узнаешь больше их всех и станешь лучше их всех. Обещай своей матери, что так оно и будет! И я обещал.

Я поделился этой историей только с двумя людьми, Маном и Боном, выпустив по цензурным соображениям лишь подробность с грудью. Это было в лицее, во время откровенных разговоров наедине с каждым из них. Когда ее услышал Бон – мы вместе ловили рыбу, – он в ярости отшвырнул удочку. Ну попадись мне этот твой братец, сказал он. Я ему так врежу, что у него из носа выльется половина всей его крови. Ман был сдержаннее. Уже тогда он отличался спокойствием, рассудительностью и необычным для подростка диалектико-материалистическим подходом ко всему на свете. После занятий он угостил меня тростниковым соком; мы сидели на обочине с маленькими пакетиками в руках и сосали его через соломинки. Красный конверт, сказал он, – это символ всего плохого. Красный – цвет крови, а они унижают тебя за твою кровь. Еще это цвет судьбы и удачи. Так считают в народе. Но мы побеждаем или проигрываем не из-за судьбы или удачи. Мы побеждаем, если понимаем, как устроен мир и что мы должны сделать. А проигрываем, если другие понимают это лучше нас. Они пользуются своим выигрышным положением, как твои двоюродные братья, и не сомневаются в порядке вещей. Пока этот порядок вещей работает на них, они его сохраняют. Но ты видишь ложь, на которой основан этот порядок вещей, потому что смотришь на него со стороны. Ты видишь красный цвет другого оттенка, чем они. Красный – это не удача. И не судьба. Красный – это революция. Внезапно я тоже увидел красный, и в этой пульсирующей красноте мир стал обретать для меня смысл: я почувствовал, как много разных значений сосуществуют в этом единственном цвете, таком ярком, что его надо расходовать бережно. Если видишь что-нибудь, написанное красным, понимаешь, что впереди тебя ждут горести и перемены.

Мои письма парижской тетке писались не этим тревожным цветом, хотя код, которым я пользовался для своих секретных отчетов, порой меня нервировал. Вот характерный пример из снискавшего столь бурное одобрение “Азиатского коммунизма и тяги к разрушению по-восточному” Ричарда Хедда:

Вьетнамский крестьянин не станет возражать против воздушных налетов, поскольку он аполитичен и думает лишь о том, как прокормить семью и прокормиться самому. Конечно, если его деревню разбомбят, он расстроится, но этот минус с лихвой компенсируется иным обстоятельством: воздушные налеты убеждают его, что нет смысла принимать сторону коммунистов, ибо те не способны его защитить. (стр. 126)

Отталкиваясь от такого рода прозрений, я сообщил, что решил принять предложение Творца, и добавил, что эта работа позволит мне *нанести ущерб вражеской пропаганде*. Кроме того, я зашифровал имена офицеров из генеральского авангарда. На случай, если мое письмо попадет на глаза кому-нибудь помимо тетушки Мана, я расписывал калифорнийскую жизнь в самых радужных тонах. Возможно, какие-то неведомые цензоры читали переписку беженцев, проверяя, нет ли среди них унылых и озлобленных, не желающих признавать американскую мечту своей. Так что я изображал из себя очередного простодушного иммигранта, довольного тем, что он очутился в стране, где погоня за счастьем гарантируется письменно, хотя по зрелом размышлении стоило признать, что радоваться тут особенно нечему. Вот гарантия счастья – это другое дело. Но гарантировать человеку право гоняться за птицей счастья? Это всего лишь право купить лотерейный билет. Кто-то наверняка выиграет миллионы, но

миллионам придется за это заплатить.

Как раз во имя счастья, сказал я тете, я помог генералу в выполнении следующего этапа его плана – создании некоммерческой благотворительной организации, которая могла бы принимать не облагаемые налогом пожертвования. Мы назвали ее Филантропическим братством бывших военнослужащих Армии Республики Вьетнам. В одной реальности Братство служило нуждам тысяч ветеранов, которые превратились в людей без армии, без родины и без своего лица. Короче говоря, оно предназначалось для того, чтобы обеспечить их хотя бы малой толикой счастья. В другой же реальности Братство было прикрытием, позволяющим генералу собирать средства для его Движения от всех, кто пожелал бы их внести, а эти жертвователи по большей части не принадлежали к вьетнамскому сообществу. Главная функция членов последнего, стреноженных своей ролью беженцев в системе Американской мечты, состояла в том, чтобы быть максимально несчастными и таким образом пробуждать в остальных американцах чувство благодарности за собственное счастье. Поэтому основными донорами могли бы стать не эти беженцы, нищие и сломленные, а щедрые индивидуумы и благотворительные фонды, заинтересованные в поддержке старых друзей Америки. Конгрессмен упомянул о своей благотворительной организации в разговоре со мной и генералом у себя в конторе, где мы изложили ему свой замысел и спросили, может ли Конгресс каким-либо способом нам помочь. Его районная контора занимала скромное помещение в двухэтажном торговом центре на одном из крупных перекрестков в Хантингтон-Биче. Окна этого центра, отделанного штукатуркой цвета кофе с молоком, выходили на образчик сооружения, представляющего собой уникальный и самый значительный вклад Америки в мировую архитектуру, – автомобильную стоянку. Некоторые осуждают брутальность социалистической архитектуры, но разве безликость капиталистической многим лучше? Вы можете проехать по бульвару десятки миль и не увидите ничего, кроме автомобильных стоянок и вереницы комплексов с торговыми точками на любой вкус, от зоомагазинов до пунктов раздачи питьевой воды, этнических ресторанчиков и прочих заведений любой мыслимой категории, демонстрирующих успехи малого семейного бизнеса как варианта погони за счастьем. Дабы показать свою скромность и близость к народу, конгрессмен и открыл свою контору в одном из таких комплексов, наклеив на ее окна белые плакаты, на которых сам он был изображен красным, а его имя и слоган его последней кампании, “Правда и верность”, – синим.

Одну из стен в кабинете конгрессмена украшал американский флаг. На другой висели снимки хозяина в обществе разных мастодонтов, светочей Республиканской партии: Рональда Рейгана, Джеральда Форда, Ричарда Никсона, Джона Уэйна, Боба Хоупа и даже Ричарда Хедда, чей облик был знаком мне по фотографии из книги. Конгрессмен угостил нас сигаретами, и некоторое время мы предавались легкой светской беседе, нейтрализуя вредные побочные эффекты табачного дыма вдыханием теплой дружеской атмосферы с витающими в ней любезностями относительно жен, детей и любимых спортивных команд. Обсудили мы и мою грядущую поездку на Филиппины, уже одобренную как генералом, так и генеральшей. Как там писал Маркс? – спросил генерал, задумчиво поглаживая подбородок и готовясь процитировать мои выписки из Маркса. Ах, да. Они не могут представлять себя сами. Их должны представлять другие. Разве не это происходит в данном случае? Маркс говорит о крестьянах, но его слова в той же мере относятся и к нам. Мы не можем представлять себя сами. Нас представляет Голливуд. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, ради того, чтобы нас представили правильно.

Я вижу, куда вы клоните, сказал конгрессмен с ухмылкой. Потом затушил сигарету, оперся локтями на стол и спросил: так что я как конкретный представитель могу для вас сделать? После того как генерал описал Братство и его функции, конгрессмен сказал: прекрасная идея, но Конгресс не захочет иметь с этим ничего общего. Сейчас даже название вашей страны никто не желает слышать.

Разумеется, конгрессмен, сказал генерал. Мы не просим у американского народа официальной поддержки и понимаем, почему такая просьба не вызовет большого энтузиазма.

Но неофициальная поддержка – это совсем другое дело, сказал я.

Продолжайте.

Даже если Конгресс не выделит нам государственных средств, отдельные личности или организации с активной гражданской позицией, например благотворительные фонды, имеют полное право оказать помощь травмированным и нуждающимся ветеранам. Они защищали свободу бок о бок с американскими солдатами, расплачиваясь за нее своей кровью, а то и своими органами.

Вы говорили с Клодом.

Клод и правда заронил мне в голову кое-какие идеи. Еще в Сайгоне он признался, что ЦРУ на рутинной основе финансирует самые разнообразные предприятия. Не открыто, поскольку это может оказаться незаконным или по меньшей мере выглядеть сомнительно, а через подставные организации, контролируемые его агентами или сочувствующими, часто авторитетами из разных областей.

И счастливыми получателями этих денег тоже нередко бывают подставные организации.

Действительно, при таком количестве подставных организаций, которые якобы помогают бедным, или кормят голодных, или распространяют демократию, или поддерживают угнетенных женщин, или обучают художников, порой оказывается трудно разобрать, кто что делает и для кого.

Позвольте мне выступить адвокатом дьявола. Есть много хороших начинаний, которые люди – к примеру, я – хотели бы поддержать. Но скажем честно: деньги, которыми я располагаю, весьма ограничены. Таким образом, неизбежно вступает в игру личная заинтересованность. К примеру, моя.

Личная заинтересованность – это прекрасно. Это инстинкт, который помогает нам выживать. Кроме того, это еще и очень патриотично.

Абсолютно с вами согласен. Итак: какова моя личная заинтересованность в создании организации, подобной вашей?

Я взглянул на генерала. Оно уже готово было сорваться с его губ – одно из двух волшебных слов. Обладай мы тем, что обозначали эти слова, мы мигом выдвинулись бы в первые ряды американских граждан и нам стали бы доступны все несметные сокровища американского общества. К несчастью, у нас имелась лишь узкая лазейка к тому, что скрывалось за одним из них. Словом, означаящим то, чего мы не имели, было *деньги*, коими генерал, возможно, и располагал в количестве, достаточном для его собственных нужд, но уж точно не в таком, чтобы финансировать контрреволюцию. Вторым словом было *голоса*, так что вместе они, *деньги и голоса*, служили чем-то вроде “Сезам, откройся” для глубоких пещер американской политической системы. Но стоило даже половине одного из этих слов слететь с уст моего дальневосточного Али-Бабы, как по бровям конгрессмена пробежала едва заметная рябь. Подумайте о нашем сообществе как о поле для вложения капитала, конгрессмен. Для своего рода долгосрочной инвестиции. Представьте, что мы – это маленький спящий ребенок, который еще не проснулся и не вырос. Да, этот ребенок пока не может голосовать. Он не гражданин. Но когда-нибудь он станет гражданином. Когда-нибудь дети этого ребенка родятся гражданами, и им надо будет за кого-то голосовать. Этим кем-то вполне можете стать вы.

Я уже и сейчас ценю ваше сообщество, генерал. Вы помните, что я говорил на свадьбе.

Это были слова, сказал я. При всем уважении, конгрессмен, слова находятся в свободном доступе для любого желающего. Деньги – нет. Не удивительно ли, что в стране, где больше всего ценят свободу, вещи, находящиеся в свободном доступе, имеют так мало цены? Так позвольте мне быть откровенным. Наше сообщество ценит ваши слова, но в процессе ассимиляции мы усвоили поговорку “деньги решают все”. И если наше участие в американской политике сводится в основном к голосованию, мы должны голосовать за тех, кто добудет нам деньги. Это можете быть вы, но прелесть американского политического устройства в том, что всегда остается выбор, не правда ли?

Но даже если кто-то – к примеру, я – даст вашей организации деньги, парадокс заключается в том, что мне самому нужны деньги на мою предвыборную кампанию и жалование сотрудникам. Иными словами, деньги решают все и там и тут.

Действительно, ситуация запутанная. Но вы говорите об официальных деньгах, за которые следует отчитываться перед государством. Мы же ведем речь о неофициальных, которые попадут к нам, а затем вернутся к вам в самом что ни на есть официальном виде как голоса, предоставленные генералом.

Совершенно верно, сказал генерал. Если моя родина и научила меня чему-нибудь, то как раз обращению с деньгами, которые мой юный друг столь изобретательно назвал неофициальными.

Наш маленький спектакль позабавил конгрессмена – он, шарманщик, наблюдал, как мы, две смысленные обезьянки, прыгаем и клянчим монетки под чужую для нас песенку. Мы были отлично выдрессированы прежним общением с американцами у нас на родине, где все определяли именно неофициальные деньги, то бишь коррупция. Коррупция смахивала на слона из индийской притчи, а я – на одного из слепых мудрецов, который мог пощупать и описать единственную его часть. Озадачивает не то, что можно увидеть и пощупать, а то, чего нельзя ни увидеть, ни пощупать, – например, часть обрисованной нами схемы, находящаяся вне нашего контроля. Я говорю о том, каким именно образом неофициальные деньги должны были течь к нам по официальным каналам, то есть через фонды, в чьем опекуном совете состоял конгрессмен, или его друзья, или друзья Клода. Эти фонды в свою очередь могли быть ширмами для ЦРУ или даже каких-то других, еще более загадочных правительственных и неправительственных организаций, о которых я ничего не знал, так же как Братство служило ширмой для Движения. Все это конгрессмен понимал очень хорошо, когда сказал: надеюсь, в патриотической деятельности вашей организации не будет ничего нелегального. Конечно, он имел в виду, что мы можем заниматься нелегальной деятельностью, но только так, чтобы он об этом не знал. Невидимое почти всегда подчеркивается невысказанным.

Три месяца спустя я уже летел на Филиппины – рюкзак в багажном отсеке над головой, на коленях “Юго-Восточная Азия” Фодора, толстая, как “Война и мир”. О путешествиях в Азию там говорилось следующее:

Зачем ехать на Восток? Для Запада Восток всегда таил в себе особое очарование. Азия необъятна, многолюдна и бесконечно разнообразна – это неисчерпаемый кладезь богатств и чудес... В глазах западных жителей Азия по-прежнему окружена удивительным, волшебным, манящим ореолом – она сулит награды, ради которых поколение за поколением обитателей Запада бросают свою привычную, уютную жизнь и окунаются в мир, абсолютно не похожий на все, что они знали и во что верили прежде. Ибо Азия – это половина мира, другая половина... Да, Восток необычен, однако это вовсе не означает, что его необычность вас обескуражит. Попав туда, вы, возможно, не перестанете считать его загадочным, но именно благодаря этому он так *невероятно* интересен.

Все, что сообщал мой путеводитель, было правдиво и вместе с тем бессмысленно. Восток и впрямь необъятен, многолюден и бесконечно разнообразен, но ведь в точности то же самое можно сказать и о Западе! Да и в утверждении, что Восток – неисчерпаемый кладезь богатств и чудес, подразумевалось, что Запад таковым не

является. Конечно, жители Запада смотрели на свои чудеса и богатства как на нечто естественное, так же как я никогда не замечал ни особого очарования, ни таинственности Востока. Коли уж на то пошло, это Запад часто выглядел загадочным, обескураживающим и *невероятно* интересным – мир, абсолютно не похожий на все, что я знал до своего поступления в колледж. Скучнее всего обитателям Востока казались родные берега, и в этом они ничем не отличались от жителей Запада.

Я перелистал страницы до интересующих меня государств и ничуть не удивился тому, что моя родина названа “опустошенным и разоренным краем”. Как и автор, я тоже не посоветовал бы праздным туристам туда ехать, но меня сильно задело описание наших соседей-камбоджийцев как “приветливых, чувственных, дружелюбных и эмоциональных... Камбоджа – не только одна из самых красивых азиатских стран, но и одна из самых пленительных”. Все это вполне годилось и для характеристики моей родины, а также для большинства других стран с погодными условиями банного типа. Но как я мог судить? Я ведь жил там, а людям, живущим в конкретном месте, не всегда хорошо заметны его прелести и недостатки, полностью открытые незамыленному глазу туриста. Можно выбирать между невинностью и опытом, но нельзя иметь и то и другое. По крайней мере на Филиппинах я должен был ощутить себя туристом, а поскольку Филиппины находились восточнее моей родины, они легко могли показаться мне бесконечно разнообразными. Отзыв путеводителя об этих островах заинтриговал меня еще больше, ибо “здесь объединились старое и новое, Восток и Запад. Они меняются с каждым днем, но традиции по-прежнему берут свое”, – описание, вполне применимое ко мне самому.

И правда, я почувствовал себя дома, как только ступил из прохладного салона самолета во влажную духоту телескопического трапа. Вид полицейских с винтовками на плече, встретивших нас в терминале, тоже вызвал у меня прилив тоски по родине, подтвердив, что я снова очутился в стране, чью тощую выю попирает туфля диктатора. Новые доказательства добавила местная газета: в нескольких дюймах мелкого текста посреди страницы перечислялись нераскрытые убийства диссидентов, найденных на улице с проломленной головой. Распутывая подобные головоломки, обычно натыкаешься на одного головолома – диктатора. Режим чрезвычайного положения одобрил и Дядя Сэм, поддерживающий тирана Маркоса в его намерении подавить не только коммунистическое, но и мусульманское сопротивление. Как и в случае с нашей страной, хотя и в гораздо меньшем масштабе, эта поддержка включала в себя самолеты, вертолеты, танки, пушки, бронетранспортеры, стрелковое оружие, боеприпасы и обмундирование, все добротного американского производства. Добавьте сюда изобилие тропической флоры с фауной и изрядное многолюдье, и вам станет ясно, что Филиппины – прекрасная замена Вьетнаму, почему Творец их и выбрал.

Наш базовый лагерь находился в заштатном городке на севере Лусонской Кордильеры – хребта, аналогичного Аннамской Кордильере между Вьетнамом и Лаосом. Удобства в моем гостиничном номере состояли из струйки воды, которая не столько лилась, сколько бежала вприпрыжку, унитаза с бачком, выпускающим тяжкий вздох всякий раз, как я дергал цепочку, осипшего кондиционера и проститутки по вызову – ее коридорный предложил мне уже при осмотре комнаты. Я вежливо отказался, чувствуя себя цивилизованным западным туристом в бедной стране. Когда он ушел с чаевыми, я лег на сыроватые простыни, тоже напоминающие о доме, где влага проникала повсюду. Моих коллег, с которыми я познакомился вечером в гостиничном баре, здешние погодные условия радовали меньше: никого из них прежде не брал за горло настоящий тропический климат. Как только я выхожу из отеля, мне чудится, будто меня от шеи до яич облизал мой пес, пробурчал унылый художник-постановщик, волосатый дядька из Миннесоты по имени Гарри.

Вайолет еще не приехала, все остальные женщины – тоже. Они вместе с Творцом должны были прилететь только на следующей неделе, тогда как Гарри и вся его

чисто мужская команда потели на Филиппинах уже несколько месяцев. Все это время они оформляли съемочную площадку и подготавливали костюмы, параллельно пользуясь услугами массажных кабинетов и страдая от разнообразных недугов в кишечной и паховой областях. Место основных съемок Гарри показал мне на следующее утро – это был полноценный макет высокогорной деревушки вплоть до сортира на помосте над небольшим прудом. Туалетную бумагу заменяли старые газеты и кучка банановых листьев. Сквозь очко можно было смотреть прямо в обманчиво спокойные воды пруда, где, как с гордостью сообщил мне Гарри, уже развели усатых сомов вроде тех, что ловятся в дельте Меконга. Умеют ведь, подлецы, сказал он. В его голосе слышалось восхищение смекалкой перед лицом житейских невзгод, выработанное поколениями миннесотцев, которых отделяла от голода и каннибализма одна-единственная суровая зима. Говорят, когда кто-нибудь тут присаживается, эти внизу так и кишат.

В детстве я пользовался точно таким же занозистым сооружением и хорошо помнил подробности: стоило занять нужную позицию, как между сомами разгоралась ожесточенная битва за лучшее местечко у обеденного стола. Но вид нашего традиционного сортира никогда не пробуждал во мне ни сентиментальных чувств, ни восхищения экологической сознательностью моего народа. Я предпочитаю смывной туалет, где сидят на гладком фаянсовом унитазе и разворачивают газету у себя на коленях, а не запикивают ее между ягодиц. Бумага, которой Запад подтирает себе задницу, мягче той, в какую сморкается весь остальной мир, хотя это лишь метафорическое сравнение. Весь остальной мир просто не понял бы такого расточительства – сморкаться в бумагу. Бумага предназначена для того, чтобы записывать на ней всякие важные вещи – к примеру, это признание, – а не промокать ею отходы своей жизнедеятельности. Но этот странный, непостижимый Запад полон чудес вроде косметических салфеток и двуслойной туалетной бумаги. Если приверженность этим благам превращает меня в поклонника Запада – что ж, каюсь. Я не питал никакого желания возвращаться в свою деревенскую жизнь с ее ехидными кузенами и бессердечными тетками, равно как и погружаться в романтическую тишь аутентичного отхожего места, рискуя быть укушенным в зад малярийным комаром, что запросто могло случиться с кем-нибудь из вьетнамской массовки. Гарри планировал отправлять их сюда, чтобы кормить рыбу, тогда как члены съемочной группы имели право нежиться в химических туалетах, установленных на твердой почве. Я тоже был членом группы, но с сожалением отклонил великодушное предложение Гарри опробовать новую уборную первым, смягчив свой отказ анекдотом.

Знаете, как мы отличаем на базаре сомиков из таких прудов?

Как? – спросил Гарри, готовясь пополнить свой мысленный список полезных сведений.

Они косые, потому что все время смотрят на чью-то жопу.

Смешно! Гарри захохотал и хлопнул меня по плечу. Пошли, покажу тебе храм. Такая красота! Жалко, что мастера по спецэффектам рано или поздно его взорвут.

Хотя Гарри больше всего нравился храм, для меня главным объектом в деревне стало кладбище. Впервые я увидел его в тот же вечер и вернулся туда через несколько дней после поездки в лагерь беженцев на Батаане, где нанял сотню вьетнамцев для массовки. Не буду скрывать, уважаемый комендант, эта вылазка подействовала на меня удручающе. Конечно, мне было не в новинку встречаться с беженцами, ибо война лишила крова миллионы южан в пределах нашей собственной страны, однако тысячи моих оборванных соотечественников на чужой земле представляли собой какую-то другую человеческую породу. Недаром в западной прессе их нарекли *людьми в лодках* – имя, которое очень подошло бы какому-нибудь племени, недавно обнаруженному в дебрях амазонских джунглей, или загадочному вымершему доисторическому народу, чье существование доказывали только остатки его плавательных средств. В зависимости от точки зрения этих людей в лодках можно было считать либо сбежавшими из дому, либо осиротевшими чадами своей родины. В любом случае, они дурно выглядели и

пахли еще хуже – грязные, шелудивые, с потрескавшимися губами и разнообразными опухлостями, а воняло от них, как на рыболовном траулере с командой из новичков в морском деле, страдающих неполадками пищеварения. Они слишком оголодали, чтобы воротить нос от платы, которую я был уполномочен предложить (доллар в день), – о мере их отчаяния можно судить по тому, что ни один из них – повторю, *ни один* – не рискнул торговаться. Я в жизни не поверил бы, что наступит день, когда мои земляки не будут торговаться, но эти люди в лодках явно хорошо понимали, что основной закон рынка не на их стороне. Особенно расстроил меня разговор с одной из нанятых, юристкой аристократического облика. Я спросил ее, правда ли у нас на родине все настолько плохо, как об этом толкуют. Я бы сформулировала это так, сказала она. До победы коммунистов нас обирали, запугивали и унижали иностранцы. Теперь нас обирают, запугивают и унижают представители нашей собственной национальности. Полагаю, это прогресс.

Услышав ее ответ, я содрогнулся. Последние несколько дней моя совесть мирно мурлыкала – смерть упитанного майора осталась в зеркальце заднего вида моей памяти грязным пятном на гудроне прошлого, – но теперь снова принялась икать. Что творится дома и что я делаю здесь? Мне пришлось вспомнить о напутствии, полученном от миз Мори. Когда я сообщил ей, что лечу на Филиппины, она приготовила для меня прощальный ужин, во время которого ко мне в душу закралось коварное подозрение, что я, возможно, и впрямь влюблен в нее, даже несмотря на свои чувства к Лане. Но, точно предвидев эту слабость с моей стороны, миз Мори превентивно напомнила мне о нашем уговоре насчет свободной любви. Не забывай, что у тебя нет передо мной никаких обязательств, сказала она за апельсиновым мороженым. Ты можешь делать, что пожелаешь. Да-да, сказал я с легкой печалью. Я не мог одним махом убить двух зайцев: иметь и свободную любовь, и мешанскую, как бы мне этого ни хотелось. Или все-таки мог? В любом обществе полно двуязычных хамелеонов, которые на публике говорят и делают одно, а в приватной обстановке – другое. Но миз Мори была не из их числа, и когда мы лежали в полумраке ее спальни, прикинувшись друг к другу после очередного сеанса свободной любви, она сказала: благодаря тебе это будет замечательный фильм. Я верю, что ты сделаешь его гораздо лучше, чем получилось бы у них без тебя. Ты можешь повлиять на образ азиатов в кино, а это немало.

Спасибо, миз Мори.

София, черт бы тебя побрал.

Действительно ли от меня что-то зависело? Что подумали бы Ман и миз Мори, если бы узнали, что по сути я всего лишь подручный, помогающий эксплуатировать своих земляков и товарищей по эмиграции? Их грустные, растерянные лица подточили мою уверенность, напомнив мне о связках сочувствия и сентиментальности, скрепляющих в единое целое мои более жесткие революционные части. На меня даже накатил острый приступ ностальгии, так что, вернувшись на съемочную базу, я отправился искать утешения в созданной Гарри деревне. Пыльные улочки, соломенные крыши и земляные полы хижин с простой бамбуковой мебелью, квохтанье невинных кур, свинарники, где уже похрюкивали в вечерних сумерках настоящие хавроньи, пропитанный влагой воздух, комариные укусы, чваканье случайно подвернувшейся под ногу буйволиной лепешки – от всего этого меня охватила такая мучительная щемящая тоска, что голова пошла кругом. В этой деревне не хватало только одного – людей. Но так же обстояло дело и в реальности: деревушку моей памяти населяли не живые люди, а призраки, прежде всего и главным образом моя мать, умершая на третьем году моей учебы в колледже. Ей было всего тридцать четыре. В первый и единственный раз отец написал мне письмо, краткое и по существу: *твоя мать скончалась от туберкулеза, бедняжка. Ее похоронили на кладбище под настоящей каменной плитой*. Под настоящей каменной плитой! Конечно, я должен был догадаться, что заплатил за нее он, поскольку мать никак не могла сама накопить на такую роскошь. В тупом ошеломлении я перечел письмо дважды, и лишь потом обрушилась боль – в форму моего тела хлынул расплавленный свинец горя. Да,

мама болела, но не настолько серьезно – или она скрывала от меня истинное положение дел? В последние годы мы редко виделись: сначала я был в сайгонском лицее за сотни миль от нее, а после и вовсе за тысячи, на другом континенте. Последний раз я видел ее за месяц до того, как улетел в Штаты, когда вернулся попрощаться с ней перед четырехлетней разлукой. Я не мог позволить себе приехать ни на Тет, наш Новый год, ни на лето, да и вообще когда бы то ни было до самого окончания колледжа, поскольку по условиям стипендии мне полагался только один оплаченный билет в обе стороны. Она мужественно улыбнулась и назвала меня *mon petit écolier* – так называлось печенье с шоколадной глазурью, которое я обожал ребенком и которым мой отец благословлял меня единожды в год на Рождество. На прощанье она подарила мне коробку этого импортного печенья, целое состояние для женщины, в Рождество позволявшей себе лишь надкусить одно с краешку – все остальное получал я вместе с тетрадью и ручкой. Она была почти неграмотна, читала по слогам, а писала с опаской, корявым неразборчивым почерком. К десяти годам я уже все писал за нее. Для матери тетрадь и ручка символизировали все то, чего не сумела достичь она сама, и все то, что по милости Божьей и благодаря счастливому сочетанию генов было словно предназначено мне судьбой. Печенье я съел в самолете, а тетрадь исписал, превратив в свой университетский дневник. Теперь от нее не осталось ничего, кроме пепла. Что же касается ручки, то в ней кончились чернила, а потом я и вовсе ее потерял.

Чего бы я только не отдал, чтобы вернуть эти бесполезные вещи сейчас, когда я стоял на коленях перед материнской могилой, уткнувшись лбом в шершавую надгробную плиту! Не перед могилой в той деревне, где она умерла, а здесь, в Лусоне, на кладбище, сооруженном Гарри лишь достоверности ради. Увидев это поле камней, я сразу попросил разрешить мне использовать по своему усмотрению самое большое надгробие. Я наклеил на плиту черно-белую фотографию матери из своего бумажника – единственное ее уцелевшее изображение кроме тех, что быстро выцветали у меня в мозгу, сравнимое по качеству с плохо сохранившимся неммым фильмом, в сеточке мелких трещинок по краям. Потом вывел красным на серой поверхности ее имя и даты рождения и смерти; математика ее жизни не выглядела бы абсурдно куцей разве что в глазах школьника, которому тридцать четыре года кажутся вечностью. И плита, и сама могила были из цемента, а не из мрамора, но я утешил себя мыслью, что на экране этого никто не разберет. По крайней мере в своей кинематографической жизни она обретет место упокоения, достойное жены мандарина, – суррогат, но, возможно, самую подходящую могилу для женщины, которая никогда не была более чем статисткой для всех, кроме меня.



## Глава 10

Приехав на следующей неделе, Творец закатил себе приветственную вечеринку с барбекю, пивом, бургерами, кетчупом “Хайнц” и пирогом величиной с одеяло. Реквизиторы соорудили из фанеры и папье-маше огромный котел, набили его сухим льдом и посадили туда парочку стриптизерш из бара в окрестностях Субик-Бея, чтобы те изображали белых женщин, которых туземцы варят живьем. Туземцев услужливо вызвали сыграть несколько местных юнцов – они бегали вокруг котла в набедренных повязках и потрясали устрашающего вида копьями, тоже изделиями реквизиторов. Массовку из вьетнамцев ждали только завтра, а пока я, единственный представитель своего народа, бродил в толпе из сотни с лишним актеров и членов съемочной группы и дополнительной сотни филиппинских рабочих и поваров. У местных считалось самым прикольным подойти к котлу и настругать в суп из стриптизерш морковки. Я уже видел, как наши съемки обрастают легендами о голливудской братии, которые потом будут передаваться от поколения к поколению, с каждым разом расцветаясь новыми живописными подробностями. Что же касается массовой, людей в лодках, то о них все забудут. Статисты никогда не запоминаются.

Хотя я не принадлежал ни к массовой, ни к людям в лодках, меня тянуло к ним приливом сочувствия. С другой стороны, струя отчуждения увлекала меня прочь от киношников, хоть я и был одним из них. Короче говоря, я чувствовал себя не в своей тарелке и отреагировал на это привычное чувство привычным для себя образом, вооружившись джином с тоником, первым за вечер; беззащитность должна была вернуться ко мне лишь после четвертой или пятой порции. Вечеринка проходила как под открытым звездным небом, так и под соломенной крышей огромного павильона, нашей столовой. Обменявшись шутками с Гарри, я стал смотреть, как киношники аккумулируются вокруг немногих светлокожих девушек. Тем временем рок-музыканты из Манилы в белокурых париках завели отличный кавер “*Knowing me, knowing you*”, и я подумал, уж не одна ли это из тех филиппинских групп, что зажигали раньше в сайгонских отелях. Творец сидел у края танцплощадки – он беседовал с Трагиком, а Вайолет за тем же столиком флиртвала с Кумиром. Трагик исполнял роль капитана Уилла Шеймаса, а Кумир – сержанта Джея Беллами. В отличие от Трагика, выходца из внебродвейских театров, Кумира взметнула к славе рекламная песенка о жевательной резинке, такая приторная, что на первых же ее нотах у меня начинали ныть зубы. Получив из рук Творца первую в жизни кинороль, он сменил свою воздушную шевелюру, предмет зависти многих подростков, на мужественный бобрик и принялся осваивать военный быт с рвением новоиспеченного члена студенческого братства, который страдает от подавленной сексуальности. В белой футболке и штанах цвета хаки, сидя в плетеном кресле так, чтобы все могли любоваться его идеальными лодыжками – его мокасины были надеты прямо на голые ноги, – он выглядел прохладным и аппетитным, точно мороженое, несмотря на тропическую погоду. Как всякого подлинного Кумира, слава окутывала его естественным ореолом. Ходили слухи, что они с Трагиком не очень-то ладят: последний, актер до мозга костей, предпочитал никогда не выходить не только из своей роли, но и из сценического костюма. Он оставался все в том же мундире и армейских ботинках, которые надел на себя три дня назад, и, возможно, первым в истории кино отказался от вагончика с кондиционером, попросив взамен отвести ему походную палатку. Поскольку бойцы на передовой не мылись и не брились, не делал этого и он, и в результате от него стало пахнуть залежалой рикоттой. На поясе, в кобуре, он носил револьвер сорок пятого калибра, и хотя все остальное оружие в лагере заряжали разве что холостыми, в его пушке были настоящие патроны – по крайней мере, так гласил другой слух, наверняка пущенный самим Трагиком. Они с Творцом обсуждали Феллини, тогда как Вайолет с Кумиром предавались воспоминаниям о ночном клубе на Сансет-Стрип. Никто не обратил на меня никакого внимания, и я бочком отполз к соседнему столику, где сидели актеры-вьетнамцы.

Или, точнее говоря, актеры, играющие вьетнамцев. Мои замечания побудили Творца действительно изменить наш кинообраз, и не просто отредактировать

крики, которые теперь изображались по всему сценарию как “АЙ-Й-Я-А-А-А-А!!!”. Главной переменной стало введение трех новых персонажей вьетнамской национальности с настоящими репликами: старшего брата, его сестры и их младшего братика, чьи родители были зверски убиты Кингконгом. Старший брат Бинь, прозванный “зелеными берегами” Бенни, ненавидел Кингконг всей душой. Он обожал своих американских спасителей и работал у них переводчиком. Вместе с одним чернокожим “зеленым берегом” ему предстояло встретить в лапах Кингконга особенно мучительную смерть. Сестра, Ким Май, влюблялась в юного красавца-идеалиста Джея Беллами. Затем ее похищал и насиловал Кингконг, что служило “зеленым берегам” моральным оправданием за полное и беспощадное истребление Кингконга. Младшего же брата, мальчишку, в финальной сцене увенчивали бейсболкой “Янкиз” и поднимали на самолете в небеса. Его конечным пунктом назначения была семья Джея Беллами в Сент-Луисе, уже приготовившая ему подарки – золотистого ретривера и прозвище Дэнни-Бой.

Все-таки лучше, чем ничего, правда?

По своей наивности я полагал, что раз эти роли созданы для вьетнамцев, для них найдут вьетнамских актеров. Но нет. Ничего не вышло, сказала мне Вайолет вчера, когда мы улучили минутку, чтобы вместе глотнуть на веранде отеля холодного чая. Мы честно искали, но квалифицированных актеров-вьетнамцев взять просто негде. Большинство из них любители, а считанные профессионалы немилосердно переигрывают. Наверное, так их учили. Сами можете убедиться. Но только не торопитесь с выводами, пока не увидите, как играют эти. К несчастью, умение не торопиться с выводами никогда не было моей сильной стороной. По сути, Вайолет сказала мне, что мы не можем представлять себя сами, нас должны представлять другие – в данном случае другие азиаты. Мальчуган, взятый на роль Дэнни-Боя, происходил из уважаемой семьи актеров-филиппинцев, но если он выглядел как вьетнамец, то я мог с успехом сойти за папу римского. Вдобавок, он был попросту слишком пухлым и откормленным для своего героя – обычные деревенские мальчишки вырастали, даже не попробовав иного молока, кроме материнского. Этот юный талант покорила всех тем, что, едва появившись в лагере, по наущению своей мамыши исполнил писклявым голосом знаменитую песню “Feelings”. Сейчас этот купидончик потягивал лимонад, а Венера сидела рядом и обмахивала его веером. Ее восхищение сыном было так велико, что в его орбиту оказался втянут и я: пока он пел, она уверяла меня, что в один прекрасный день – попомните мои слова! – он выйдет на бродвейскую сцену. Слышите? Ни чуточки не картавит, прошептала она. Ему ставили дикцию! Теперь он говорит совсем не как филиппинец. Взяв пример с Трагика, Дэнни-Бой тоже решил вжиться в роль и попросил, чтобы его звали Дэнни-Боем вместо настоящего имени, которое я все равно тут же забыл.

Названный старший брат мальчика терпеть его не мог, да оно и понятно: стоило им появиться где-нибудь вдвоем, как Дэнни-Бой с издевательской легкостью перетягивал на себя всеобщее внимание. Для Джеймса Юна, самого известного члена актерского состава после Трагика и Кумира, это было особенно обидно. Юна, Универсального Азиата, знали в лицо почти все, но имени его никто не помнил. Люди говорили: а, это тот китаец из сериала про полицейских, или: это садовник-японец из той комедии, или: ну, тот восточный человек, как его там. На самом деле Юн был американским корейцем лет тридцати пяти, который благодаря своей обобщенно-приятной внешности без труда притворялся уроженцем практически любой азиатской страны в возрастном диапазоне от двадцати с хвостиком до неполных пятидесяти. Он сыграл уйму телевизионных ролей, но, вероятнее всего, ему было суждено остаться в истории благодаря чрезвычайно популярному ролику, рекламирующему жидкое моющее средство “Блеск”. В каждой очередной версии этого ролика очередная домохозяйка приходила в отчаяние при виде очередного комплекта безнадежно запакощенной посуды, но ее мудрый слуга, лукаво посмеиваясь, предлагал ей в качестве спасения не свое мужское естество, а неизменный флакон “Блеска”. Изумленная и счастливая, домохозяйка спрашивала его, как он разузнал про этот чудодейственный эликсир, после чего он поворачивался к камере, подмигивал, улыбался и произносил слоган, известный

ныне и старому и малому: Конфуций сказал: кто “Блеска” купил, тот чисто помыл!

Неудивительно, что Юн был алкоголик. Степень красноты его лица служила градусником, в точности отражающим количество алкоголя внутри; сейчас она показывала, что спиртное поднялось от его пяток до языка, мозга и органов зрения, ибо он флиртовал с актрисой, исполняющей роль его сестры, хотя оба не были гетеросексуалами. Ко мне Юн подкатился в баре гостиницы при молчаливых свидетелях – дюжине сырых устриц, наостривших свои влажные раскрытые ушки, чтобы подслушать, как он будет меня соблазнять. Извини, сказал я, когда он положил руку мне на колено, но я никогда не замечал за собой такой склонности. Юн пожал плечами и убрал руку. Я всегда предполагаю, что человек по крайней мере латентный гомосексуалист, пока не доказано обратное. В любом случае, попытка не пытка, сказал он, одаряя меня улыбкой, абсолютно не похожей на мою собственную. Изучая свою улыбку и ее влияние на людей, я выяснил, что она обладает ценностью второразрядной глобальной валюты вроде франка или марки. Но улыбка Юна была настоящим золотым стандартом – такая яркая, что, кроме нее, ты уже ничего вокруг не видел, и такая неотразимо-обаятельная, что сразу становилось ясно, отчего представлять “Блеск” доверили именно ему. Я с удовольствием угостил его выпивкой, дабы показать, что меня вовсе не задели его заигрывания, а он в свою очередь угостил меня, и так мы корешились в тот вечер и почти во все последующие.

Как Юн попытал счастья со мной, так и я попытал счастья с актрисой, Азией Су. Подобно мне, она была смешанного происхождения, хотя и гораздо более благородного: ее мать-британка специализировалась на дизайне женской одежды, а отец, китаец, держал отель. Родители и вправду назвали ее Азией, полагая, что природа просто обязана наделить плод их необычного союза уникальными качествами, которые позволят ему достойно представлять весь этот многолюдный и бесконечно разнообразный континент. Перед любым мужчиной в лагере, за исключением Джеймса Юна, эта девушка имела три несправедливых преимущества: ей едва перевалило за двадцать, она была моделью высокого полета и лесбиянкой. Никто из мужчин, включая меня, не сомневался, что именно он обладатель волшебной палочки, способной вернуть ее в лоно гетеросексуальности. Если же это оказалось бы невозможно, нас вполне устроил бы паллиативный вариант: убедить ее, что мы целиком и полностью свободны от предрассудков, а потому нас совсем, ну вот ни на столечко не оскорбит зрелище ее интимных ласк с другой женщиной. Отдельные умники уверенно заявляли, что все модели высокого полета занимаются сексом только друг с дружкой. За этим крылась примерно такая логика: будь мы сами моделями высокого полета, с кем мы скорее предпочли бы заниматься сексом – с мужчинами вроде нас или с женщинами вроде них? Подобная постановка вопроса слегка подтачивала мужское эго, поэтому я приблизился к Азии у гостиничного бассейна с некоторым трепетом. Привет, сказал я. Возможно, она прочла что-то по моим глазам или меня выдал язык тела, поскольку, не успев я продолжить, как она опустила книгу “Чайка по имени Джонатан Ливингстон” и сказала: вы милый, но не в моем вкусе. И это не ваша вина. Вы мужчина. Оторопев, я сумел выдавить из себя только одно: попытка не пытка. Она согласилась, и мы тоже стали друзьями.

Таковы были главные действующие лица “Деревушки”. Я перечислил их всех в письме к тете, сопроводив его полароидными снимками со мной в обществе каждого из них и даже не слишком довольного Творца. Туда же были вложены снимки лагеря беженцев и его обитателей, а также несколько газетных вырезок – ими перед отъездом снабдил меня генерал. Убийства! Грабежи! Насилие! Каннибализм? – гласили заголовки. Голосом, в котором поочередно и все откровеннее сквозили ужас и торжество, генерал прочел мне, что с пляжей и из бухточек нашей родины до полудружественных берегов Гонконга, Индонезии, Малайзии и Филиппин добирается лишь около половины всех кораблей с беженцами – каждый второй топят шторма и пираты. Вот! – воскликнул генерал, потрясая газетой. Теперь вы понимаете, какую чистку устроили эти коммунистические ублюдки у нас в стране! В первом своем письме тетке Мана я

написал обычными чернилами, как грустно мне читать эти истории. Невидимыми же добавил вопрос: действительно ли это происходит? Или это пропаганда? А вы, комендант, – как-по-вашему, что за мечта вынуждает этих несчастных пускаться в море на дырявых суденышках, которые заставили бы ужаснуться Христофора Колумба? Если наша революция была совершена ради людей, почему часть этих людей голосует так – побегом? В ту пору я не имел ответов на эти вопросы, и только теперь начинаю кое-что понимать.

На съемочной площадке все шло гладко до Рождества. К этому времени погода стала значительно прохладнее, хотя американцы по-прежнему жаловались, что чувствуют себя как под постоянным теплым душем. Большинство сцен, снятых до декабря, относились к разряду небоевых: сержант Беллами прибывает во Вьетнам, и у него из рук выхватывает фотоаппарат воришка на мотоцикле (этот эпизод снимали на площади ближайшего городка, закамуфлированной под центр Сайгона с помощью такси “рено”, плакатов с аутентичными надписями по-вьетнамски и крикливых уличных торговцев); капитана Шеймаса вызывают в том же городке в штаб, где генерал отчитывает его за донос на коррумпированного полковника АРВ и в наказание отправляет защищать деревушку; крестьяне в буколических сценах из сельской жизни сажают рис на залитых водой полях, а “зеленые береты” неумоимо управляют возведением укреплений; мрачный “зеленый берет” выцарапывает на своей каске “Я верю в Бога, а Бог – в напалм”; капитан Шеймас произносит вдохновляющую речь перед деревенскими ополченцами в рваных сандалиях и с ржавыми винтовками устаревшего образца; сержант Беллами проводит с теми же ополченцами военные занятия, обучая их стрелять по мишеням, ползать под колючей проволокой и устраивать Г-образные ночные засады; и наконец, между защитниками деревушки и невидимым Кингконгом происходят первые схватки, сводящиеся в основном к пальбе в темноту из единственной на всю деревню мортиры.

В мои обязанности входило объяснять членам массовки, где выдают костюмы и когда плестись на съемки; кроме того, я должен был следить, чтобы их кормили привычной едой, чтобы им еженедельно выплачивали их скудные доллары и чтобы на все предназначенные для них роли хватало людей. Большинство этих ролей подпадали под категорию местного жителя, то есть Возможно-невинного-но-может-быть-и-вьетконговца-которого-возможно-убьют-за-то-что-он-невинный-или-за-то-что-он-вьетконговец. Многие статисты уже хорошо знали эту роль и потому не нуждались в моей психологической подготовке к тому, что их взорвут, лишат конечностей или просто застрелят. Следующей по размеру категорией были солдаты Армии Республики Вьетнам, то бишь борцы за свободу. Их хотели играть все члены массовки мужского пола, даже несмотря на то, что с точки зрения американских военных это была категория Возможно-друга-но-может-быть-и-врага-которого-возможно-убьют-за-то-что-он-друг-или-за-то-что-враг. При немалом количестве ветеранов АРВ среди статистов я легко набирал исполнителей на эти роли. Самой хлопотной была категория партизана Национального освободительного фронта, презрительно именуемого вьетконгом, то есть Возможно-заблудшего-националиста-но-может-быть-и-ненавистного-красного-коммуниста-но-в-общем-какая-разница-так-что-мочи-его-(ее) – по-любому. Никто не хотел быть вьетконговцем, то бишь борцом за свободу, и даже притворяться таковым. Борцы за свободу из числа беженцев ненавидели этих других борцов за свободу с обескураживающей, хотя и понятной истовостью.

Как всегда, проблему решили деньги. После настоятельных убеждений с моей стороны Вайолет согласилась удвоить плату тем, кто будет изображать вьетконговцев, – стимул, побудивший этих борцов за свободу забыть, что играть других борцов за свободу еще недавно казалось совершенно неприемлемым. Доля их прежнего отвращения объяснялась тем, что кто-то из них должен был пытаться Биня и насиловать его сестру. Мои отношения с Творцом сильно пострадали в связи с последней сценой, хотя он был уже и так недоволен моим заступничеством за статистов по части их жалованья. Понимая, что ничего хорошего ждать не стоит, я все-таки присел за его столик во время ланча накануне того дня, когда должны были снимать сцену изнасилования Ким Май, и поинтересовался,

действительно ли это так уж необходимо. Вам не кажется, что это перебор? – спросил я. Маленькая порция шоковой терапии еще никогда не вредила зрителям, ответил он, направив на меня вилку. Иногда им полезно дать пинка по отсиженной заднице, чтобы они хоть что-нибудь почувствовали. Отхлестать, так сказать, по обеим щекам, и я не лицо имею в виду. Это война, а на войне иногда насилуют. И я обязан это показать, а не слушать всяких холуев.

Этот беспричинный выпад ошеломил меня – слово *холуй* заиграло в моем мозгу всеми пронзительными красками уорхоловской картины. Я не холуй, наконец выговорил я. Он фыркнул. Разве не так ваши соотечественники называют тех, кто помогает белым людям вроде меня? Или вам больше нравится *неудачник*?

Тут мне трудно было с ним не согласиться. Тот, кем я себя позиционировал, и вправду относился к разряду неудачников, проигравших войну, и то, что американцы тоже ее проиграли, дела не меняло. Ладно, я неудачник, сказал я. Неудачник, потому что поверил всему, что ваша Америка обещала таким, как я. Вы пришли и сказали, что мы друзья, но тогда мы не знали, что вы никогда не будете доверять нам и уж тем более уважать нас. Только неудачники могли не видеть того, что сейчас вполне очевидно: что вы никогда не захотите дружить с теми, кто по-настоящему хочет с вами дружить. В глубине души вы понимаете, что поверить вашим обещаниям могут только дураки и предатели.

Не думайте, что он дал мне высказаться без помех. Это было не в его стиле. Забавно! – обронил он вскоре после начала моей речи. Присосался к моей титке и еще читает мне мораль. Всезнайка, который ни хрена не знает, мудрила без буквы “р”. Знаешь, у кого еще есть мнение обо всем, что никого больше не волнует? У моей слабоумной бабушки. Думаешь, если ты учился в колледже, люди будут тебя слушать? Получил своего сраного бакалавра, так радуйся и молчи в тряпочку.

Возможно, я зашел чересчур далеко, предложив ему совершить фелляцию при моем пассивном участии, но и он зашел чересчур далеко, пригрозив меня убить. Он всегда угрожает кого-нибудь убить, сказала Вайолет, когда я сообщил ей о случившемся. Это он фигурально. Обещание выковырять мне глаза ложкой и принудительно накормить ими меня самого едва ли можно было счесть фигуральным, так же как и сцену с изнасилованием Ким Май. Нет – если судить по сценарию, это был плод жестокого воображения. Что же касается собственно съемок этого эпизода, то на них присутствовали только Творец, горстка избранных членов группы, четверо насильников и сама Азия Су. Мне было суждено увидеть его лишь через год с небольшим в тесном бангкокском кинотеатре. Зато две недели спустя я наблюдал за мастерским перформансом Джеймса Юна, которого обнажили до пояса и привязали к доске. Доску оперли на тело статиста, изображающего убитого ополченца, так что голова Юна, имевшего несколько встревоженный вид, откинулась к земле. В такой позе его должны были подвергнуть пытке водой те же четыре вьетконговца, что изнасиловали Ким Май. Стоя около Юна, Творец командовал статистами с моей помощью, хотя на меня самого не взглянул ни разу: напрямую мы с ним теперь не общались.

По сюжету в этом месте у вас происходит первый контакт с врагом, сказал Творец насильникам. Он выбрал их за особую свирепость, проявленную в различных сценах, а также за благоприятные физические данные – кожу цвета гнилых бананов и рептильи щелочки глаз. Вы устроили засаду вражескому дозору, и в живых остался только один. Это прислужник капиталистов, лакей, прихлебатель, марионетка. Для вас нет ничего отвратительнее, чем продать свою родину за горсть риса и несколько долларов. Ваш собственный батальон наполовину уничтожен. Сотни ваших братьев погибли, и еще сотни погибнут в надвигающейся битве. Вы готовы пожертвовать собой ради отечества, но вас гложет понятный страх. И вот появляется этот негодяй, этот предатель с желтой кожей, но белой душой. Вы ненавидите эту сволочь. Вы твердо намерены заставить его сначала признаться во всех своих реакционных грехах, а потом сполна расплатиться за них. Но прежде всего – запомните! – старайтесь получить удовольствие, будьте самими собой и ведите себя естественно!

Эти инструкции вызвали у статистов некоторое недоумение. Самый высокий, по званию сержант, спросил: он хочет, чтобы мы пытали этого парня и притворялись, что нам это приятно?

Самый низенький сказал: но при чем тут “ведите себя естественно”?

Высокий сержант сказал: да он все время так говорит.

Но вести себя как вьетконговец неестественно, сказал Коротышка.

Все ясно? – спросил Творец.

Да, что тут неясного? – добавил Джеймс Юн.

Йес, откликнулся высокий сержант. Ви о’кей. Ви намбер ван. Потом он снова перешел на вьетнамский и сказал остальным: слушайте. Какая разница, что он говорит? Он хочет, чтобы мы вели себя естественно, но мы будем вести себя неестественно. Мы же гребанный вьетконг. Поняли?

Они поняли его отлично. Это была система Станиславского во всей своей красе: четверо негодующих беженцев и бывших борцов за свободу вживаются в омерзительный психологический образ борцов за свободу с другой стороны. Стоило включить камеру, как эта великолепная четверка без дальнейших понуканий Творца принялась вопить и брызгать над объектом своей ненависти ядовитой слюной. По сценарию, герой Юна Бинь, он же Бенни, угодил в плен во время вылазки под командованием единственного негра среди американских десантников, сержанта Пита Финча. Как объяснялось ранее, Финч сумел проследить свою генеалогию до Аттикуса Финча, который два века тому назад принял мученическую смерть от британских “красных мундиров” в Бостоне и стал первым знаменитым чернокожим, отдавшим жизнь за дело белых людей. Это объяснение немедленно скрепляло жребий Финча роковой печатью. Когда наступал его час, он попадал ногой в ловушку – капкан из бамбуковых шипов. Затем остаток взвода ополченцев сноровисто истреблялся, а Финч с Бинем отстреливались, пока первый не терял сознание, а у второго не кончались патроны. Схватив их, вьетконговцы совершали над Финчем одно из своих жутких, чудовищных надругательств – а именно кастрировали его и засовывали отрезанное ему в рот. То же самое, как рассказывал нам Клод на курсе по ведению допросов, учиняли некоторые племена коренных американцев со своими непрошеными белыми гостями, хотя представляли собой совсем иную расу, отделенную от нас тысячами миль и сотней с лишним лет. Полюбуйтесь, сказал он, демонстрируя нам архаичное черно-белое изображение этой дикарской расправы. За ним последовал другой слайд – черно-белая фотография с трупом солдата американской армии, изуродованным вьетконговцами аналогичным образом. Теперь-то вы видите, как много общего у разных народов? – спросил Клод, переходя к очередному слайду: солдат американской армии мочится на труп вьетконговца.

С этого момента судьба Биня оказывалась в руках одного из вьетконговцев, решившего израсходовать свои скудные запасы воды и мыла не на гигиенические процедуры, а на пытку. Привязанному к доске Джеймсу Юну (или, во время других сеансов съемок, дублирующему его каскадеру) обматывали голову грязной тряпкой. Затем один из партизан наполнял водой походную флягу Финча и медленно опорожнял ее, держа примерно в футах над головой пленника. К счастью для Юна, это происходило лишь на съемках с дублером. Последнему затыкали под тряпкой ноздри и вставляли в рот трубочку, поскольку дышать под водопадом, конечно, невозможно. Тебе кажется, что ты тонешь, – во всяком случае, так объясняли мне заключенные, пережившие этот вид допроса с пристрастием, который охотно практиковали еще испанские инквизиторы. Процедура повторялась снова и снова, и пока вода низвергалась на лицо несчастного Биня, все вьетконговцы толпились вокруг, пиная его, толкая и осыпая проклятиями – разумеется, понарошку. Как же он, бедный, метался! Как булькал! Как ходили ходуном его грудь и плечи! На открытом месте, под солнцем, жгучим, как Софи Лорен, потеть от усердия скоро начинал не только пленник, но и сами статисты.

Мало кто понимает, что избивать людей – тяжелая работа. Многие следователи на моей памяти повреждали себе связки или сухожилия, получали вывихи и растяжение спины, даже ломали пальцы рук и ног или другие косточки стоп и кистей, не говоря уж о сорванном голосе. Ведь пока узник кричит, плачет, задыхается, признается (или делает вид, что признается) в своих преступлениях, а то и просто лжет, следователь должен выдавать непрерывный поток ругани, оскорблений, насмешек и каверзных вопросов с концентрацией и изобретательностью женщины, оказывающей секс-услуги по телефону. Не повторяться при этом очень трудно, и по крайней мере здесь успехи статистов оставляли желать лучшего. Но винить их за это не стоило: они не были профессионалами, а в сценарии говорилось лишь, что “вьетконговцы проклинают и унижают Биня на своем языке”. Вынужденные импровизировать, статисты продолжали гортанно выкрикивать на вьетнамском одни и те же слова, которые прочно засели в голове у всех участников тогдашних съемок. Большинство киношников так и не узнали, как сказать по-вьетнамски “спасибо” или “пожалуйста”, однако к концу экспедиции все знали, как будет “я имел твою мать” или “человек, поимевший свою мать”, в зависимости от того, как перевести *ду ма*. Я сам никогда особенно не увлекался сквернословием, но не мог не восхищаться, глядя, как статисты выжимают из лимончика этого выражения последние капли сока, употребляя его как существительное, глагол, прилагательное, наречие и междометие, причем с различными интонациями не только гнева и ненависти, но порой и сочувствия. *Ду ма! Ду ма! Ду ма!*

Затем, после избиения, проклятий и пытки водой, с головы Биня сдирали мокрую тряпку, являя зрителям лицо Юна, понимающего, что ему вряд ли еще когда-нибудь представится такая возможность взять “Оскара” за лучшую мужскую роль второго плана. От него уже много раз избавлялись на экране как от безликого уроженца Востока, но ни одна из тех смертей не была такой мучительной, такой благородной. Смотри-ка, сказал он мне как-то вечером в гостиничном баре. Мне всаживал нож в спину Эрнест Боргнайн и стрелял в голову Фрэнк Синатра, меня убивал кастетом Роберт Митчем, душил Джеймс Коберн и вешал один характерный актер, которого ты не знаешь, а еще один сталкивал с небоскреба, я выпрыгивал из иллюминатора цеппелина и попадал в лапы к китайским гангстерам, которые запихивали меня в мешок с бельем и топили в Гудзоне. Ах да, еще мне выпускал кишки взвод японцев. Но каждый раз это была быстрая смерть. Каждый раз мне доставалось всего несколько секунд экранного времени, и то в лучшем случае. Но теперь – и он снова блеснул своей ошеломительной улыбкой, достойной королевы красоты в момент коронавания, – теперь им придется убивать меня целую вечность.

Итак, когда тряпку разматывали – а в течение допроса это происходило многократно, – Джеймс Юн озирался вокруг с жадным упоением человека, понимающего, что хотя бы на сей раз он не останется в тени бесконечно обаятельного непобедимого херувимчика, чья мать запретила ему смотреть на это безобразие. Он морщился, он стонал, он хрипел, он кричал, он вопил, он рыдал – и все настоящими слезами, берущимися из какого-то неиссякаемого источника в недрах его тела. После этого он орал, визжал, вопил, извивался, корчился, выгибался, метался и бился в судорогах, а завершилось все это тем, что его вырвало густой, кисло пахнущей массой, недопереваренным завтраком из яичницы с чоризо. Когда был снят первый продолжительный дубль, на поляне воцарилась благоговейная тишина – члены группы ошеломленно взирали на то, что осталось от Джеймса Юна, измороженного, как нахальный раб на американской плантации. Сам Творец взял влажное полотенце, опустил на колени около все еще привязанного к доске Юна и бережно стер блевотину с его лица. Это было великолепно, Джимми, просто великолепно.

Спасибо, пробормотал Юн.

А теперь давай еще разок. Ну, знаешь, на всякий случай.

На самом деле пришлось сделать еще шесть дублей, и только потом Творец заявил, что он удовлетворен. В полдень, после третьего дубля, Творец предложил Юну

сделать перерыв на ланч, но тот содрогнулся и прошептал: не надо меня отвязывать. Меня же пытаются. Пока вся команда прохлаждалась под мирной сенью столовой, я присел рядом с Юном и предложил прикрыть его зонтиком, но он с черепашным упорством покачал головой. Нет, черт возьми, я вытерплю это до конца. Подумаешь, всего час на солнце! Парням вроде Биня досталось больше, правда? Гораздо больше, подтвердил я. По крайней мере, мучения Юна должны были кончиться сегодня, тогда как настоящих узников истязали по многу дней, недель, месяцев и даже лет. Согласно данным нашей разведки, так обстояло дело с теми, кого брали в плен мои товарищи-коммунисты, но то же самое происходило и с теми, кого допрашивали мои коллеги из Особого отдела. Что было причиной таких долгих допросов в Особом отделе – исполнительность полицейских, нехватка у них воображения или склонность к садизму? И то, и другое, и третье, отвечал Клод. И все же скудость фантазии и садизм противоречат исполнительности. Он читал лекцию группе сотрудников Особого отдела в Национальном следственно-допросном центре; немигающие глаза окон нашего класса смотрели на сайгонские доки. Все двадцать курсантов этой подпольной специальности, включая вашего покорного слугу, раньше подолгу служили в армии или полиции, но нас все еще подавлял его авторитет, его манера наставлять нас с апломбом профессора Сорбонны, Гарварда или Кембриджа. Грубая сила – это не метод, джентльмены, если ваша задача состоит в том, чтобы добиться информации и сотрудничества. Ответы, которые вы получите с помощью грубой силы, будут плохими, лживыми, обрывочными или – что хуже всего – теми, какие, по мнению арестованного, вы хотите от него услышать. Он скажет вам что угодно, лишь бы прекратить боль. Все это – Клод пренебрежительно махнул рукой в сторону стола с нашими специфическими орудиями труда, большей частью французского производства, среди которых были дубинка, пластмассовая канистра из-под бензина, наполненная мыльной водой, плоскогубцы и электрогенератор с ручным заводом для полевой телефонной связи, – все это ерунда. Допрос не наказание. Допрос – это наука.

Ваш покорный слуга и прочие начинающие прилежно занесли эти откровения в свои тетрадки. Клод был нашим американским инструктором, и мы ждали от него и других американских инструкторов самых передовых знаний по нашей специальности. И он не разочаровал нас. При допросе необходимо в первую очередь думать о духе, а не о теле, сказал он. На теле вы можете не оставить ни единой отметины – ни синяка, ни царапины. Неожиданно, правда? И тем не менее. Мы потратили миллионы, чтобы доказать это лабораторным путем. Есть базовые принципы, но применяются они творчески, с поправками на индивидуальность пленника и особенности фантазии следователя. Дезориентация. Сенсорная депривация. Включение механизмов самобичевания. Эффективность этих методов убедительно продемонстрирована лучшими учеными мира – американскими. Мы показали, что под действием определенных стимулов сознание человека сдаётся быстрее, чем тело. А это? – снова презрительный жест в сторону того, что теперь казалось нам кучей галльского барахла, орудиями старосветских варваров, а не ученых нового мира, годными разве что для средневековой пытки, но уж никак не для современного допроса. Чтобы довести вашего подопечного до кондиции с помощью всего этого, вам понадобятся целые месяцы! Но наденьте ему на голову мешок, обмотайте руки марлей, заткните уши и посадите в абсолютно темную камеру на неделю, и вместо человеческого существа, способного к сопротивлению, вы получите лужу воды.

Воды, сказал Джеймс Юн. Пожалуйста, можно мне глоток воды?

Я принес ему воды. Несмотря на водяную пытку, его губ достигала только та вода, которой была пропитана тряпка, мокрая, по его словам, ровно настолько, чтобы через нее еле удавалось дышать. Поскольку руки у него были по-прежнему связаны, я стал лить воду тонкой струйкой ему в рот. Спасибо, пробормотал он, как всякий узник, которому по милости его мучителя достается капля воды, или кроха еды, или минутка сна. Впервые я обрадовался голосу Творца, крикнувшего вдалеке: ладно, давайте покончим с этим, чтобы Джимми мог нырнуть в бассейн!



К последнему дублю, два часа спустя, Юн выглядел поистине душераздирающе: все его лицо было в поту, слюнях, блевотине и слезах. Я уже видел это прежде – шпионка, пособница коммунистов. Но то было по-настоящему, настолько по-настоящему, что мне пришлось усилием воли прогнать из памяти ее лицо. Я сосредоточился на вымышленном состоянии предельной деградации, которое Творец желал воплотить в следующей сцене – она тоже требовала нескольких дублей. В этой сцене, последней в фильме для Джеймса Юна, партизаны, разъяренные тем, что им так и не удалось сломить пленника и заставить его признаться в своих преступлениях, собираются вышибить ему мозги лопатой. Однако, утомившись от всего предыдущего, они решают сначала передохнуть и выкурить по сигаретке “Мальборо” из пачки Финча. К несчастью для них, они недооценили силу духа их жертвы – подобно многим своим южным собратьям, будь они борцами за свободу или борцами за свободу, Бинь думал лишь о том, как вырваться из пут тирании, а ко всему прочему относился с глубоким пофигизмом калифорнийского серфера. Когда он остался в одиночестве без полотенца на голове, уже ничто не мешало ему откусить себе язык и захлебнуться в фонтане собственной крови, серийно выпускаемой жидкости по цене в тридцать пять долларов за галлон, два галлона которой уже использовали, чтобы разукрасить Юна и землю около доски. Для мозгов же Гарри был вынужден состряпать самодельное церебральное вещество из овсяной каши и агара в только ему известной пропорции – эту серую, комкастую, студенистую массу он любовно размазал по земле вокруг головы Юна. Оператор приблизился к Юну почти вплотную, чтобы снять выражение его глаз. Оттуда, где я стоял, его видно не было, но я мог предположить, что это некая подобающая святому смесь экстатической боли и болезненного экстаза. Несмотря на все страдания, выпавшие на его долю, он так и не произнес ни слова – по крайней мере разборчивого.

## Глава 11

Чем дольше я работал над фильмом, тем отчетливей чувствовал себя не только техническим консультантом, занятым в артпроекте, но и тайным агентом в недрах пропагандистской машины. Творец, конечно, считал свое произведение чистым искусством, но кто из нас заблуждался – он или я? Голливуд, эта артбатарея Америки, ведет постоянный обстрел всего остального мира, разрушая его ментальные укрепления своими хитами, блокбастерами и градом мелкокалиберной пиротехники. И неважно, какие истории скармливают зрителям. Важно, что они смотрят и любят американские истории – вплоть до того дня, когда и их, возможно, начнут бомбить самолеты, которые они видели в американских фильмах.

Ман, разумеется, понимал, что Голливуд играет роль пусковой платформы для межконтинентальных баллистических ракет американизации. Я письменно поделился с ним тревогой по поводу своего участия в работе над фильмом и получил на редкость подробный ответ. Сначала он откликнулся на мои переживания о беженцах: *Слухи о наших действиях преувеличены. Помни стратегию Партии. Врагов Партии необходимо ликвидировать.* Затем прокомментировал мою боязнь превратиться в коллаборациониста: *Вспомни Мао в Яньане.* И всё – но этого оказалось довольно, чтобы прогнать черного ворона сомнения, угнездившегося на моем плече. Когда американский президент в последний раз произносил хотя бы краткую речь о важности искусства и литературы? Я не мог этого вспомнить. Однако Мао, выступая в Яньане, заявил, что искусство и литература играют в деле революции ключевую роль. И наоборот, предупредил он, искусство и литература могут служить орудиями угнетения. Искусство нельзя отделять от политики, а политика нуждается в искусстве, чтобы влиять на умы людей, развлекая их. Советом не забывать о словах Великого Кормчего Ман дал мне понять, что мое сотрудничество с киношниками имеет немалое значение. Возможно, сам фильм не имел большого значения, но этого нельзя было сказать о том, что он представлял, – обо всем Американском Кинематографе. Наш фильм мог вызвать у зрителя разные эмоции, от восторга до отвращения, или оставить его равнодушным, как пустая выдумка, но суть была не в этом. Суть была в том, что, заплатив за билет, зритель позволял американским идеям и ценностям просочиться в незащищенную ткань своего мозга и податливую почву своей души.

Когда Ман впервые обсудил со мной эти вопросы – это было в нашей подпольной учебной ячейке, – меня поразила мудрость Мао и моего друга. Я ходил в лицей и никогда не читал Мао, никогда не думал, что искусство и литература могут иметь хоть какое-то отношение к политике. Ман вовлек меня и третьего члена нашей группы, очкастого юнца по имени Нго, в оживленную дискуссию о докладе Мао в Яньане. Высказывания китайского вождя об искусстве глубоко взволновали нас. По его словам, искусство может быть сразу и популярным, ориентированным на массы, и продвинутым – развивать вкусы масс, заодно поднимая свои этические стандарты. С азартной мальчишеской самоуверенностью мы с Нго обсуждали у него в саду, как этого добиться, а его мать время от времени выносила нам что-нибудь пожевать. Позже Нго погиб в одном провинциальном допросном центре – его арестовали за хранение антиправительственных листовок, – но тогда он был еще подростком, страстно влюбленным в поэзию Бодлера. В отличие от Мана и Нго, я никогда не проявлял ни организаторских, ни агитаторских способностей. Как сказал мне потом Ман, отчасти поэтому начальство и решило сделать из меня крота.

Он воспользовался иностранным словом, выученным не так давно на уроках английского – его преподавала нам дама-профессор, обожающая рисовать синтаксические диаграммы. Моул? – переспросил я. Это такая зверюшка, которая роет ходы под землей?

Не совсем.

А что, бывают другие?

Конечно. Кроты, роющие ходы под землей, имеют мало общего с кротами-шпионами. Шпион вовсе не должен прятаться там, где его никому не видно, потому что тогда он и сам ничего не увидит. Шпион должен прятаться там, где он виден всем и где сам он может видеть все. А теперь спроси себя: что в тебе видят все вокруг, но сам ты видеть не можешь?

Хватит загадок, сказал я. Сдаюсь.

Вот – он показал прямо в середину моего лица. На самом виду.

Я подошел к зеркалу. Ман выглядел из-за моего плеча. Действительно, оно было там – пятнышко, которое я давно уже перестал замечать и которое по-английски называлось тем же словом, что и шпион. И помни, что ты будешь не просто родинкой, сказал Ман, а мушкой на носу самой Власти.

Ман как никто умел изобразить любое потенциально опасное занятие, включая роль шпиона, в заманчивых красках. Кому не захотелось бы стать мушкой на носу Власти? Сверившись со словарем, я выяснил, что *mole* означает также пирс или дамбу, единицу измерения в химии, разновидность внутриматочной опухоли и – если произнести это слово иначе – типичный для мексиканской кухни острый шоколадный соус, который я позже с удовольствием отведал. Но лучше всего мне запомнилась и крепко запала в душу сопроводительная иллюстрация – не мушка, а маленький, ведущий подземный образ жизни и питающийся червяками зверек с большими когтистыми лапами, вытянутой усатой мордочкой и крошечными, как бусинки, глазками. Он уж точно выглядел уродом для всех, кроме своей матери, и вдобавок был почти слеп.

С неумолимостью танковой дивизии, давя на своем пути все, в том числе живых людей, Фильм двигался к своей кульминации – эпической битве в логове Кингконга, предвещающей испепеление вышеозначенного логова Военно-воздушными силами США. Итогом нескольких недель съемок должны были стать пятнадцать минут экранного времени, заполненного вертолетным клекотом, пушечной пальбой, перестрелками и феерическим уничтожением множества замысловатых декораций, которые возводились в первую очередь ради того, чтобы эффектно погибнуть в языках пламени. Огромные запасы дымовых шашек позволяли регулярно окутывать место действия озадачивающей пеленой, а холостых патронов, бикфордова шнура и взрывчатки израсходовали столько, что все окрестное зверье и птицы исчезли в панике, а двуногие без перьев ходили с ватными затычками в ушах. Конечно, разрушить деревушку и пещеру, где прятался Кингконг, было недостаточно; чтобы удовлетворить тягу Творца к реалистичному кровопролитию, требовалось прикончить еще и всю массовку. Так как сценарий предписывал убиение нескольких сотен вьетконговцев и лаосцев, а статистов в наличии имелась только сотня, большинство из них умирало неоднократно, многие по четыре-пять раз. Нужда в статистах пошла на убыль лишь после того, как был отснят венец всей истребительной программы – ужасающая напалмовая атака, произведенная с малой высоты двумя истребителями F-5 под управлением филиппинских военных летчиков. Она привела к колоссальному ущербу в стане врага, и на последние дни съемок в лагере осталось всего двадцать статистов – так мало, что городок, где они жили, теперь казался вымершим.

Это была пора, когда живые заснули, а нежить восстала ото сна, ибо три дня подряд над съемочной площадкой гремел клич: “Мертвые вьетнамцы, по местам!” И над землей вырастала орда послушных зомби – из палатки-гримерной трусили шеренги искалеченных, одетых в лохмотья мертвецов, сплошь в синяках и кровоподтеках. Некоторые, опираясь на товарищей, прыгали на одной ноге: вторая была пристегнута к бедру. В свободной руке они несли фальшивую конечность с торчащей наружу белой костью – после занятия нужной позиции ее следовало положить где-нибудь рядышком. Другие, с рукой за пазухой и пустым рукавом, несли поддельную изувеченную руку, а кое-кто прижимал горстью выпадающие из черепа мозги. Еще кто-то осторожно поддерживал свои вываливающиеся кишки, с виду абсолютно неотличимые от белесых лоснящихся гирлянд сырых сосисок, поскольку ими они и были в действительности. Выдумка с сосисками оказалась

очень удачной, потому что, когда начиналась стрельба, Гарри спускал с поводка бездомную шавку, та опрометью выскакивала на площадку и принималась алчно терзать внутренности убитых. Только эти трупы и остались от противника в дымящемся логове Кингконга – они валялись в гротескных позах там, где их застрелили, закололи, забили насмерть или задушили в отчаянной рукопашной схватке партизан с “зелеными беретами” и жителями деревушки. Жертвами сражения стали как многочисленные безымянные ополченцы, так и те четверо вьетконговцев, которые замучили Биня и изнасиловали Ким Май, – справедливое возмездие настигло их в лице Шеймаса и Беллами, орудовавших своими боевыми ножами с эпической яростью. И вот наконец наши герои

*озираются на поле битвы, тяжело дыша. Вокруг курятся последние догорающие угольки.*

ШЕЙМАС. Ты слышишь?

БЕЛЛАМИ. Я ничего не слышу.

ШЕЙМАС. Вот именно. Это голос мира.

Если бы! Фильм еще не завершился. Далее действие развивалось так: вдруг из пещеры выбегает старуха и с воем кидается на труп своего сына-вьетконговца. Изумленные “зеленые береты” узнают в ней дружелюбную гнилозубую хозяйку унылого борделя, где они частенько разыгрывали в лотерею венерические болезни.

БЕЛЛАМИ. Боже мой! Мама Шан за Вьетконг!

ШЕЙМАС. Да они все из этих, браток. Все.

БЕЛЛАМИ. И что нам с ней делать?

ШЕЙМАС. Ничего. Пусть идет домой.

Шеймасу нельзя было забывать главное правило вестернов, детективов и фильмов о войне: никогда не поворачивайся спиной к врагу или женщине, если ты причинил им вред. Стоило им это сделать, как Мама Шан схватила сыновний АК-47 и успела продырявить Шеймаса от лопаток до поясницы, прежде чем пасть от руки Беллами, который, быстро развернувшись, выпустил в нее остаток своего магазина. И она умерла в замедленном темпе, омытая четырнадцатью струйками крови из специальных маленьких брызгалок, подготовленных Гарри, – еще две он велел ей раскусить. Вкус ужасный, сказала она потом, когда я вытирал поддельную кровь с ее губ и подбородка. Ну как у меня получилось? Изумительно, сказал я к ее большому удовлетворению. Никто не умирает так, как вы.

Конечно, если не считать Трагика. Ради пущей уверенности в том, что его не обставят ни Азия Су, ни Джеймс Юн, он настоял на том, чтобы его гибель сняли восемнадцать раз. Впрочем, от Кумира потребовалось больше актерского мастерства, ибо он должен был сжимать умирающего товарища в своих объятиях – трудная задача с учетом того, что за семь месяцев съемок Трагик так ни разу и не вымылся. Его не смутило даже то, что ни один нормальный солдат никогда не упускает возможности принять душ или хотя бы намылиться и сполоснуться холодной водой из каски. Как-то вечером, еще в начале съемок, я между делом упомянул об этом в его обществе и получил в ответ взгляд, полный жалостливого любопытства, – в последнее время я привык ловить на себе такие взгляды, словно подразумевающие, что у меня расстегнута ширинка, но это не должно меня беспокоить, поскольку смотреть там все равно не на что. Я поступаю так именно потому, что нормальные солдаты этого не делают, провозгласил он. В результате уже никто не мог ни сесть за его столик, ни подойти к нему ближе, чем на пятнадцать-двадцать футов. От него разило так, что Кумир задыхался и обливался слезами при каждом дубле, наклоняясь к умирающему, чтобы услышать, как он шепчет свои последние слова: сука! Вот сука!

После смерти Шеймаса для Беллами наступила пора призвать небесное воинство к сокрушительной воздушной атаке на логово Кингконга. В ответ на его призыв невидимая “летающая крепость”, Б-52, обрушивала на означенную цель тридцать тысяч фунтов неуправляемых авиабомб – не ради того, чтобы убить живых, а ради того, чтобы очистить почву от мертвых, стереть с лица матушки-земли улыбку хиппи и сказать миру: *мы не можем иначе – ведь мы американцы*. Эта сцена потребовала чрезвычайно трудоемких предварительных операций. Рабочие выкопали несколько траншей и не только залили в них две тысячи галлонов бензина, но и положили туда же тысячу дымовых шашек, несколько сотен фосфорных свеч, дюжины три динамитных патронов и несметное количество шутих, сигнальных ракет и трассирующих снарядов, дабы имитировать взрыв склада боеприпасов, полученных Кингконгом от китайцев и русских. Все с нетерпением ждали этого фейерверка, самого грандиозного за всю историю кинематографа. В этот момент, заявил Творец на недавнем общем собрании, мы покажем, что снимать наш фильм было все равно что отправиться на войну по-настоящему. Когда ваши внуки спросят, что вы делали во время войны, вы ответите: я сделал этот фильм. Я сотворил истинный шедевр. А откуда вы знаете, что сотворили шедевр? А оттуда, что шедевр – это нечто столь же реальное, сколь и сама реальность, а порой и еще реальнее. Когда война уже давным-давно забудется, когда все, кто ее пережил, умрут, когда их тела обратятся в прах, воспоминания в атомы, а чувства прекратят волновать кого бы то ни было, когда от войны останется только один абзац в скучном школьном учебнике, это произведение искусства будет по-прежнему сиять так ярко, что все поймут: это не просто о войне, это и есть война.

И тут кроется абсурд. Дело не в том, что заявления Творца были целиком лживы, – зерно абсурда часто прорастает из правды. Да, искусство действительно в конце концов переживает войну, его артефакты продолжают вызывать благоговейный трепет и через много лет после того, как суточные ритмы природы перетрут в пыль миллионы тел погибших воинов, однако я не сомневался, что Творец в его маниакальном эгоцентризме считает свое нынешнее творение более важным, чем те три, четыре или шесть миллионов убитых, к которым сводится истинный смысл войны. *Они не могут представлять себя сами, их должны представлять другие*. Маркс говорил о классе угнетенных, не сознающих себя как класс, но разве можно сказать что-нибудь более справедливое о мертвых, так же как и о статистах? Их судьба была до того бредовой, что они пропивали свой доллар в день каждый вечер, и я с радостью составлял им компанию, чувствуя, что вместе с ними умирает и маленькая частичка меня самого. Ибо меня все сильнее грызла совесть, я все отчетливей понимал, что зря надеялся повлиять на то, как мы будем представлены. Пускай я чуточку изменил сценарий и с моей подачи в него ввели несколько реплик от лица местных жителей – что с того? Я не пустил под откос этот уродливый бронепоезд и даже не сбил его с курса, я только сделал его путь более гладким как консультант, отвечающий за достоверность, это вечное жалкое оправдание плохих фильмов, мечтающих стать хорошими. Мне поручили следить, чтобы персонажи, которые мельтешат на заднем плане фильма, были настоящими вьетнамцами, говорили на настоящем вьетнамском языке и носили настоящую вьетнамскую одежду вплоть до того мига, когда их убьют. Покрой костюмов и звучание диалекта соответствовали реальности, но по-настоящему важные для такого фильма вещи вроде идей и эмоций оставались фальшивыми. Как младший подручный портного в крупном ателье, я отвечал за качество швов у наряда, созданного одними богатыми белыми людьми для других богатых белых людей. Им принадлежали средства производства, а значит, и средства представления, а мы могли надеяться разве лишь на то, что до нашей анонимной смерти нам позволят вклинить в общий разговор одно-два словечка.

Этот Фильм был просто сиквелом к нашей войне и приквелом к следующей, которую Америка собиралась рано или поздно затеять, а убийство статистов – либо реконструкцией того, что произошло с нами, либо генеральной репетицией следующего аналогичного эпизода, причем Фильм служил местным седативом для американского разума, чтобы до или после этого он не испытывал даже слабого беспокойства. В конечном счете, технология для реального уничтожения туземцев

производится военно-промышленным комплексом, куда входит составной частью и Голливуд, добросовестно выполняющий свою роль по искусственному уничтожению туземцев. Я с запозданием осознал это лишь в день постановки последнего спектакля, когда Творец вдруг решил сымпровизировать с большим количеством оставшегося бензина и взрывчатых веществ. За день до этого, без моего ведома, мастера по спецэффектам получили от Творца указание подготовить к ликвидации и кладбище. В основной версии сценария Кингконг атаковал деревушку, минуя кладбище, но теперь Творцу захотелось дополнительно проиллюстрировать бессердечность обеих враждующих сторон. В новой сцене группа партизан-смертников укрывалась за памятниками, и по приказу Шеймаса на священное царство деревенских предков обрушивался град 155-миллиметровых снарядов, начиненных белым фосфором, стирая с лица земли как живых, так и мертвых. Поскольку Творцу нравилось удивлять окружающих, я узнал об этом лишь утром того дня, на который раньше была назначена съемка авианалета. Сюрприз, сказал Гарри. Вчера вечером ребята из отдела по спецэффектам закончили заряжать кладбище.

Я очень люблю твое кладбище. Это лучшее, что ты построил.

У тебя полчаса на прощальную фотографию, а потом будет ба-бах.

Это было всего лишь поддельное кладбище с поддельной могилой моей матери, но известие о том, что его уничтожат из-за дурацкого каприза, оказалось для меня неожиданно болезненным. Я решил, что должен в последний раз отдать матери и кладбищу дань уважения, но моих сентиментальных чувств никто не разделял. На кладбище царил безлюдье: киношники еще завтракали. Теперь между могилами протянулась сеть мелких канавок, где поблескивал бензин, а к памятникам были привязаны сзади фосфорные и динамитные заряды. В траве высотой по колено, щекочущей мои голые лодыжки, прятались кучки дымовых бомб. С фотоаппаратом на шее я прошел мимо надгробных камней с именами покойников, списанными Гарри из лос-анджелесской телефонной книги, – скорее всего, их подлинные владельцы пока что и не думали умирать. Среди этих имен живых только имя моей матери находилось на кладбище по праву, и я стал перед ее надгробием на колени, чтобы с ней проститься. За семь месяцев погода осквернила ее снимок, сделав лицо на нем почти неузнаваемым, а красная краска, которой было выведено ее имя, поблекла и приобрела цвет высохшей крови на тротуаре. Черная тоска сунула свою холодную шершавую руку в мою, как случалось всегда, когда я думал о матери, чья жизнь была так коротка, перспективы так скудны, жертвы так велики – а теперь ей вдобавок предстояло вынести еще одно, последнее унижение ради развлечения праздной публики.

Мама, сказал я, прижавшись лбом к ее надгробию. Мама, я так по тебе скучаю!

Я услышал бестелесный голос упитанного майора – он посмеивался. Было ли это только мое воображение, или неумолчный шум природы и вправду куда-то исчез? В сверхъестественной тишине моего спиритического сеанса на могиле матери мне почудилось, будто я и впрямь вот-вот вступлю в контакт с ее душой, но как раз когда я напрягся, чтобы уловить ее шепот, могучий раскат грома вышиб слух из моих ушей. В тот же миг удар в лицо поднял меня с колен и швырнул сквозь огромный световой пузырь, выбив из фокуса – одно мое “я” видело, как летит другое. Позже утверждалось, что это был несчастный случай: сработал неисправный детонатор, а дальше началась цепная реакция, – но к этому времени я уже решил, что никакой случайностью здесь и не пахло. Все происходящее на площадке зависело только от одного человека, такого педантичного даже в мелочах, что он не забывал планировать еженедельное меню, – от Творца. Но в первый апокалиптический момент мое спокойное “я” поверило, что мою богохульную душу поразили сам Господь. Глазами своего спокойного “я” я видел, как мое второе “я” истерически орет и молотит руками в воздухе, словно птица с атрофированными крыльями. Перед ним взметнулась гигантская пелена огня, а сзади накатил такая мощная волна жара, что и он, и я утратили всякую способность что-либо ощущать. Исполинский питон беспомощности стиснул нас в своих объятиях, вновь слепив в единую личность с такой силой, что я на секунду

потерял сознание и очнулся, лишь грянувшись спиной оземь. Теперь мое мясо было просолено, отбито и поджарено, а мир вокруг полыхал и смердел бензиновым потом, которым истекали мохнатые зверюги из черного дыма – они кидались на меня со всех сторон, гримасничая и меняя очертания. Новый могучий раскат вырвал из моих ушей затычки тишины, и я, шатаясь, поднялся на ноги. Мимо со свистом, точно метеориты, пролетали булыжники и шматки земли, и я обхватил рукой голову, а ворот рубашки натянул на нос и рот. Сквозь огонь и дым вела узкая тропка, и, хоть глаза мне заливали слезы и жгла сажа, я бросился туда, в очередной раз спасая свою жизнь. Ударная волна следующего взрыва толкнула меня в спину, сверху пронесся целый памятник, на тропинку выкатилась дымовая бомба, и меня окутало серое облако. Дальше я двигался, шарахаясь от жара, кашляя и хрипя, пока наконец не выскочил из душной пелены. По-прежнему ослепший, я продолжал свой бег, размахивая руками, захлебываясь кислородом, чувствуя то, что всегда мечтает и боится почувствовать каждый трус, – что я жив. Это чувство знакомо лишь тем, кому доводилось сыграть в русскую рулетку с партнером, который никогда не проигрывает – со Смертью, – и уцелеть. Едва я собрался возблагодарить Бога, в которого не верил – потому что да, в конечном счете я трус, – как меня оглушил рев труб. В наступившем молчании земля исчезла, клей гравитации растворился, и я взмыл в небо. Останки кладбища пылали передо мной, удаляясь по мере того, как меня уносило задом наперед, все по бокам слилось в сплошные сверкающие полосы, а затем они померкли, уступив место немой тьме.

Это сверкание... это сверкание было сценами из моей жизни, но они мелькали так быстро, что я не мог разглядеть почти ничего. Да, я видел себя, но вот что странно: моя жизнь разворачивалась передо мной задним ходом, как при обратной прокрутке видеозаписи, где кто-нибудь, выпав из окна и расквасившись на тротуаре, вдруг воспаряет вверх и запрыгивает обратно в окно. Так и я бешено мчался спиной вперед мимо импрессионистически сливающихся цветковых пятен. Я постепенно уменьшался до размеров подростка, потом ребенка и, наконец, грудного младенца, после чего меня, голого и вопящего, стремительно засосало через тот портал, который есть у каждой матери, в черную яму, где царила сплошная мгла. Когда последний проблеск света померк, мне пришло в голову, что свет в конце туннеля, известный нам по рассказам умерших и вернувшихся к жизни, не имеет никакого отношения к раю. Разве не гораздо более вероятно, что перед их глазами брезжит не будущее, а прошлое? Это универсальное воспоминание о первом туннеле, который преодолели мы все, – сочащийся в него свет разбавлял утробный мрак и проникал сквозь наши закрытые веки, маня нас в ту бездну, где всем нам без исключения суждено когда-нибудь встретиться со смертью. Я открыл рот, чтобы закричать, а потом открыл глаза...

Я лежал в постели за белой занавеской, распластанный под белой простыней. Из-за занавески доносились бесплотные голоса и жалобное одинокое попискивание электронных устройств; потом кубиком льда звякнуло что-то металлическое, прошуршали по линолеуму колеса, мерзко заскрипели резиновые подошвы. Я был в ночной рубаше из тонкого крепа, такой же легкой, как и простыня, но на меня все равно давила дремотная тяжесть, колючая, как армейское одеяло, гнетущая, как непрошенная любовь. У изножья кровати стоял незнакомец в белом халате и с сосредоточенностью дислексика читал медицинскую карту на планшете. Его взлохмаченные волосы торчали в разные стороны, как у студента-астрофизика, обширное пузо переливалось за плотину пояса, и он тихо бормотал в магнитофончик. Пациент такой-то, поступил вчера с ожогами первой степени, отравлением дымом, контузией, ушибами. В настоящее время... тут он заметил, что я на него смотрю. Ага, приветик, с добрым утречком, сказал он. Вы меня слышите, молодой человек? Кивните. Отлично. А говорить можете? Нет? С вашими голосовыми связками и языком все в порядке. Думаю, это последствия шока. Имя свое помните? Я кивнул. Хорошо! Знаете, где вы? Я качнул головой. В Маниле, в больнице. Самой лучшей, куда кладут за деньги. Здесь все врачи со степенью, и не только Д. М., а еще и Д. Ф. Это значит, что все мы почетные доктора Филиппин. А Д. М. означает почетный доктор Манилы. Ха-ха, да я просто шучу, мой желтолицый юный друг. Конечно, Д. М. – это сокращенно доктор медицины, а Д. Ф. – доктор

философии. Я тоже Д. Ф., и это значит, что я могу анализировать как видимое, так и невидимое. Физически вы в относительно хорошей форме, особенно с учетом пережитого испуга. Да, кое-что повреждено, но это сущая ерунда, если иметь в виду, что вы должны были умереть или получить серьезные травмы. Как минимум сломанную руку или ногу. Короче говоря, вам здорово повезло. Теперь позвольте предположить, что башка у вас трещит, как после месячного запоя. Рекомендую все что угодно, кроме психоанализа. В первую очередь я рекомендовал бы медсестру, но всех симпатичных мы экспортировали в Америку. Вопросы есть? Я попытался ответить, но ничего не вышло, и я просто покачал головой. Тогда отдохайте. И помните, что лучшее средство лечения – это принцип относительности. Как бы хреново вам ни было, утешайтесь мыслью, что кому-то другому гораздо хуже.

С этими словами он выскользнул за занавеску и оставил меня одного. Потолок надо мной был белым. Простыни – белыми. Моя больничная рубашка – белой. Казалось бы, что в этом плохого? Но я ненавидел белые комнаты, а теперь сам угодил в такую, причем без всякой возможности отвлечься. Я умею жить без телевизора, но не без книг. У меня не было ни журнала, ни соседа, чтобы скрасить одиночество, и по мере того, как секунды, минуты и часы текли, точно слюни у пациента психиатрической клиники, мной овладело глубокое беспокойство, своего рода клаустрофобия – мне стало чудиться, что из этих безликих стен выступает и надвигается на меня прошлое. Меня спасли от этих видений явившиеся чуть ближе к вечеру четверо статистов, тех самых, что играли мучителей-вьетконговцев. Свежевыбритые, в джинсах и футболках, они выглядели уже не как мучители и злодеи, а как безобидные беженцы, слегка растерянные и смущенные. Чего я никак не ожидал увидеть у них в руках, так это обернутой целлофаном корзины с фруктами и бутылки “Джонни Уокера”. Как дела, командир? – сказал самый коротенький из них. Неважно выглядите.

Все нормально, просипел я. Ничего серьезного. Зря вы это.

Подарки не от нас, сказал высокий сержант. Их прислал режиссер.

Очень мило с его стороны.

Высокий сержант с Коротышкой переглянулись. Как скажете, буркнул Коротышка.

В смысле?

Высокий сержант вздохнул. Я не хотел об этом так сразу, капитан. Вот что, давайте сначала выпьем. Самое малое, что вы можете сделать, – это выпить за его счет.

Я бы тоже не отказался, обронил Коротышка.

Налейте всем, попросил я. А что это значит, самое малое?

Сержант настоял на том, чтобы сперва я все-таки выпил, и приятное мягкое тепло недорогого скотча действительно помогло, уютное, как некрасивая жена, понимающая все нужды своего мужчины. Говорят, что вчерашнее было несчастным случаем, сказал он. Но уж больно странное совпадение, а? Вы ссоритесь с режиссером – ну да, про это все слышали, – и потом взрывают не кого-нибудь, а именно вас. Никаких доказательств у меня нет. Но совпадение что-то уж очень странное.

Я молча смотрел, как он наливает мне еще. Потом перевел взгляд на Коротышку. А вы как считаете?

По-моему, американцы на все способны. Они же не побоялись убрать нашего президента, верно? Так почему вы думаете, что они будут жалеть вас?

Я усмехнулся, хотя маленький пес моей души сделал стойку, наострив уши и повернув нос к ветру. Да вы параноики, ребята, сказал я.



Каждый параноик бывает прав хотя бы однажды, сказал сержант. Когда он умирает.

Хотите верьте, хотите нет, сказал Коротышка. Но знаете, вообще-то мы пришли сюда не только для того, чтобы об этом поговорить. Мы все хотим сказать спасибо, капитан, за то, что вы для нас сделали. С самого начала и до конца вы заботились о нас, выбили нам дополнительную плату, ругались из-за нас с режиссером.

Так что давайте выпьем за ваше здоровье на деньги этого засранца, сказал сержант.

На мои глаза навернулись слезы, когда все они подняли стаканы за меня – их земляка, который, несмотря ни на что, был таким же, как они. Наверное, меня подкосили травмы, иначе отчего бы мне так страстно хотелось, чтобы меня оценили и признали своим? Ман давно предупредил меня, что за нашу подпольную работу не повышают в чине, не дают орденов и не чествуют публично. Я смирился с этим, так что благодарность беженцев оказалась неожиданной. Когда они ушли, я продолжал утешаться воспоминаниями об их словах и “Джонни Уокером”, отодвинув стакан и потягивая виски прямо из горлышка. Однако к ночи бутылка опустела, и я все же остался наедине с собой и своими мыслями, этими коварными таксистами, часто сворачивающими туда, куда нам не хочется попадать. Теперь, когда в моей комнате сгустился мрак, перед моими глазами стояла единственная другая полностью белая комната, в которой мне довелось побывать, – камера в Национальном допросном центре в Сайгоне, где я под руководством Клода выполнял свое первое задание. Только тогда пациентом был не я. Пациентом – точнее, заключенным – был человек, чье лицо я помнил очень ясно, поскольку много раз изучал его через камеры, установленные по углам комнаты. Каждый ее квадратный сантиметр был выкрашен белым, включая койку узника, стол, стул и ведро – эти предметы и составляли всю его компанию. Белыми были даже подносы и тарелки, в которых приносили еду, кружка для воды и кусок мыла, а самому ему разрешалось носить только белую футболку и белые шорты. Если не считать двери, в камере было лишь одно отверстие – канализационное, маленькая темная дыра в углу.

Я наблюдал за рабочими, когда они красили и оборудовали эту комнату. Идея сделать ее целиком белой принадлежала Клоду, и он же велел с помощью кондиционера поддерживать в ней восемнадцать градусов по Цельсию – это было прохладно даже по западным меркам, а для пациента и вовсе мороз. Это эксперимент, сказал Клод; мы проверяем, станет ли заключенный сговорчивее при определенных условиях. В частности, на потолке круглые сутки горели люминесцентные лампы, единственный источник света, порождающие ощущение вневременности под стать внепространственности как следствию абсолютной белизны. Картину довершали белые динамики на стенах для непрерывной звуковой трансляции. Что будем крутить? – спросил Клод. Нужно выбрать что-нибудь невыносимое для него.

Он посмотрел на меня выжидательным взглядом экзаменатора. При всем старании я не мог облегчить жребий узника. Не помоги я Клоду с выбором, рано или поздно он и сам нашел бы невыносимую для него музыку, а моя блестящая репутация примерного ученика заметно потускнела бы. Единственная надежда арестанта на спасение была связана не со мной, а с перспективой освобождения всего Юга. Поэтому я сказал: музыку в стиле кантри. Средний вьетнамец терпеть ее не может. Эта южная гнусавость, этот особый ритм, эти странные истории – от всего этого мы медленно сатанеем.

Отлично, сказал Клод. А какую песню?

После некоторых изысканий я позаимствовал подходящую запись из музыкального автомата одного сайгонского бара, где любили проводить время белые военнослужащие. Это воплощение чистейшей, беспримесной белизны называлось “Эй, красавица”, а исполнял его кумир любителей кантри Хэнк Уильямс:

*Э-э-э-э-эй, красавица, Что-о-о-о-о-о там у тебя варится? Дава-а-а-а-ай  
заварим что-нибудь Со мно-о-о-о-о-ой!*

Даже меня, привычного к американской культуре, слегка передергивало, когда я слушал эту пластинку, уже порядком заезженную. Кантри – самая сегрегационная музыка в Америке, где даже белые играют джаз и даже черные поют в опере. Среди исполнителей кантри нет ни одного негра, и, должно быть, примерно под такие мелодии кукулуксклановцы вздергивали на деревья не угодивших им чернокожих. Кантри нельзя назвать музыкой линчевателей, но никакую другую музыку нельзя представить себе в качестве аккомпанемента при линчевании. Нацисты и начальники концлагерей обожают Девятую Бетховена, и ее же, возможно, слушал президент Трумэн, обдумывая идею сбросить на Хиросиму атомную бомбу: под такую классику интеллектуалам приятнее всего размышлять об уничтожении варварских орд. Кантри отвечает более скромным запросам мужественной и кровожадной американской глубинки. Именно из опасения быть избитыми под эти ритмы черные солдаты обходили стороной сайгонские бары, где лились из автоматов столь дорогие сердцу их белых однополчан песенки Хэнка Уильямса – по сути, акустические вывески, гласящие: “Ниггерам вход воспрещен”.

Подобные соображения и побудили меня предложить, чтобы в камере нашего пациента непрерывно, кроме периодов моего пребывания в ней, звучала именно эта песня. Клод назначил меня старшим следователем: я должен был сломить сопротивление узника, пользуясь знаниями, полученными на курсе по ведению допросов, и таким образом как бы сдать выпускной экзамен. До первой встречи со мной заключенный просидел в своей камере неделю при постоянном свете и музыке – эта монотонность нарушалась лишь трижды в день, когда в двери открывали щель и просовывали в нее поднос с чашкой риса, вареными овощами (сто граммов), кусочком вареного мяса (пятьдесят граммов) и кружкой воды. Если он будет вести себя хорошо, сказали мы ему, то получит еду на свой вкус. Я наблюдал по видеомонитору, как он ест, как присаживается над своей дырой, как умывается из ведерка, как меряет комнату шагами, как лежит на кровати, закинув на глаза руку, как выполняет приседания и отжимания, как затыкает уши пальцами. Когда он затыкал уши, я увеличивал громкость – деваться мне было некуда, рядом стоял Клод. Когда он вынимал из ушей пальцы и я убавлял громкость, он поворачивался к одной из камер и кричал по-английски: имел я вас, американцы! Клод посмеивался. Он хоть что-то говорит. Трудней всего с теми, из кого ни слова не вытянешь.

Наш пленник возглавлял ячейку С-7 террористической организации Z-99. Эта организация базировалась в секретной зоне провинции Биньзюнг и держала в страхе весь Сайгон. Она была в ответе за сотни убийств, взрывов и налетов с использованием мин и гранат, а общее количество ее жертв исчислялось тысячами. Фирменным приемом Z-99 считалась закладка сразу двух бомб – вторую подрывали, когда на место взрыва первой прибывали спасатели. Наш арестант снабжал эти самодельные бомбы взрывными устройствами, сделанными из наручных часов. Он удалял секундную и часовую стрелки, просверливал в стекле дырочку для провода, идущего от батарейки, а минутную стрелку устанавливал на желаемое время. Когда тикающая стрелка касалась оголенного провода, бомба детонировала. Сами бомбы изготавливали из противопехотных мин, украденных с американских складов, или покупали на черном рынке. Встречались и тротилловые бомбы, начинку для которых контрабандой поставляли в город малыми порциями, пряча ее в ананасах, хлебных буханках и тому подобных товарах, даже в женских лифчиках, по поводу чего в Секретном отделе ходили нескончаемые шуточки. Мы знали, что в Z-99 есть мастер по взрывным устройствам, и еще до того, как установили его личность, дали ему прозвище “Часовщик” – так я и продолжал мысленно его называть.

Через неделю после начала эксперимента я впервые вошел в камеру, и Часовщик посмотрел на меня с любопытством. Такой реакции я не ожидал. Эй, красавица, сказал он по-английски. Что там у тебя варится? Он выучил припев, хотя толком не понимал его смысла. Я объяснил этот смысл, пока мы курили – роскошь, которой

до моего визита он также был лишен. Я сидел на его стуле, а он на кровати – крошечный дрожащий человечек с копной грубых волос, в этой белой комнате режущих глаз своей чернотой. Стало быть, на сленге “что у тебя варится” означает “что происходит”, сказал он. С романтическим подтекстом, добавил я. Он хочет сказать, что она сама горячая штучка. Спасибо за урок английского, ухмыльнулся он. Только не выключайте эту песню! Я от нее в восторге! Конечно, он врал. В его глазах что-то поблескивало – какой-то еле заметный намек на нездоровье, хотя это могло объясняться дипломом Сайгонского университета по философии и происхождением из почтенной католической семьи, отрекшейся от него, старшего сына, из-за его революционных убеждений. Легальное производство часов – ибо этим он занимался, прежде чем стать террористом, – было просто способом заработать на хлеб, сказал он мне во время нашей беседы. Мы болтали о том о сем, как положено при первом знакомстве, хотя где-то за этой непринужденной болтовней маячило взаимное понимание наших ролей: я следователь, он арестант. Мое понимание подкреплялось еще и тем, что Клод следил за нами по видеосвязи и я об этом знал. Про себя я порадовался выдумке с кондиционером. Если бы не он, я весь вспотел бы, соображая, как быть Часовщику сразу и врагом, и другом.

Я сообщил, что его обвиняют в подрывной деятельности, заговорах и убийствах, но подчеркнул, что он невиновен, пока не доказана его вина. Тут он засмеялся. Твои американские кукловоды любят повторять это, но это чушь, заявил он. История человечества, религия, нынешняя война говорят нам, что дело обстоит в точности наоборот. Мы все виновны, пока не доказана наша невиновность. Посмотри на самих американцев – с чего же еще им считать, что вокруг них одни скрытые вьетконговцы? Почему они сначала стреляют, а после задают вопросы? Потому что для них все желтые люди виновны, пока не доказано, что они невиновны. Американцы запутались, потому что не могут признать это противоречие. Они верят в торжество божественной справедливости в мире, населенном грешниками, и вместе с тем верят в светскую справедливость в сочетании с презумпцией невиновности. Но эти вещи несовместимы. И знаешь, как американцы выкручиваются? Они изображают из себя вечно невинных, сколько бы раз ни теряли свою невинность. Беда в том, что люди, свято убежденные в своей невинности, считают все свои поступки справедливыми. Мы, верящие в свою вину, хотя бы знаем, на какие темные дела мы способны.

Его трактовка американской культуры и психологии произвела на меня впечатление, но признаться в этом я не мог, а потому сказал только: так ты предпочитаешь, чтобы тебя считали виновным?

Если ты еще не понял, что твои хозяева уже считают меня виновным и будут обходиться со мной соответственно, то ты не такой умный, как тебе кажется. Впрочем, удивляться тут нечему. Ты же дефективный, как все гибриды. Одно слово – ублюдок.

Теперь, задним числом, я думаю, что он не собирался меня оскорблять. Как большинству философов, ему просто не хватало коммуникативных навыков. В своей бесцеремонной манере он всего лишь констатировал то, что представлялось ему и многим другим научным фактом. И все же я признаю, что тогда, в той белой комнате, меня охватило бешенство. В принципе я мог бы растянуть следствие на годы, задавая ему неумолимые вопросы, которые никуда не ведут, якобы пытаюсь нащупать его слабые места, а по сути делая все, чтобы он остался целым и невредимым. Но в тот момент у меня было единственное желание: доказать ему, что я именно такой умный, как мне кажется, то есть умнее его. Из нас двоих взять верх мог только один. Второй был обречен на поражение.

Как я ему это доказал? Через несколько дней, когда моя ярость остыла и загустела, меня поразила догадка, что я, ублюдок, понимаю его, философа, с абсолютной ясностью. Сила человека всегда является его слабостью, и наоборот. Так что слабость всегда есть, ее надо только увидеть. Часовщик решил отказаться от самого ценного для вьетнамца и католика – своей семьи, то есть принес себя в жертву революции вместо их Бога. Его сила была в его жертве, а значит, ее-то и следовало обесценить. Я немедленно сел за стол и написал за Часовщика его

признание. На следующее утро он прочел мой набросок, не веря своим глазам, затем перечел его снова и лишь после этого поднял на меня взгляд, полный гнева и недоумения. Ты говоришь, что я говорю, что я пидор? Гомосексуалист, поправил я. Хочешь вывалить меня в грязи? – спросил он. Во лжи? Я никогда не был пидором. Мне никогда и не снилось, что я могу быть пидором. Это... это гнусно. Его голос сорвался, лицо залилось румянцем. Говорить за меня, что я пошел в революцию из-за того, что полюбил мужчину? Что поэтому я сбежал от семьи? Что моя ориентация объясняет мою тягу к философии? Что я хочу разрушить общество потому, что я пидор? Что я предал революцию, чтобы спасти своего любимого, которого вы взяли в плен? Да никто в это не поверит!

Значит, никто не огорчится, когда мы опубликуем это в газетах вместе с признанием твоего любовника и вашими интимными фотографиями.

Вы никогда не получите такую фотографию со мной.

ЦРУ умеет делать много интересного с помощью гипноза и лекарственных препаратов. Он умолк. Я продолжал: после того как за это возьмутся газеты, тебя будут презирать не только твои товарищи-революционеры. Дорога обратно к твоей семье тоже закроется навсегда. Возможно, они приняли бы раскаявшегося революционера или даже победившего, но они никогда не примут гомосексуалиста, что бы ни случилось со страной. Ты станешь человеком, который пожертвовал всем ради пустого места. И товарищи, и родные навсегда вычеркнут тебя из памяти. А если ты начнешь отвечать на мои вопросы, мы хотя бы не напечатаем это признание. Твоя репутация останется нетронутой по крайней мере до конца войны. Я встал. Подумай как следует. Он не пошевелился и не обронил ни слова, упершись взглядом в мою бумагу. У двери я помедлил. Все еще считаешь меня ублюдком?

Нет, сказал он лишенным выражения голосом. Ты просто сволочь.

Почему я это сделал? Здесь, в другой белой комнате, у меня было полно времени на размышления об этом событии, которое я выскоблил из своей памяти, обелив ее, и в котором признаюсь теперь. Своим псевдонаучным приговором Часовщик взбесил меня, толкнул на иррациональные действия. Это не удалось бы ему, если бы я ограничился своей ролью крота, но я получал удовольствие, действуя по инструкциям и вопреки инструкциям, выполняя приказ Клода сломать нашего арестанта. Позже, в комнате наблюдения, Клод воспроизвел для меня эту запись – я смотрел, как я смотрю, как Часовщик смотрит на свое признание, понимая, что его переиграли, точно герой фильма, задуманного и срежиссированного Клодом. Часовщик не мог представлять себя сам, его представил я.

Блестящая работа, сказал Клод. Ты его поймел, да как!

Я был хорошим учеником. Я знал, чего хочет учитель; больше того, мне нравилось, когда меня хвалили в пику плохому ученику. Ведь кем был Часовщик, если не последним? Он выслушал американцев и понял, чему они учат, но отверг эту премудрость. Я оказался более восприимчив к их образу мыслей и, вступив в схватку с Часовщиком, фактически стал одним из них. Он угрожал им, а следовательно, и мне. Но я недолго вкушал радость победы. В конце концов он показал всем, на что порой бывают способны плохие ученики. Он перехитрил меня, доказав, что можно вырваться из-под власти средств производства, которые тебе не принадлежат, разрушить представление, в собственности которого тебя превратили. Он сделал свой финальный ход как-то утром, через неделю после того, как я сочинил за него признание. Мне позвонил домой охранник из комнаты наблюдения; когда я добрался до Национального допросного центра, Клод был уже там. Часовщик в своих белых шортах и футболке лежал на белой кровати скрючившись, лицом к стене. Перевернув его, мы увидели багровое лицо и выкаченные глаза. В раскрытом рту, глубоко в горле, что-то белело. Я только в туалет отошел, бормотал охранник. Он завтракал. Ну что он мог натворить за две минуты? Но Часовщик натворил – а именно подавился насмерть. Всю неделю он вел себя хорошо, и в награду мы предложили ему выбрать для себя еду. Я люблю

яйца вкрутую, сказал он. Первые два он очистил и съел, а третье заглотал целиком, вместе со скорлупой. Э-э-э-э-эй, *красавица...*

Выключи эту чертову музыку, сказал Клод охраннику.

Для Часовщика время остановилось. Но пока я не проснулся в своей собственной белой комнате, я не понимал, что оно остановилось и для меня. Лежа в этой белой комнате, я видел ту, другую, с идеальной четкостью – через камеру в углу я смотрел, как мы с Клодом стоим над Часовщиком. Это не твоя вина, сказал Клод. Даже я, и то об этом не подумал. Он утешительно похлопал меня по плечу, но я ничего не ответил, потому что запах серы прогнал все мои мысли, кроме одной: что я не ублюдок, нет, не ублюдок, нет, нет, нет, хотя почему-то все-таки да.

## Глава 12

К тому моменту, когда я вышел из больницы, нужда в моих услугах уже отпала, и меня не пригласили вернуться в лагерь для участия в заключительных операциях по окончании съемок. Вместо этого я получил авиабилет на ближайший рейс в Америку и всю обратную дорогу размышлял о проблеме представления. Те, кто не владеет средствами производства, порой умирают раньше времени, но не владеть средствами представления – это тоже своего рода смерть. Ведь если нас представляют другие, разве не могут они в один прекрасный день смыть нашу гибель с ламинированного пола памяти? Мои раны саднят до сих пор, и сейчас, исповедуясь, я волей-неволей гадаю, кому принадлежит это мое представление – мне или вам, моему исповеднику.

Встреча с Бонем в лос-анджелесском аэропорту немного подняла мне настроение. Он выглядел в точности так же, как раньше, а открыв дверь нашей квартиры, я с облегчением убедился, что и она если не стала лучше, то уж во всяком случае не стала и хуже. Главным украшением нашей ветхой диорамы по-прежнему оставался холодильник, и Бон предусмотрительно начинил его пивом в количестве, достаточном для восстановления моих расстроенных перелетом биоритмов, но недостаточном для того, чтобы исцелить неожиданную грусть, пропитавшую все мои поры. Когда он заснул, я еще бодрствовал, перечитывая последнее письмо тети. Перед тем как отправиться на покой, я прилежно написал ответ. “Деревушка” закончена, сообщил я. Но более важно то, что у Движения появился источник финансовой поддержки.

Ресторан? – переспросил я, когда Бон известил меня об этом за первой банкой пива.

Ну да. Генеральша и правда отличная повариха.

Когда я в последний раз ел вкусную вьетнамскую еду, ее приготовила именно она, так что на следующий день я позвонил генералу и принес ему искренние поздравления с новым амплуа его супруги. Как и ожидалось, он предложил угостить меня обедом в честь моего благополучного возвращения. Я нашел их новый ресторан на главной улице Чайнатауна между сувенирной лавкой и магазинчиком, где торговали лекарственными травами. Когда-то мы окружали китайцев в Тёлоне, сказал генерал из-за кассы. А теперь они нас. Он вздохнул, не отрывая пальцев от клавиш своего примитивного пианино, готовый выбить на них грубую мелодию оплаты. Помните, как я приехал сюда с пустыми руками? Конечно, помню, ответил я, хотя на самом деле генерал приехал сюда отнюдь не с пустыми руками. Генеральша зашила за подкладку одежды, своей и детской, немало золотых унций, а на генерале был пояс, набитый долларами. Но амнезия так же привычна американцам, как яблочный пирог, и они решительно предпочитают ее горькому хлебу изгнанников. Как и мы, американцы относятся к незнакомой снеди с большим подозрением, отождествляя ее с теми, кто ее ест. Мы интуитивно понимали: если мы хотим, чтобы американцы признали беженцев вроде нас приемлемыми, они сначала должны признать удобоваримыми (а хорошо бы еще и удобопроизносимыми) наши национальные блюда. Поскольку победить этот кулинарный скептицизм нелегко, генерал с генеральшей проявили изрядное мужество, о чем я им и сказал.

Мужество? Для меня это звучит унижительно. Разве вам раньше приходило в голову, что я когда-нибудь открою свой ресторан? Генерал обвел рукой тесный зальчик бывшей китайской закусочной с бурой сыпью жира на стенах. Нет, сэр, сказал я. Вот и мне тоже. Ладно еще был бы приличный, но это? В его голосе сквозила такая скорбная обреченность, что я не мог не проникнуться к нему сочувствием. Денег на ремонт, очевидно, не нашлось: линолеум был потертый, желтая краска выцвела, с потолка лился резкий безжизненный свет. Узнаете официантов? – спросил он. Все ветераны. Тот из спецназа, а вон тот из авиации. В бейсболках и дешевых рубашках, явно раздобытых в секонд-хэнде или полученных в дар от прижимистого спонсора, официанты совсем не выглядели убийцами. Они

походили на безымянных курьеров с кривой стрижкой, которые разносят по домам китайскую еду, или на тех, кто тревожно ждет приема в травмпункте, явившись туда без страховки, на людей, сбежавших с места автомобильной аварии, потому что у них нет прав или регистрации. Они пошатывались, как колченогий столик, за который генерал меня усадил. Генеральша самолично принесла мне порцию своего фирменного фо и присоединилась к нам, чтобы посмотреть, как я вкушаю это традиционное блюдо, великолепное в ее исполнении. По-прежнему восхитительно, сказал я после первой же ложки. Генеральша не отреагировала на мой комплимент, хмурая, как ее супруг. Вы должны гордиться таким... таким супом.

Мы должны гордиться тем, что продаем суп? – проворчала генеральша. Или тем, что содержим забегаловку? Так назвал это один посетитель. Помещение, между прочим, даже не наше, сказал генерал. Мы его арендуем. Вид у них был под стать настроению. Генеральша забрала волосы в унылую библиотечарскую гульку, хотя раньше почти всегда щеголяла “пчелиным ульем” или другой пышной прической, напоминающей о жизнерадостной поре начала шестидесятых. Костюм ее, как и у генерала, состоял из рубашки поло мужского покроя, бесформенных брюк цвета хаки и излюбленной американской обуви – сникеров. Короче говоря, они были одеты как почти любая другая чета пожилых американцев, которую можно встретить в супермаркете, на почте или у бензоколонки. Этот стиль будто нарочно изобретен ради того, чтобы сделать взрослых американцев похожими на детей-переростков – эффект, еще более заметный в тех нередких случаях, когда они потягивают через соломинку кока-колу из огромных стаканов. Эти скромные рестораторы мало напоминали тех патриотов из высшего сословия, с которыми я прожил семь лет и к которым относился не только с известной опаской, но и с долей симпатии. Их грусть была и моей грустью, поэтому я перевел наш разговор в новое русло, зная, что выбранная мною тема сразу вызовет у них душевный подъем.

Так что же, сказал я, ваш ресторан и правда помогает финансировать революцию?

Прекрасная идея, верно? Лицо генерала немедленно просветлело. Заметив, что генеральша подняла глаза к потолку, я заподозрил, что эту идею подал ее мужу не кто иной, как она. Забегаловка или нет, а это первый такой ресторан в городе, сказал он. Возможно, даже во всей стране. Как видите, наши соотечественники истосковались по вкусу родины. Несмотря на относительно ранний час, половину двенадцатого утра, за всеми столиками уплетали суп люди с палочками в одной руке и ложкой в другой. Зал благоухал ароматами родины и был переполнен ее звуками – болтовней на нашем родном языке и самозабвенным хлюпаньем. Это, так сказать, некоммерческое предприятие, продолжал генерал. Вся выручка передается Движению.

Когда я спросил, кто об этом знает, генеральша ответила: все и никто. Это секрет полишинеля. Люди едят суп, приправленный верой в то, что этим они приносят пользу революции. Что же до самой революции, сказал генерал, то у нас есть уже почти все необходимое, вплоть до мундиров. Этим заведует мадам, так же как и всеми прочими вспомогательными работами по женской части и изготовлением флагов. Вы не представляете, какое зрелище она может сотворить! Она устроила в округе Ориндж потрясающий Тет – жаль, что вы пропустили. Я покажу вам снимки. Как все закричали и захлопали, когда увидели наших бойцов в мундирах и камуфляже, с нашим флагом! Мы укомплектовали из добровольцев-ветеранов первые роты. Они тренируются каждые выходные. Из них мы отберем лучших для следующего шага. Он наклонился ко мне над столиком и перешел на шепот. Мы отправляем разведгруппу в Таиланд. Они прилетят на нашу передовую базу и оттуда будут прокладывать сухопутный маршрут во Вьетнам. Клод говорит, время почти пришло.

Я налил себе чаю. Бона включили в эту группу? Конечно. Мне очень не хочется терять хорошего работника, но для такого дела у нас нет никого лучше. Что вы думаете на этот счет? Я думал, что единственная возможность добраться посуху из Таиланда во Вьетнам – это идти пешком через Лаос или Камбоджу, избегая проторенных дорог и выбирая взамен труднопроходимые места, то есть горы или

полные заразы джунгли, населенные только угрюмыми обезьянами, тиграми-людоедами и пугливыми, враждебно настроенными аборигенами, от которых не дождешься никакой помощи. Эти гиблые края идеально подходят для киносъемок, но у тех, кто выполняет там боевое задание, выбор невелик – пан или пропал. Говорить об этом Бону нужды не было. Мой сумасшедший друг записался в добровольцы не вопреки тому, что шансы на выживание стремились к нулю, а как раз по этой причине. Я взглянул на свою ладонь, на красную скобку шрама. Я вдруг ощутил все контуры своего тела, твердость стула под собой, почувствовал, как хрупка та сила, на которой держатся мое тело и моя жизнь. Большинство из нас до поры до времени принимает эту силу как данность, но до чего легко ее уничтожить! Я думаю, сказал я, обрывая ход своих мыслей, что, если Бон едет, я тоже должен ехать.

Генерал восторженно хлопнул в ладоши и обернулся к жене. Вот видишь? Я знал, что он вызовется. Капитан, я не сомневался в вас ни минуты. Но вы не хуже меня понимаете, что принесете больше пользы здесь, работая со мной над планированием и матобеспечением, не говоря уж о дипломатии и сборе средств. Я сказал конгрессмену, что наше сообщество изыскивает ресурсы для отправки группы помощи беженцам в Таиланде. В каком-то смысле мы этим и занимаемся, но нам еще предстоит убедить кое-кого из благотворителей в важности нашей задачи.

Или, по крайней мере, дать им повод сделать вид, будто они верят, что это и вправду наша задача, сказал я. Генерал удовлетворенно кивнул. В точности так! Я знаю, вы разочарованы, но это наилучшее решение. Здесь вы будете полезнее, а Бон сам о себе позаботится. А теперь вот что – уже почти полдень. По-моему, самое время глотнуть пивка, верно?

Над плечом генеральши виднелись часы, висящие на стене между флагом и плакатом. С плаката, рекламы нового сорта пива, улыбались три молодые красотки с грудями, имеющими размер и форму детских воздушных шаров; флаг был флагом поверженной Республики – три горизонтальные красные полосы на ярко-желтом поле. Генерал не однажды повторял, что это и есть флаг свободного вьетнамского народа. Я видел его раньше несметное множество раз, а подобные плакаты – часто, но я еще никогда не видел таких часов: их деревянный циферблат воспроизводил очертания нашей родины. Минутная и часовая стрелка вращались на юге этой игрушечной страны, а цифры нимбом окружали Сайгон. Какой-то ремесленник смекнул, что его товарищам по изгнанию нужен именно такой указатель времени. Мы были перемещенными лицами, но нас больше определяло время, нежели пространство. От нашей утраченной родины нас отделяло огромное, но конечное расстояние, тогда как количество лет, необходимое, чтобы преодолеть это расстояние, было потенциально бесконечным. Таким образом, главным вопросом для перемещенных лиц всегда оставался вопрос о времени: когда я смогу вернуться?

Кстати, о пунктуальности, сказал я генеральше. Ваши часы показывают неправильное время.

Нет, ответила она, поднимаясь, чтобы принести пиво. Они идут по сайгонскому времени.

Конечно, она была права. Как я сам не заметил? Сайгонское время отличалось от здешнего на четырнадцать часов – точнее, это мы отставали от Сайгона на четырнадцать часов. Беженцы, изгнанники, эмигранты – какого бы типа перемещенными лицами мы ни были, мы не просто жили в двух культурах, как утверждали адепты великого американского плавильного котла. Перемещенные лица живут еще и в двух разных часовых поясах – здесь и там, в настоящем и прошлом, будучи, как мы, путешественниками во времени поневоле. Только герои научной фантастики путешествуют в нем вперед или назад, а эти настенные часы демонстрировали иную хронологию. У них тоже был секрет полишинеля, открытый для всех, кто хотел его увидеть: что мы движемся во времени не по прямой, а кругами.



После ланча я кратко отчитался перед хозяевами о своих филиппинских приключениях, отчасти развеяв этим их мрачность и одновременно усилив чувство возмущения. Последнее можно считать противоядием от мрачности, так же как и от печали, тоски, отчаяния и т. п. Чтобы забыть о какой-либо разновидности боли, порой достаточно испытать боль другой разновидности – не зря ведь на медосмотре перед обязательной военной службой, экзамене, где не проваливается никто, кроме подцепивших вирус богатства, врач шлепает вас по одной ягодице, всаживая шприц в другую. Единственным, о чем я не сказал генералу и генеральше (помимо того, что я чуть не разделил судьбу жареных уток, подвешенных за анус в витрине соседней китайской закусочной), была компенсация, полученная мной за это едва не ставшее роковым испытание. Наутро после визита статистов с подарками ко мне явились два других гостя – Вайолет и высокий, худой белый незнакомец в бирюзовом костюме, узорчатом галстуке, толстом, как Элвис Пресли, и сорочке густого желтого цвета мочи после обильного потребления спаржи. Ну как вы? – спросила она. Уше лучше, прошептал я, хотя мог говорить совершенно нормально. Она посмотрела на меня с подозрением и сказала: мы все очень беспокоимся о вас. Он просил передать, что навестил бы вас сам, но сегодня к нам в лагерь приезжает президент Маркос.

Тем, кого не требовалось называть по имени, был, конечно же, Творец. Я только кивнул, мудро и грустно, и сказал: я понимаю, хотя даже упоминание о нем взбесило меня. Это лучшая больница в Маниле, сказал незнакомец в костюме, направив мне в лицо поисковый фонарь улыбки. Мы все хотим, чтобы вас лечили по высшему разряду. Как ваше самочувствие? Если честно, ответил я, продолжая лгать, то хуже некуда. Мне очень жаль, сказал он. Позвольте представиться. Он извлек на свет божий девственно белую визитную карточку с такими острыми краями, что о них можно было порезаться. Я представитель киностудии. Мы хотим сообщить вам, что оплачиваем все счета за ваше лечение.

А что произошло?

Вы не помните? – спросила Вайолет.

Взрыв. Много взрывов.

Это был несчастный случай. Мне прислали отчет, сказал представитель, поднимая свой красно-коричневый портфель повыше, чтобы я увидел сверкающие золотые застёжки. Какая расторопность! Я бегло проглядел отчет. Детали были несущественны, но сам факт его наличия убедительно доказывал, что смазка нужных винтиков маслом известного сорта творит чудеса не только у нас на родине. Мне повезло, что я остался жив? Вы просто счастливчик, сказал он. Вы живы, относительно здоровы, и у меня в портфеле лежит для вас чек на пять тысяч долларов. Согласно медицинским протоколам, которые я видел, вы получили отравление дымом, ушибы и царапины, парочку легких ожогов, шишку на затылке и небольшое сотрясение. Ни переломов, ни повреждений внутренних органов – ничего серьезного. Но студия хочет позаботиться о том, чтобы все ваши нужды были удовлетворены. Открыв портфель, представитель вынул оттуда какой-то документ на нескольких страницах, скрепленных степлером, и один длинный зеленоватый листочек – банковский чек. Конечно, вам придется подписать квитанцию, а также эту бумагу, освобождающую студию от всех дальнейших обязательств.

Выходит, мою жалкую жизнь оценили в пять тысяч долларов? Согласен, сумма немалая – я еще никогда не видел столько денег зараз. На это они и рассчитывали, но даже несмотря на туман в голове я понимал, что на первое предложение соглашаться нельзя. Спасибо за ваше великодушие, сказал я. Это очень благородно со стороны студии – беспокоиться обо мне, идти на такие хлопоты. Но вы, наверное, знаете, а может быть, и не знаете, что я единственный кормилец своей многочисленной родни. Пяти тысяч долларов хватило бы с лихвой, если бы речь шла только обо мне, но мы, уроженцы Азии – тут я сделал паузу и придал своему взгляду оттенок задумчивой отрешенности, дабы они успели представить себе могучий генеалогический баньян, укрывший меня внушительной сенью

поколений, чьи корни прячутся в моей макушке, – мы, азиаты, не можем думать только о себе.

Да-да, разумеется, сказал представитель. Семья – это для вас всё. Как и для нас, итальянцев.

Итальянцев? Азиат должен думать о своей матери и своем отце. О своих братьях и сестрах, о дедушках и бабушках. О двоюродных и троюродных, о жителях своей деревни. Стоит кому-нибудь прослышать о моей удаче – и начнется. Маленькие знаки внимания. Просьбы: пятьдесят долларов тому, сто долларов этому. Руки потянутся ко мне со всех сторон. И отказать-то ведь невозможно! Теперь вы понимаете, в какой ситуации я очутился? Лучше бы мне вовсе не брать никаких денег. Это избавило бы меня от огромных нервных перегрузок. Или наоборот. Взять столько, чтобы хватило на скромную помощь всем родственникам и еще осталась бы кроха для меня.

Представитель молчал, ожидая продолжения, но я умолк, ожидая ответа. Наконец он сдался и сказал: будучи неосведомленным о структуре азиатских родственных связей, я также не представляю себе, какая сумма могла бы оказаться достаточной для исполнения всех ваших семейных обязательств, играющих в вашей культуре столь высокую роль и потому внушающих мне чрезвычайное уважение.

Я молчал, ожидая продолжения, но он умолк, ожидая ответа. Мне трудно назвать точную сумму, сказал я. Но если не гнаться за точностью, полагаю, двадцати тысяч долларов будет достаточно. На удовлетворение всех нужд моих родственников. Как предвиденных, так и непредвиденных.

Двадцать тысяч долларов? Брови представителя выгнулись дугой и замерли в этой позе, как заправские йоги. Ах, если бы вы знали страховые расценки так, как знаю их я! За двадцать тысяч долларов вы должны были бы потерять по крайней мере палец, а лучше целую конечность или, если говорить о менее наглядных утратах, какой-нибудь жизненно важный орган либо одно из ваших пяти чувств.

С тех пор как я очнулся после взрыва, меня непрерывно точило странное, не поддающееся определению беспокойство. Теперь я понял, чем вызван этот зуд нефизического характера: я что-то забыл, но не знал что. Из трех разновидностей забывания эта – наихудшая. Обычно люди знают, что они забыли; так происходит с датами, математическими формулами и именами знакомых. Забывают, не зная, что они что-то забыли, наверное, еще чаще, а может быть, и реже, но это хотя бы гуманно: в таком случае мы не осознаем своей потери. Но знать, что ты что-то забыл, и не знать что – от этого меня бросало в дрожь. Я и вправду кое-что потерял, сказал я, и в моем голосе прозвучала боль, прокрававшаяся туда помимо моей воли. То, что было у меня в голове.

Вайолет с представителем переглянулись. Боюсь, я не понимаю, сказал он.

Кусок моей памяти, сказал я. Он полностью стерся – от взрыва до настоящего времени.

К сожалению, вам едва ли будет просто это доказать.

Как доказать кому-то, что ты что-то забыл или что ты что-то знал, но больше этого не знаешь? И все-таки я не спасовал перед представителем студии. Даже после передрыги на кладбище мои прежние инстинкты никуда не исчезли. Привычка – вторая натура, и разучиться врать так же трудно, как разучиться сворачивать самокрутки или раскатисто произносить букву “р”. Тут я ничем не отличался от представителя, в котором сразу опознал родственную душу. При торговле, как и на допросах, ложь никого не корбит – напротив, ее ждут. Существует уйма ситуаций, требующих лжи ради достижения приемлемой правды, и наша беседа продолжалась, пока мы не сошлись на взаимно приемлемой сумме в десять тысяч долларов, каковая, будучи лишь половиной той, что я запросил, тем не менее вдвое превышала ту, что мне предложили. Представитель выписал мне новый чек, а я

подписал документы, после чего мы обменялись прощальными любезностями, никчемными, как открытки с изображениями никому не известных бейсболистов. На пороге, уже взявшись за ручку двери, Вайолет взглянула на меня через плечо – есть ли на свете более романтическая поза, даже если ее принимает женщина вроде нее? – и сказала: вы знаете, что мы не сделали бы этого фильма без вас.

Верить ей было все равно что верить в роковых обольстительниц, честно избранных губернаторов, маленьких зеленых человечков из космоса, добрых полицейских, в святость святых отцов вроде моего отца, человека с прямой спиной и кривой душой. Но я хотел ей поверить, да и какой вред могла причинить эта маленькая белая ложь, даже принятая за правду? Никакого. Меня оставили с шумом дешевой дискотеки в голове и зеленым чеком. Почти невесомый, он означал весьма увесистый куш. Я чувствовал себя целой страной: меня распирало от гомона статистов и мертвецов, всех этих непредставленных, недопредставленных и лживо представленных горемык, которые, подобно динозаврам, были не более чем смазкой для военной машины и киношной машины. Раздавленные, мое тело и жизнь обрели цену – ее проставили на этикетке и налепили на меня, как на банку со свеклой. Мертвый я стоил больше, чем живой, и обошлось мне это, если они не лгали, всего лишь в шишку на затылке да в клочок памяти, а ведь ее и так было у меня чересчур много. Но откуда же тогда взялось это томительное онемение, словно меня незаметно прооперировали, накачав лекарствами, и отнятая у меня часть памяти превратилась в фантомную конечность, на которую я то и дело пытался опереться?

Вернувшись в Калифорнию без ответа на этот вопрос, я обналичил чек и внес половину на свой банковский счет, к тому времени уже почти пустой. Когда я пришел в генеральский ресторан, другая половина лежала в конверте у меня в кармане. Ближе к вечеру я поехал в Монтерей-Парк – там, в пригородном районе, скучном и пресном, как тофу, ждала моего визита вдова упитанного майора. Я признаюсь, что собирался отдать ей деньги из своего кармана – деньги, которые можно было употребить на более революционные цели. Но разве есть что-нибудь более революционное, чем помогать врагу и его родным? Разве есть что-нибудь радикальнее прощения? Конечно, прощения просил не он – его просил я за то, что с ним сделал. В гараже от этого не осталось и следа; в доме тоже не чувствовалось атмосферных возмущений, говорящих о присутствии его духа. Я не верю в Бога, но верю в привидения. Я знаю, что это так, поскольку привидений я боюсь, а Бога – нет. Бог никогда не являлся мне, в отличие от призрака упитанного майора, и когда передо мной открылась дверь в его квартиру, я затаил дыхание, боясь увидеть на дверной ручке его руку. Но за порогом меня встретила всего лишь его вдова, бедная женщина, скорее пополнившая, чем исхудавшая от своих горестей.

Капитан! Я так рада вас видеть! Она усадила меня на цветастый диванчик, покрытый скрипучим прозрачным пластиком. На журнальном столике меня уже ждали чайник китайского чая и тарелка с “дамскими пальчиками”. Возьмите “пальчик”, сказала она, подвигая мне угощение. Я знал марку – это была та самая французская компания, что производила *petit écolier*, печенье моего детства. Кто-то, а французы понимают толк в порочных удовольствиях. Моя мать обожала “дамские пальчики” – отец соблазнял ее ими, хотя, рассказывая об этом мне, подростку, она употребила слово “дарил”. В то время у меня уже хватало соображения на то, чтобы представить себе, какое впечатление священник с “дамскими пальчиками” мог произвести на ребенка – именно на ребенка, а не на женщину, потому что, когда отец принялся обхаживать маму, ей было всего тринадцать. В мире есть страны, где считается или считалось, что тринадцати достаточно для постели, брака и материнства – а в иных случаях для всего этого минус что-нибудь одно, – но ни современная Франция, ни моя родина к этим странам не относятся. Не то чтобы я не понимал отца, который стал моим отцом, будучи лишь на несколько лет старше меня нынешнего, сидящего сейчас на диване с “дамским пальчиком” во рту. Мне тоже случалось положить глаз на какую-нибудь юную американочку, в свои тринадцать более развитую, чем студентки у нас на родине. Но мысли и поступки – разные вещи. Если бы нас осуждали за мысли, нам всем была бы прямая дорога в ад.

Возьмите еще, уговаривала вдова упитанного майора с материнской настойчивостью. Взяв “пальчик”, она наклонилась вперед и сунула бы мне его в губы, если бы я не перехватил ее руку и не отобрал печенье. Они замечательные, просто замечательные, сказал я. Но дайте мне сначала глотнуть чайку. Тут у доброй женщины закапали слезы. Что такое? – спросил я. Точно так же говорил и он, ответила она, и по спине у меня пробежал холодок, словно упитанный майор манипулировал мной из-за занавеса, отделяющего сцену жизни от закулисья посмертного бытия.

Как мне без него плохо! – простонала она. Скрипя пластиком, я переместился к ней и похлопал ее по плечу, стараясь унять рыдания. Я не мог отогнать от себя картину своей последней встречи если не с духом упитанного майора, то с его телом. Я видел, как он лежит на спине с третьим глазом во лбу, два остальных тоже открыты и слепо смотрят в никуда. Раз Бога нет, то нет и Божьей кары, но это ничего не значит для призраков, которым Бог не нужен. Мне не надо было исповедоваться Богу, в которого я не верил, но надо было умиротворить призрака, чье лицо смотрело на меня с алтаря на тумбочке. Там стояла фотография юного упитанного майора в форме курсанта, снятая в те годы, когда его первому подбородку еще и не снилось, что он станет дедушкой третьего, и, утешая вдову, я чувствовал на себе взгляд темных глаз ее мужа. Все его питание за гробом составляли подернутый плесенью апельсин, пыльная банка мясных консервов и трубочка мятных леденцов – эту нехитрую снедь, разложенную перед фотографией, освещала гирлянда мигающих новогодних лампочек, которыми вдова некстати декорировала алтарь. Несправедливость царит и в потустороннем мире: потомки богачей балуют своих предков огромными вазами, полными свежих фруктов, бутылками шампанского и паштетом из гусиной печенки, а самые ответственные вдобавок сжигают в качестве жертвоприношений не только обычные бумажные вырезки с домами и автомобилями, но и цветные иллюстрации из “Плейбоя”. Жаркое, податливое женское тело – хорошее подспорье мужчине в долгой и холодной загробной жизни, и я поклялся упитанному майору, что принесу ему в жертву какую-нибудь грудастую сногшибательную Мисс Март.

Его вдове я сказал: я обещал вашему мужу, что, если возникнет нужда, обязательно позабочусь по мере сил о вас и о ваших детях. Все остальное, о чем я рассказал, было правдой: мое путешествие на Филиппины, настоящий или мнимый несчастный случай и доставшаяся мне за него награда, половину которой я и вручил ей в конверте. Она стала вежливо отказываться, но мой совет подумать о детях сломил ее сопротивление. После этого мне не осталось ничего другого, кроме как уступить ее настояниям и пойти смотреть на вышеозначенных детей. Они были в соседней комнате – спали, чем и должны заниматься все хорошие дети. Я на них не нарадуюсь, прошептала она, стоя со мной рядом. Только они и поддерживают меня в эту тяжкую пору, капитан. Думая о них, я меньше думаю о себе и о моем дорогом, любимом муже. Они прекрасны, сказал я, солгав и не солгав одновременно. Они были прекрасны для нее, но не для меня. Не скрою, что я не слишком горячий поклонник детей: я сам был одним из них и еще тогда убедился в том, что меня и всю нашу братию в основном презирают. В отличие от многих, я никогда не стремился к самовоспроизведению, намеренному или случайному, поскольку мне с лихвой хватает себя самого и в одном экземпляре. Но эти младенцы, которым не исполнилось и года, еще не ведали о своей вине. Лица этих маленьких спящих чужаков выдавали в них пугливых, незащищенных новых эмигрантов, только что изгнанных в наш мир.

Единственное мое преимущество перед этими близнецами заключалось в том, что у меня в детстве был отец, который мог сообщить мне о моей вине, а у них его не было. Мой отец проводил уроки для детей своей епархии, и мама велела мне их посещать. В его классе я познакомился с Библией и историей моего божественного Отца, со славными деяниями своих галльских предков и катехизисом католической церкви. В то время, когда мои лета можно было пересчитать по пальцам двух рук, я был наивен и не знал, что этот отец в черной сутане, этот святой человек, потеющий в своем противоестественном одеянии, дабы спасти нас от наших тропических грехов, еще и мой собственный отец. Позже этот факт заставил меня

по-новому отнестись ко всему, что я от него услышал, начиная с самой базовой доктрины нашей веры, вбитой в головы нашего взвода юных католиков моим отцом, когда он рассказывал перед нами, читая по губам наш коллективный ответ:

В. Как именуется грех, который мы унаследовали от наших прародителей?

О. Грех, который мы унаследовали от наших прародителей, именуется первородным грехом.

Самый важный для меня Вопрос, не дававший мне покоя, был связан с этим первородным грехом, ибо касался установления личности моего отца. Ответ на него я получил в одиннадцать лет, и поводом к этому послужил инцидент, разыгравшийся после воскресной школы на пыльном пятачке земли около церкви – на той территории, где мы, дети, часто воспроизводили друг на дружке разнообразие библейские злодеяния. Когда мы смотрели, как импортный отцовский бульдог обрабатывает в тени эвкалипта свою скулящую партнершу – язык болтается, огромный розовый шар мошонки так и ходит ходуном в завораживающем ритме, – один из моих более информированных сверстников решил добавить к этому уроку полового просвещения свой комментарий. Кобель и сука – это нормально, сказал он. Но такие – тут он обратил на меня палец и презрительный взор, – такие, как он, получают, когда то же самое делают кошка с собакой. Всеобщее внимание переключилось на меня. Я стоял точно в лодке, отплывающей от берега, где остались они все, и видел себя их глазами: ни собака ни кошка, ни человек ни зверь.

Собака и кошка, сказал мне этот маленький шутник. Собака и кошка...

Когда я ударил шутника по носу и оттуда потекла кровь, он умолк, ошарашенный, на миг скосив глаза в попытке оценить ущерб. Когда я ударил его по носу вторично, кровь хлынула ручьем, и на сей раз шутник закричал в голос. Я продолжал наносить удары, двигаясь от его ушей к щекам, потом к солнечному сплетению и плечам, в которые он старался спрятать голову, когда упал наземь и я упал поверх него. Наши товарищи столпились вокруг, и под их вопли, свист и хохот я молотил его, пока у меня не заныли кулаки. Ни один из этих свидетелей не заступился за шутника, и я наконец остановился сам, когда его рыдания стали походить на сдавленный смех человека, только что услышавшего самый уморительный на свете анекдот. Когда я поднялся на ноги, вопли, свист и хохот утихли, и на восхищенных лицах этих маленьких садистов я увидел если не уважение, то страх. Я пошел домой в смятении, стараясь понять, что же именно я узнал, не в силах облечь это в слова. В моем мозгу не находилось места ничему, кроме непристойной картины: собака, взгромоздившаяся на кошку, но не с обыкновенной кошачьей мордой, а с лицом моей матери. Это было так невыносимо, что, придя домой и увидев ее, я разревелся и выложил все, что со мной случилось.

Сынок мой, сынок, ты у меня самый-самый нормальный, сказала мама, прижимая меня к себе. Я вдыхал ее отчетливый мускусный аромат, обливая слезами подушку ее груди. Ты для меня Божий дар. Ничто и никто не может быть лучше. А теперь послушай меня, сынок. Взглянув сквозь пелену слез вверх, в ее глаза, я обнаружил, что и она тоже плачет. Ты всегда хотел знать, кто твой отец, и я говорила тебе, что, когда ты это узнаешь, ты станешь мужчиной. Тебе придется распрощаться с детством. Ты уверен, что хочешь это знать?

Когда мать спрашивает сына, готов ли он стать мужчиной, разве он может ответить “нет”? Я кивнул и прижался к ней еще крепче – мой подбородок на ее груди, щека на ее ключице.

Ты не должен никому говорить то, что я скажу тебе сейчас. Твой отец...

Она назвала его имя. И, видя растерянность в моих глазах, добавила: когда я работала у него служанкой, я была очень молода. Он всегда был ко мне очень добр, и я была ему благодарна. Мои бедняки-родители не могли отправить меня в школу, а он научил меня читать и считать на своем языке. По вечерам мы проводили

вместе много времени, и он рассказывал мне о Франции и о своем детстве. Я видела, что ему очень одиноко. Он был единственный такой в нашей деревне, и мне казалось, что я такая тоже единственная.

Я вырвался из материнских объятий и зажал уши. Я больше не хотел ее слушать, но я онемел, и она продолжала говорить. Я больше не хотел видеть, но, даже закрыв глаза, не мог избавиться от картин, которые плыли передо мной. Он обучил меня Слову Божьему, сказала она, и я научилась читать и считать по Библии, запоминая наизусть Десять заповедей. Мы читали при свете лампы, сидя бок о бок за его столом. И однажды ночью... вот видишь, именно поэтому ты и есть самый нормальный, сынок. Тебя послал сам Бог, потому что он никогда не позволил бы случиться тому, что случилось между твоим отцом и мной, если бы у него не было для тебя какой-то роли в его Великом Замысле. Я верю в это, и ты тоже должен верить. У тебя есть Предназначение. Помни, что Иисус омыл ноги Марии Магдалине, и допускал к себе прокаженных, и противостоял фарисеям и власть имущим. Кроткие наследуют землю, сынок, а ты один из кротких.

Интересно, если бы моя мать увидела меня теперь над колыбелью с детьми упитанного майора, я по-прежнему показался бы ей одним из кротких? А что до этих детей – сколько еще им суждено было оставаться в неведении насчет вины, которую они уже несли в себе, а также грехов и преступлений, которые они были обречены совершить? Когда они отпихивали друг дружку, возясь у материнской груди, разве не возникало у каждого из них, пусть только на миг, желание, чтобы другой исчез? Но вдова, которая стояла рядом со мной, любясь чудесными плодами своего чрева, не искала ответа на эти вопросы. Она ждала, чтобы я окропил малюток святой водой бессмысленных комплиментов – и, когда я нехотя провел этот обязательный обряд, так возликовала, что уговорила меня остаться на ужин. Впрочем, мне до того надоела диета из полуфабрикатов, что меня и не пришлось долго уговаривать, и вскоре я понял, отчего под крылышком своей любящей супруги упитанный майор становился все толще и толще. Ее тушеное мясо было бесподобно, гарнир из поджаренного водяного шпината напоминал тот, что готовила моя мать, тыквенный суп смягчил гложащее меня чувство вины. Даже ее белый рис отличался удивительной пышностью – есть его было все равно что нежиться на лебяжьей перине после многих лет сна на синтетическом матрасе. Кушайте! Кушайте! Кушайте! – твердила она с интонациями, знакомыми мне до боли, потому что мама тоже всегда просила меня кушать побольше, каким бы скудным ни был наш общий обед. И я наелся так, что едва дышал, а потом она заявила, что не отпустит меня, пока в тарелке на журнальном столике остается еще хоть один “дамский пальчик”.

После этого я отправился в ближайший винный магазин, эмигрантскую лавку, и купил у бесстрастного сикха с толстыми, подкрученными вверх усами – украшением, доступным мне разве что в мечтах, – номер “Плейбоя”, блок “Мальборо” и щемяще-прекрасную, просвечивающую насквозь бутылку “Столичной”. Все это был чистый разврат в духе гнилого капитализма, но название водки, в котором слышалось эхо имен Ленина, Сталина и Калашникова, несколько умерило мой стыд. Если не считать политических беженцев, в Советском Союзе есть лишь три товара, пригодных для экспорта: водка, оружие и романы. Оружием я восхищаюсь как профессионал, а водку с романами люблю горячо и искренне. Русский роман XIX века и водка идеально подходят друг другу. Читать роман, потягивая водку, значит легитимировать выпивку, а роман благодаря выпивке кажется короче, чем на самом деле. Я вернулся бы в магазин за таким романом, но вместо “Войны и мира” там продавались комиксы про сержанта Рока.

Потом, замешкавшись на автостоянке с пакетом своих сокровищ в объятиях, я наткнулся глазами на платный телефон, и во мне снова зашевелилось желание позвонить Софии Мори. По какой-то странной причине я откладывал этот звонок, изображая занятость, хотя миз Мори даже не знала о моем приезде. Но я решил не тратить десятицентовик, а просто сел за руль и покатил к ней через весь Лос-Анджелес. После выплаты вдове упитанного майора компенсации за убийство мужа мне заметно полегчало, и, когда я мчался по шоссе, почти свободному в этот

предвечерний час, призрак упитанного майора довольно посапывал у меня над ухом. Найдя местечко для парковки на забитой машинами улице неподалеку от дома миз Мори, я вынул из пакета с покупками “Плейбой”, открыл его на центральном развороте с Мисс Март, зазывно раскинувшейся на стоге сена в одних только ковбойских сапожках и шейном платке, и оставил на заднем сиденье на забаву призраку упитанного майора.

Район миз Мори выглядел таким же, каким я его помнил: бежевые коттеджи с блеклыми тупеями лужаек и серые многоквартирные дома с казенным очарованием армейских бараков. В ее окнах, за плотно задернутыми алыми занавесками, горел свет. Первым, что я заметил, когда она отворила дверь, были ее волосы, отпущенные до плеч и уже не завитые, как раньше, а прямые. С такой прической она словно помолодела, и это впечатление усиливала ее простая одежда – черная футболка и синие джинсы. Это ты! – воскликнула она радостно. Когда мы обнялись, все мигом вернулось – ее привычка пользоваться детской присыпкой вместо духов, идеальная температура тела, маленькие бархатистые груди, как правило, заключенные для пущей сохранности в мягкий бюстгальтер, но сегодня свободные от этого плена. Почему ты не позвонил? Входи. Она потянула меня в хорошо знакомую квартирку, скудно обставленную в духе революционного аскетизма: она восхищалась умением таких людей, как Че Гевара и Хо Ши Мин, путешествовать по жизни налегке. Самым крупным предметом мебели в ее владениях был большой складной футон в гостиной, на котором обычно сидела ее черная кошка. Как правило, эта кошка держалась от меня поодаль. Это нельзя было объяснить страхом или уважением, потому что во время наших с миз Мори постельных игр она устраивалась на тумбочке и оценивала мое исполнение презрительным взглядом своих зеленых глаз, иногда поднимая лапу и вылизывая ее между растопыренными когтями. Кошка никуда не делась, но сегодня она лежала на коленях у Сонни, который сидел на футоне, скрестив по-турецки босые ноги. Он улыбнулся чуть сконфуженно, но во всей его повадке, в том, как он согнал кошку с колен и поднялся мне навстречу, сквозило самодовольство собственника. Рад снова тебя видеть, дружище, сказал он, протягивая руку. Мы с Софией частенько о тебе говорим.

## Глава 13

А чего я ждал? Я провел в отъезде семь месяцев и за все это время ни разу не позвонил, так что с моей стороны наше общение свелось лишь к нескольким открыткам с парой слов на каждой. Что же касается миз Мори, то она никогда не проявляла особой приверженности ни к моногамии, ни к мужчинам вообще, тем паче к какому бы то ни было конкретному мужчине. О ее взглядах убедительно свидетельствовала самая заметная деталь обстановки в ее гостиной – книжные полки, прогнувшиеся, точно спины кули, под грузом сочинений Симоны де Бовуар, Анаис Нин, Анджелы Дэвис и других идеологинь, муссировавших Женский Вопрос. Этот вопрос задавали и западные мужчины, от Адама до Фрейда, хотя они формулировали его по-своему: чего хочет женщина? Но они по крайней мере не игнорировали эту тему. Я же только теперь осознал, что нам, вьетнамцам-мужчинам, никогда не приходило в голову спросить, чего хочет женщина. К примеру, я ни сном ни духом не ведал, чего хочет миз Мори. Возможно, у меня появилось бы об этом какое-то смутное представление, почти я хотя бы часть этих книг, но я никогда не забирался дальше кратких аннотаций на суперобложках. Чутье подсказывало мне, что Сонни, в отличие от меня, прочел как минимум некоторые из них целиком, и, сев около него, я ощутил неприятное кожное покалывание. Это была анафилактическая реакция на его присутствие, вспышка враждебности, спровоцированная его дружелюбной улыбкой.

Что у тебя там? – спросил Сонни, кивая на бумажный пакет у меня на коленях. Миз Мори вышла, чтобы принести еще один бокал. Два других уже стояли на журнальном столике; в натюрморт входили также открытая бутылка красного вина, пронзенная штопором окровавленная пробка и фотоальбом. Сигареты, сказал я, вынимая блок. И водка.

Мне ничего не оставалось, кроме как предложить Сонни водки, которую он показал вернувшейся с кухни миз Мори. Не стоило тратить, весело сказала она, ставя ее рядом с вином. Чудесная прозрачная “Столичная” казалась воплощением стоического русского духа, и с минуту мы созерцали ее молча. В каждой полной бутылке спиртного таится свое послание, и его смысл не откроется вам, пока вы ее не выпьете. Послание, спрятанное в этой бутылке, я собирался прочесть вместе с миз Мори; это было ясно и ей, и Сонни, и мы так и продолжали бы зябнуть в студеных водах неловкости, если бы нас не выручила хозяйка с присущим ей тактом. Это очень предусмотрительно с твоей стороны, сказала она. Особенно с учетом того, что у нас почти кончились сигареты. Я возьму одну, если не возражаешь.

Ну так что, сказал Сонни, как твоя поездка на Филиппины?

Я тоже хочу послушать, сказала миз Мори, наливая вина мне и заново наполняя два других бокала. Всегда мечтала там побывать – с тех пор как наслушалась рассказов дяди. Он там воевал. Я вскрыл блок, угостил ее сигаретой, закурил сам и начал свою хорошо отрепетированную повесть. Кошка зевнула с царственным презрением, залезла обратно на колени к Сонни, развалилась там, насмешливо ухмыльнулась мне, потом заснула от скуки. Сонни с миз Мори слушали меня, курили мои сигареты и задавали вежливые вопросы, но у меня было стойкое впечатление, что их интерес к моему рассказу ненамного выше кошачьего. Обескураженный, я даже не решился поведать им, как едва не погиб, и моя история увяла без кульминации. Случайно мой взгляд упал на фотоальбом, открытый на странице с черно-белыми сценками из жизни семьи среднего достатка за несколько десятилетий до нашего времени: отец и мать у себя дома в креслах с кружевными оборками, их сыновья и дочери за фортепиано, за вышивкой, за общим обеденным столом, все в одежде и с прическами тридцатых. Кто это? – спросил я. Моя семья, сказала миз Мори. Семья? Ее ответ меня озадачил. Конечно, я знал, что у миз Мори есть родственники, но она редко о них говорила и уж точно никогда не показывала мне их фотографии. Все, что я знал, – это что они живут гораздо севернее, в одном из пыльных и жарких городков в долине Сан-Хоакин. Это Бетси, а это Элеонор, сказал Сонни, наклонившись и тыча



пальцем в соответствующие лица. А вот Джордж и Эйб. Бедняга Эйб!

Я посмотрел на миз Мори, потягивающую вино. Он погиб на войне?

Нет, ответила она. Он отказался идти на войну. Так что взамен его посадили в тюрьму. Он до сих пор обижен. Да и кто бы на его месте не обиделся! Уж я бы непременно. Мне просто хочется, чтобы это наконец перестало его точить. С войны прошло уже тридцать лет, а она все еще живет с ним, хотя он там не был и не воевал.

Он боролся, сказал Сонни. Просто он боролся дома. У кого повернется язык его упрекнуть? Правительство сажает его семью в лагерь, а потом предлагает ему идти воевать за страну? Я бы тоже разозлился, как черт!

Теперь нас разделяла пелена дыма. Слабые завихрения наших мыслей принимали летучие, мимолетные материальные формы, и на секунду над головой Сонни повисла призрачная версия меня. И где Эйб сейчас? – спросил я.

В Японии. Не то чтобы там он был счастливее, чем здесь. Когда кончилась война и его выпустили, он решил вернуться к своему народу, как ему всю жизнь советовали белые люди, хотя родился он тут. В общем, он туда поехал и обнаружил, что японцы тоже не считают его своим. Для них он один из нас, а для нас – один из них. Словом, ни то ни се.

Пусть обратится за помощью к нашему завкафедрой, сказал я.

Боже. Надеюсь, ты шутишь, пробормотала миз Мори. Разумеется, я шутил, но оказаться неожиданно-негаданно одной из вершин любовного треугольника – событие малоприятное, и это выбило меня из колеи. Чтобы восстановить равновесие, я осушил свой бокал и, посмотрев на бутылку, увидел, что она уже пуста. Водки выпьешь? – спросила миз Мори. Ее взгляд был полон жалости, а это блюдо всегда подают лишь чуточку теплым. Подвал моего сердца затопила черная тоска, и я ограничился немым кивком. Она пошла на кухню за чистыми стаканами, а мы с Сонни остались сидеть в неловком молчании. Будучи налитой и испробованной, водка не обманула моих ожиданий – только таким ядреным, ароматным растворителем и можно было омыть изнутри заляпанные и облезлые стены моей души.

Может, съездим как-нибудь в Японию? – спросил Сонни. Я бы хотел познакомиться с Эйбом.

Я тоже хотела бы вас познакомить, сказала миз Мори. Он борец, как и ты.

Водка располагает к честности, особенно если добавить в нее лед, как сделал я. Водка со льдом так прозрачна, чиста и крепка, что эти ее качества передаются пьющим. Я проглотил остаток своей, готовясь к неизбежным моральным синякам. Еще с наших университетских лет я хотел спросить у тебя одну вещь, Сонни. Тогда ты все говорил, как горячо ты веришь в народ и революцию, помнишь? Жалко, что вы его не слышали, миз Мори. Он такие речи заворачивал!

Я бы с удовольствием послушала, сказала миз Мори. С большим удовольствием.

Но если бы вы их послушали, то сами спросили бы, почему он не вернулся и не стал сражаться за революцию, в которую так страстно верил. Или почему не возвращается теперь, чтобы стать частью народа и строить революционное завтра. Даже ваш брат Эйб сел в тюрьму и уехал в Японию ради того, во что он верил.

И чего он этим добился? – спросила миз Мори.

Я все-таки хотел бы получить ответ на свой вопрос, Сонни. Ты еще здесь, потому что любишь миз Мори? Или ты еще здесь, потому что боишься?

Он содрогнулся. Я попал туда, где удар чувствуется всего сильнее, – в солнечное

сплетение совести, очень уязвимое у любого идеалиста. Обезоружить идеалиста легче легкого: надо просто спросить, почему он не на передовой линии в той битве, которую для себя выбрал. Слова не должны расходиться с делами, и я знал, хотя моим собеседникам это было и невдомек, что сам я верен этому принципу.

Пристыженный, он уперся глазами в свои босые ноги, но на миз Мори это почему-то не произвело никакого эффекта. Она лишь взглянула на него с пониманием, но когда ее взор обратился на меня, в нем по-прежнему сквозила жалость и что-то еще – не укоризна ли? Пора было остановиться и вежливо откланяться, но водка, слишком медленно вытекающая сквозь засоренную сливную решетку в подвале моего сердца, побудила меня плыть дальше. Ты всегда с таким восхищением говорил о народе, сказал я. Если тебе так хочется быть со своим народом, езжай домой!

Его дом здесь, сказала миз Мори. С сигаретой в руке, вставшая на защиту Сонни, она была соблазнительна, как никогда. Он остался здесь, потому что здесь его земляки. И он должен работать, с ними и для них. Неужели ты не понимаешь? Ведь твой дом теперь тоже здесь, разве не так?

Сонни коснулся ее руки ниже плеча и сказал: София. В горле у меня стоял ком, но я не мог сглотнуть, глядя, как она положила свою руку на его. Не защищай меня. Он прав. Да неужто? Такого я от него раньше никогда не слышал. Можно было праздновать победу, но мне становилось все яснее, что и душой, и разумом миз Мори останется на стороне Сонни, какие бы аргументы против него я ни приводил. Он допил свою водку и сказал: я живу в этой стране уже четырнадцать лет. Еще через несколько лет получится, что я прожил здесь столько же, сколько на родине. У меня никогда не было таких планов. Как и ты, я приехал сюда учиться. Я хорошо помню, как прощался в аэропорту с родителями и обещал им вернуться, чтобы помочь нашей стране. У меня же будет американское образование, лучшее в мире! И я воспользуюсь этими знаниями, чтобы помочь нашему народу избавиться от американцев. Вот на что я надеялся.

Он протянул миз Мори стакан, и та налила ему новую щедрую порцию. Пригубив ее и глядя куда-то между мной и миз Мори, он заговорил снова. Чему я научился против своей воли – так это тому, что нельзя жить среди чужого народа и не измениться под его влиянием. Он крутнул водку в стакане и прикончил ее одним самобичующим глотком. Иногда я кажусь немножко иностранцем даже самому себе, сказал он. Я признаю, что испуган. Признаю свою трусость и лицемерие, свою слабость и вину. Признаю, что по-человечески ты лучше меня. Я не согласен с твоими взглядами – они мне противны, – но ты поехал домой, когда у тебя был выбор, и дрался за то, во что ты веришь. Ты бился за наш народ, пускай в твоём понимании. И за это я тебя уважаю.

Я не верил своим ушам. Я вынудил его признаться в своих ошибках и сдаться. Я победил в споре с Сонни, что никогда не удавалось мне в студенческие годы. Так почему же миз Мори приникла к его руке и шепчет ему утешения? Все нормально, сказала она. Я прекрасно понимаю твои чувства. Нормально? Мне тоже захотелось выпить еще. Посмотри на меня, Сонни, продолжала миз Мори. Кто я? Секретарша у белого человека, который думает, что льстит мне, когда называет меня мисс Баттерфляй. Разве я посылаю его к чертям собачьим? Нет. Я улыбаюсь, помалкиваю и печатаю дальше. Я ничем не лучше тебя, Сонни. Они посмотрели друг другу в глаза, как будто меня не существовало. Я налил всем еще, но сделал глоток только я один. Та часть, которая была мной, сказала: я люблю вас, миз Мори. Никто этого не услышал. Они услышали, как тот, кем я притворялся, сказал: но ведь бороться никогда не поздно, правда, миз Мори?

Это разрушило чары. Сонни снова перевел взгляд на меня. С помощью какого-то интеллектуального дзюдо он обратил всю силу моего удара на меня самого. Но никакого торжества на его лице я не увидел: он действительно изменился со студенческих лет. Конечно, бороться никогда не поздно, сказал он, трезвый, несмотря на вино и водку. В этом ты совершенно прав, дружище. О да, сказала и миз Мори. По тому, как медленно она выдохнула эти слова, по тому, каким жадным и напряженным был ее обращенный на Сонни взгляд – на меня она никогда так не

смотрела, – по тому, что она предпочла простому утверждению двусложное, я понял, что между нами все кончено. Я победил в споре, но симпатии публики, как и в наши студенческие годы, остались за ним.

Генерал тоже считал, что бороться никогда не поздно, о чем я и сообщил в следующем письме парижской тетке. Он нашел для тренировок своей зарождающейся армии укромный уголок среди выжженных солнцем холмов к востоку от Лос-Анджелеса со всеми его разлапистыми пригородами, поблизости от удаленной индейской резервации. На этот поросший мелким кустарником клочок земли, наверняка прячущий в своих недрах парочку жертв мафии, съехалось около двухсот человек. Наше сборище не было таким странным, каким могло показаться со стороны. Ксенофоб, увидевший, как рота иностранцев в камуфляже отрабатывает военные упражнения и маневры, пожалуй, счел бы нас авангардом зловещего азиатского вторжения на свою американскую отчизну, Желтой Угрозой в Золотом Штате, воплощением чьих-то дьявольских фантазий в духе комиксов о Мине Беспощадном. Ничего подобного! Готовясь к штурму нашей, теперь уже коммунистической родины, люди генерала фактически превращали себя в новых американцев. В конце концов, на свете нет ничего более американского, чем пускать в ход оружие и жертвовать собой ради свободы и независимости, – разве что пускать в ход это же самое оружие ради того, чтобы отнять свободу и независимость у кого-нибудь другого.

Двадцать десятков лучших – так генерал назвал это воинство у себя в ресторане, набрасывая для меня на салфетке схему устройства своей маленькой армии. Эту салфетку я позже незаметно прикарманил и отправил в Париж. На ней были обозначены штабной взвод, три стрелковых взвода и взвод тяжелого оружия, хотя никакого тяжелого оружия у нас еще не имелось. Не беда, сказал генерал. В Юго-Восточной Азии этого добра полным-полно, там мы им и разживемся. А пока наша задача – наладить дисциплину, укрепить тела, поднять дух. Пусть наши добровольцы научатся снова думать о себе как об армии, пусть устремятся помыслами в будущее. Он записал имена взводных и членов штаба, попутно сообщая мне детали их военной карьеры: этот прежде служил в такой-то дивизии помощником комроты, тот командовал батальоном в таком-то полку, и так далее. Эти подробности я также передал парижской тетушке, предварительно как следует попотев над их шифровкой, и добавил к этому слова генерала о том, что все его люди, вплоть до последнего рядового, являются опытными военными. Все побывали в боях, сказал он, и все до единого добровольцы. Общего призыва я не объявлял. Сначала привлек к делу своих офицеров, они пригласили тех, кому доверяют, в сержанты, а уж те занялись личным составом. На то, чтобы собрать это ядро, ушла пара лет. Теперь мы переходим к следующему этапу. Физподготовка, строевая, маневры – все, чтобы превратить их в боевую единицу. Вы со мной, капитан?

Как всегда, сэр. Так я снова облачился в военную форму, хотя на этот раз мне предстояло скорее документировать происходящее, нежели исполнять роль обычного вояки. Примерно двести человек уселись наземь по-турецки, скрестив ноги, генерал встал перед ними, а я – за, с фотоаппаратом в руках. Как и его бойцы, генерал был в мундире, приобретенном в магазине военной одежды и подогнанном генеральшей по фигуре. Теперь в нем трудно было узнать прежнего угрюмого владельца винной лавки и ресторана, мелкого буржуа, пересчитывающего свои надежды, как мелочь в кассе. Мундир, красный берет, начищенные сапоги, звездочки на вороте и нашивка ВВС на рукаве вернули ему тот благородный облик, каким он отличался на родине. Что же до моей формы, это были своего рода рыцарские доспехи из ткани. Хотя нож или пуля пронзили бы эту форму с легкостью, в ней я чувствовал себя менее уязвимым, чем в гражданском костюме. Пусть и не защищенный от пуль физически, я был как минимум заговорен, подобно всем остальным.

Я сфотографировал их под несколькими разными углами – этих изгнанников, уже привыкших стыдиться самих себя. В своей будничной одежде – официантов, судомоек, садовников, батраков, рыбаков, неквалифицированных подручных,

сторожей, а то и просто безработных или подрабатывающих чем придется, от случая к случаю, – они сливались в одну безликую массу, выглядели жалкими люмпенами, которых никто не воспринимал по отдельности. Но теперь, в форме и фуражках или беретах, скрывающих неровную стрижку, они стали полноценными личностями. Эта новообретенная мужественность сквозила и в том, как гордо выпрямились их спины, прежде уныло сгорбленные, и в их уверенной поступи взамен обычного шарканья дешевыми туфлями с протертыми подошвами. Они снова стали мужчинами – бойцами, как обращался к ним генерал. Бойцы! – сказал он. Бойцы! Мы нужны нашему народу. Даже со своего места позади я слышал его очень ясно, хотя он, казалось, ничуть не напрягал голоса. Людям нужна надежда, сказал генерал. А еще им нужны лидеры, способные повести их за собой. Вы эти лидеры. Вы покажете людям, что может случиться, если у них хватит смелости расправить плечи, взяться за оружие и пожертвовать собой. Я наблюдал, не дрогнут ли новобранцы, услышав предложение генерала пожертвовать собой, но они не дрогнули. Такова была оккультная сила мундира и коллектива: те, кто никогда не согласился бы пожертвовать собой в обычной жизни, разнося по столикам заказы, готовы были решиться на это здесь, под палящим солнцем. Бойцы, сказал генерал. Бойцы! Люди жаждут свободы! Коммунисты обещают им свободу и независимость, но сеют лишь рабство и нищету. Они предали вьетнамский народ, а истинные революционеры не бывают предателями. Даже здесь мы остаемся со своим народом, и мы вернемся, чтобы сорвать оковы с наших земляков, не получивших свободы, которая досталась нам. Революции совершаются народом и во имя народа. Вот она, наша революция!

Нельзя сказать ничего более справедливого и вместе с тем более загадочного, ибо вопрос о том, из кого именно состоит народ и чего он может хотеть, остается открытым. Отсутствие ответа неважно – наоборот, оно даже добавляет силы той идее народа, которая побудила генеральских ополченцев вскочить на ноги и со слезами на глазах закричать: “Долой коммунизм!” Как лососи, инстинктивно знающие, когда им плыть против течения, мы все знали, кто народ, а кто нет. Любой, кому надо объяснять, из кого состоит народ, скорее всего, сам в него не входит – во всяком случае, так я вскоре написал парижской тетушке. Еще я отправил ей снимки ликующих людей в военной форме и другие, на которых они тренировались и выполняли разного рода учебные маневры. Возможно, они выглядели немного смешно, когда отжимались под ругань седого капитана, или прятались за деревьями со старенькими винтовками, наводя их на воображаемую цель по команде бесстрастного лейтенанта, или патрулировали вместе с Боном мелкие заросли, где когда-то охотились индейцы. Но к ним следует относиться серьезно, предупреждал я Мана в своих зашифрованных комментариях. Ведь так и начинаются революции – их начинают люди, согласные драться даже без шансов на победу, готовые отказаться от всего, потому что у них ничего нет. Именно к их числу принадлежали седой капитан, бывший охотник на партизан, а ныне повар в дешевой закусочной, и бесстрашный лейтенант, единственный, кто остался в живых из попавшей в засаду роты, ныне разносчик пиццы. Подобно Бону, эти клинические безумцы добровольно вызвались лететь на разведку в Таиланд. Они решили, что смерть ничем не хуже жизни – мысль, совершенно нормальная для них, но вызывающая у меня как у их потенциального спутника некоторое беспокойство.

А как же ваши жены и дети? – спросил я. Мы вчетвером сидели под дубом, закатав рукава выше локтя, и перекусывали армейскими пайками из пущенных на продажу излишков военного имущества, консервами, которые на входе в человеческий организм и на выходе из него выглядят практически одинаково. Седой капитан погромел ложкой в банке и сказал: я не видел их со времен той заварухи под Данангом. Они не выбрались. Последнее, что я слышал, – Вьетконг отправил их работать на болота за связь со мной. У меня два варианта: или ждать, пока они выберутся, или самому попробовать их вызволить. Он говорил, не разжимая зубов, глодая слова, как кости. Что же до бесстрастного лейтенанта, то его эмоциональные струны были перерезаны. С виду он походил на человека, но двигалось только его тело, а лицо и голос словно застыли навсегда. Так что, когда он сказал: они мертвы, это прозвучало с большей безысходностью, чем любые

стоны и проклятия. Я побоялся спрашивать его, что случилось. Вместо этого я сказал: но вы же не планируете возвращаться сюда, так? Бесстрастный лейтенант повернул башенку головы на несколько градусов и взял меня на прицел своих глаз. Возвращаться? Зачем? Седой капитан усмехнулся. Не удивляйся, сынок. Я послал на верную смерть много парней. Может, теперь пришел мой черед. Только не подумай, что я бью на жалость. Наоборот, мне самому не терпится. Говорят, война – это ад, но знаешь что? Гореть в аду лучше, чем тухнуть в этой жопе. Засим бесстрастный лейтенант с седым капитаном удалились, чтобы отлить.

Мне не надо было писать в Париж, что эти люди – не дураки, во всяком случае пока. Минитмены не были дураками, когда верили, что смогут победить британских красномундирников; не были ими и зачинатели нашей революции, когда выходили на первые военные учения с пестрым набором примитивного оружия. Кто рискнет утверждать, что подобная судьба не ждет и эту роту? Дорогая тетя, писал я обычными чернилами, этих смельчаков нельзя недооценивать. Наполеон говорил, что люди готовы отдать жизнь за ленточки, которые пришиливают им на грудь, но генерал понимает, что еще больше людей готовы умереть за человека, который знает их имена, – а он знает. Инспектируя их, он ходит среди них, ест с ними, называет их по имени и расспрашивает о женах, детях, подругах и местах, где они родились. Все, что нужно человеку, – это чтобы его знали и помнили. Одно невозможно без другого. И это желание заставляет всех этих уборщиков, официантов, садовников, сторожей, механиков, охранников и безработных, живущих на пособие, выкраивать из своих скудных доходов деньги на военную форму, обувь и оружие, которые снова сделают их мужчинами. Они хотят вернуть себе свою родину, милая тетя, но еще они жаждут признания и памяти от страны, которой больше не существует, от жен и детей, от своих будущих потомков, от тех, кем были они сами. Если они проиграют, назовите их дураками. Но если победят, то станут героями и провидцами, хоть живые, хоть мертвые. Может быть, я вернусь с ними в свою страну, что бы ни думал на этот счет генерал.

Рассматривая возможность вернуться на родину, я одновременно прилагал все усилия к тому, чтобы уговорить Бона этого не делать. Мы с ним курили под дубом – это был последний перекур перед десятимильным пешим переходом. Мы смотрели, как бойцы, которыми командовали седой капитан и бесстрастный лейтенант, встают и потягиваются, почесывая различные части своих бугорчатых тел. Я так понимаю, этим ребятам жить надоело, сказал я. А тебе? Они не намерены возвращаться. Они знают, что это самоубийственная затея.

Вся жизнь – самоубийственная затея.

Очень тонко подмечено, сказал я. Но это не меняет того факта, что ты псих.

Он рассмеялся от души – в Америке это случалось с ним так редко, что я даже слегка опешил. Потом, во второй раз за время нашего знакомства, я услышал от своего друга речь небывалой для него длины. Псих тот, кто живет, когда ему незачем жить, сказал он. Зачем я живу? Наша квартира – не дом, а тюремная камера, пускай без решеток. Мы больше не мужчины. Американцы поймали нас дважды и заставили наших жен и детей на это смотреть. Сначала американцы сказали: мы спасем ваши желтые шкуры, если вы будете нас слушаться. Воюйте по-нашему, берите наши деньги, отдайте нам ваших женщин – тогда вы получите свободу. Но ничего не вышло, так? Они поймали нас, а потом спасли. Только они не предупредили, что по дороге нам отрежут яйца, а заодно и языки. Но знаешь что? Будь мы настоящими мужчинами, мы не позволили бы им это сделать.

Обычно Бон пользовался словами, как снайпер – пулями, но после такой серии пулеметных очередей я ненадолго примолк. Потом сказал: ты не отдаешь этим людям должного. Подумай, что они совершили, через что прошли. Хотя они были моими врагами, я понимал, что в груди каждого из них бьется храброе сердце воина. Ты к ним слишком суров. Он рассмеялся снова, на сей раз невесело. Я суров к себе. Меня тоже больше не назовешь ни мужчиной, ни солдатом. Вот тех, кто остался, – да. Они мужчины и солдаты. Парни из моей роты. Ман. Все мертвы или в тюрьме, но они хотя бы имеют право считать себя мужчинами. Они так опасны, что

другим мужчинам с оружием приходится держать их взаперти. А мы? Нас никто не боится. Мы можем напугать разве что своих жен и детей. Да еще самих себя. Я знаю этих людей. Я продаю им выпивку. Слушаю их рассказы. Они приходят с работы домой, орут на детей и жен, бьют их время от времени, просто чтобы показать, что они мужчины. Только это не так. Мужчина защищает свою жену и детей. Мужчина не боится умереть за них, за свою страну, за друзей. Он не остается жить, чтобы увидеть, как они умирают у него на глазах. А я?

Ты отступил, вот и все, сказал я, кладя руку ему на плечо. Он стряхнул ее. Я еще никогда не слышал, чтобы он говорил о своей боли так прямо, без обиняков. Мне хотелось его утешить, и было горько, что он этому противится. Ты спасал свою семью. Из-за этого ты не перестал быть мужчиной и солдатом. А раз ты солдат, то и рассуждай по-солдатски. Что лучше – отправиться на задание, где ты наверняка погибнешь, или вернуться со следующей волной, у которой действительно будет шанс? Он сплюнул и затушил сигарету о каблук, а потом вдавил окурок в землю и заровнял ее. Так говорит большинство этих жалких людишек. Они лузеры, а лузер всегда найдет оправдание. Они напялили форму, красиво говорят, прикидываются солдатами. Но сколько из них и вправду поедут обратно на родину, чтобы там сражаться? Генерал искал добровольцев. Он нашел троих. Остальные спрятались за своими женами и детьми, теми самыми, которых они бьют, потому что им стыдно сидеть у них за спиной. Дай трусу второй шанс, и он снова сбежит. Большинство здесь из этой породы. Они блефуют.

Это цинизм! – воскликнул я. А ты тогда ради чего умираешь?

Ради чего? – огрызнулся он. Я умираю потому, что мир, в котором я живу, не стоит того, чтобы за него умереть! Если у тебя есть то, ради чего не жаль умереть, тогда тебе есть зачем жить.

И тут возразить было нечего. Это была правда, даже для нашей кучки героев, а может, и дураков. Как их ни называй, теперь у них появилось что-то, ради чего стоило если не умереть, то хотя бы жить. Они охотно сбросили свое траурное гражданское облачение ради комбинезонов тигровой расцветки с эффектными желто-бело-красными шейными платками, всего этого военного шика, вызывающего в памяти костюмы супергероев. Но, подобно супергероям, они не хотели долго оставаться в тени. Как можно быть супергероем, если никто не ведает о твоём существовании?

Слухи о них уже пошли. Еще до сбора в пустыне, тем вечером, когда Сонни признал свое поражение и все же победил, он спросил меня об этих таинственных ополченцах. Колесики нашего разговора застопорились, черная кошка упивалась моим фиаско, и в настоянной на водке тишине Сонни поднял вопрос о секретной армии с ее секретным десантом. Я ответил, что не слыхал ни о чем подобном, на что он сказал: не прикидывайся. Ты человек генерала.

Если я его человек, возразил я, тем больше резона не говорить коммунисту.

Кто сказал, что я коммунист?

Я изобразил удивление. Разве ты не коммунист?

Если бы я им был, думаешь, я бы тебе сказал?

Это дилемма любого диверсанта. Вместо того чтобы рядиться в сексуально-сомнительные костюмы супергероев, мы кутались в плащи-невидимки, как здесь, так и в Сайгоне. Там, на тайных совещаниях с другими диверсантами, где-нибудь в сыром подвале конспиративного дома, я сидел на ящиках с ручными гранатами производства США, добытыми на черном рынке, в душном матерчатом капюшоне с двумя прорезями. Мы зажигали свечи или масляную лампу и узнавали друг друга только по нашим странным кличкам, по фигуре, голосу и белкам глаз. Теперь, глядя на приникшую к Сонни миз Мори, я сознавал, что мои привычно внимательные глаза больше не белы, а налиты кровью от вина, водки и табака.

Концентрация дыма в спертom воздухе и у нас в легких сравнялась, пепельница на журнальном столике терпеливо сносила обычное для себя унижение, помалкивая с полным ртом окурков и горького пепла. Я уронил остаток своей сигареты в шахту винной бутылки, где он и потух со слабым укоризненным пшиком. Война кончилась, сказала миз Мори. Неужто они не знают? Я встал, и на прощанье мне захотелось сказать что-нибудь значительное, потрясти миз Мори своим интеллектом, равного которому ей уже не встретить. Войны никогда не умирают, сказал я. Они могут только заснуть.

И старые солдаты тоже? – спросила она, нимало не потрясенная. Конечно, подтвердил Сонни. Если бы они не спали, то как ухитрились бы видеть сны? Я чуть было ему не ответил, но вовремя сообразил, что это вопрос риторический.

Миз Мори напутствовала меня поцелуем в щеку, а Сонни – рукопожатием. Он проводил меня до двери, и я скользнул меж прохладными простынями ночи в свою собственную постель, над которой уже сопел в забытии Бон. Я закрыл глаза и через несколько минут тьмы отплыл на своем матрасе по черной реке в чужую страну, куда пускают без визы. Все ее призрачные обитатели и фантастические пейзажи оставили у меня в памяти лишь один роковой оттиск – образ места моего последнего отдыха, древнего хлопкового дерева, к чьей бугристой коре я прижался щекой. Я почти заснул в своем сне, но постепенно осознал, что узловатый нарост под моим ухом – это тоже ухо, твердое и корявое, с замшелым извилистым каналом, в котором застыл воск слуховых воспоминаний. Половина хлопкового дерева высилась над моей головой, другая, его невидимая корневая система, пряталась подо мной в земле, и, посмотрев вверх, я увидел не просто одно ухо, а множество ушей, выпирающих из коры на толстом стволе, сотни ушей, слышавших и слушающих недоступные мне голоса и звуки, и это зрелище было таким жутким, что меня вышвырнуло обратно в черную реку. Я проснулся, облитый потом, задыхаясь и сжимая ладонями виски. Только сбросив с себя мокрые простыни и заглянув под подушку, я смог если не унять дрожь, то хотя бы улечься снова. Ничего, что сердце по-прежнему долбило изнутри мою грудную клетку, как вошедший в раж барабанщик, – по крайней мере, моя постель не была усыпана ампутированными ушами.

## Глава 14

Как правило, подрывные действия целенаправленны, но я готов признать, что иногда они бывают и случайными. Может быть, именно из-за того, что я поставил под сомнение мужество Сонни, он и выпустил статью, озаглавленную “Войне конец. Надо жить дальше”. Я увидел газету с этим заголовком через две недели после полевых учений, на командном пункте, который генерал устроил в своем магазине, – она лежала на его столе прямо посередине, придавленная для надежности степлером. Возможно, кого-то призыв Сонни и порадовал, но уж точно не генерала. Под заголовком была фотография митинга, организованного Братством в парке Вестминстера: ряды и колонны угрюмых ветеранов в коричневых рубашках и красных беретах, похожих на военную форму. На другом снимке штатские, в которых по одежде легко было признать беженцев, размахивали флажками и поднимали плакаты с лаконичными, как телеграммы, лозунгами политического протеста. “Хо Ши Мин = Гитлер!”, “Свободу нашему народу!”, “Спасибо, Америка!”. Подобная публикация вполне могла посеять в сердцах беженцев сомнения насчет того, стоит ли продолжать войну, и привести к осязательному расколу в их среде; таким образом, задним числом я обнаружил, что, подначивая Сонни, добился неожиданного, но полезного результата.

Я сфотографировал статью своим “Миноксом”. За последние дни я неоднократно пускал его в ход, переснимая документы генерала – ко всем ним я имел доступ как его адъютант. Вернувшись с Филиппин, я сидел без работы, если не считать значительных по объему услуг, оказываемых мной генералу, Братству и Движению на безвозмездной основе. Распоряжения надо было записывать, бумаги – подшивать, совещания – созывать, листовки – сочинять, печатать и распространять, фотографии – делать и проявлять, интервью – планировать, доноров – находить, а письма, основной источник нужной мне информации, – сначала забирать и отправлять по адресу, а затем получать и читать прежде, чем отдать генералу. Мои фотографии отражали полную картину стратегической деятельности и боевых построений генерала, от роты здесь до батальона в Таиланде, от публичных сходов Братства до тайных маневров Движения, а также переписку генерала с его офицерами в тайских лагерях беженцев и в том числе с их предводителем, выброшенным на сушу адмиралом. Добывал я и копии выписок из банков, где генерал хранил скромные средства Движения – они складывались из небольших пожертвований членов нашей диаспоры, доходов от ресторана генеральши и взносов горстки респектабельных благотворительных организаций, стремящихся облегчить горькую участь беженцев и еще более горькую участь ветеранов.

Все эти сведения я упаковал в посылку для парижской тетушки. Посылка состояла из письма и дешевого сувенира, вращающегося стеклянного шара со Знаком Голливуда внутри. Этот шар работал на девятивольтовых батарейках, которые я купил заодно с ним и выпотрошил. В каждую батарейку вошло по кассете с фотопленкой – более продвинутый метод, чем тот, каким пользовалась моя сайгонская связная. Когда Ман сказал, что у меня будет связная, я тут же представил себе одну из тех гибких королев красоты, благодаря которым моя родина давно пользовалась заслуженной славой, белую, как рафинированный сахар, снаружи и алую, как закат, с изнанки, – этакую кохинхинскую Мату Хари. Но наутро у моего порога появилась уличная торговка с таким морщинистым лицом, что гадать по нему было легче, чем по ладони, продавщица катышей бетеля и своего фирменного блюда – рисовых колобков в банановых листьях. С тех пор я каждое утро покупал у нее колобок на завтрак, и внутри иногда оказывалась записка, скатанная в трубочку и завернутая в полиэтилен. Аналогичным образом, в пачечке сложенных банкнот, отдаваемой мною взамен, иногда находилась кассета с пленкой или листок серой бумаги с моим собственным ответом, написанным рисовым отваром. Единственным недостатком этого метода было то, что моя королева ужасно готовила. Ее колобки смахивали на комки застывшего клея, но мне приходилось их глотать, иначе уборщица заметила бы их в мусорном ведре и удивилась, зачем я покупаю то, что не могу съесть. Однажды я пожаловался торговке на вкус ее продукции, но она обложила меня так длинно и витиевато, что я был вынужден свериться как с часами, так и со словарем. Она произвела



впечатление даже на водителей велотакси, имевших обыкновение дежурить у ворот генеральской виллы. Женитесь на ней, капитан, посоветовал мне один из них, без левой руки. Да не зевайте: такая в девках не засидится!

При этом воспоминании я слегка передернулся и плеснул себе скотча пятнадцатилетней выдержки, достав бутылку из ящика письменного стола. Поскольку жалованья я не получал, генерал считал своим долгом укреплять мой оптимизм и преданность общему делу, великодушно снабжая меня дармовым спиртным высокого и не столь высокого качества из своих обширных запасов. Без этого мне было бы трудно. В моем парижском письме содержались даты и детали маршрута Бона, а также седого капитана и бесстрастного лейтенанта, от копий их авиабилетов до местонахождения учебного лагеря. По сути, эти данные ничем не отличались от тех, какие я передавал через свою уличную торговку: тогда это тоже была секретная информация о готовящихся операциях, на основании которой неизменно устраивались разгромные засады. Потом в газетах сообщали о количестве раненых и убитых американцев или солдат республиканской армии, но эти цифры были абстрактны, как безликие мертвецы из исторических хроник. Те донесения давались мне легко, но это, о Боне, заняло целый вечер – не из-за своей многословности, а потому, что он был моим другом. Я тоже еду, писал я, хотя толком еще не знал, как именно выполню это намерение. Так будет удобней следить за передвижениями врага, писал я, хотя на самом деле рассчитывал спасти Бону жизнь. Как совершить этот подвиг, я тоже себе не представлял, но отсутствие твердых планов никогда не мешало мне действовать.

Не видя способа предать Бона и одновременно спасти его, я искал вдохновения на дне бутылки. Скопировав последний из новых генеральских документов, я спрятал “минокс” в карман куртки, прочел статью Сонни и уже потягивал вторую порцию скотча, когда пришел генерал. Было начало четвертого – обычное время его возвращения из ресторана после обеденного наплыва посетителей. Работа за кассой всегда приводила его в дурное расположение духа. Бывшие военные отдавали ему честь – знак уважения, тем не менее напоминавший ему о звездочках, которых он больше не носил, – а особенно ехидные из гражданских, исключительно женского пола, спрашивали: не вы ли тот самый генерал? Самые ехидные вдобавок давали ему на чай – как правило, щедрую сумму в один доллар, что служило еще и насмешкой над нелепым с нашей точки зрения американским обычаем. Вернувшись на свой командный пункт, генерал откидывался на спинку стула, с закрытыми глазами прихлебывал виски и выразительно вздыхал. Но сегодня вместо того, чтобы расслабиться, он навис над столом, постучал пальцем по газете и спросил: вы это читали?

Чтобы не лишать его удовольствия излить накопившее, я ответил отрицательно. Он мрачно кивнул и принялся цитировать мне статью Сонни. О том, что такое Братство и какова его истинная цель, ходит множество слухов, читал генерал ровным голосом, с каменным лицом. Очевидно, эта организация намерена свергнуть коммунистический режим, но как далеко она готова зайти? Братство собирает пожертвования на помощь здешним беженцам, но вполне возможно, что эти деньги переадресуются Движению вооруженных беженцев в Таиланде. Поговаривают, что Братство сделало инвестиции в ряд бизнес-предприятий и теперь пожинает их доходы. Но хуже всего другое: Братство сеет в душах наших земляков надежду на то, что когда-нибудь им удастся вернуть себе родину силой. Было бы гораздо лучше, если бы мы спокойно искали примирения, надеясь, что когда-нибудь нам, изгнанникам, будет позволено приехать обратно и принять участие в перестройке нашей родины. Тут генерал сложил газету и опустил ее на стол, в точности на то же самое место, какое она занимала прежде. У него есть хороший осведомитель, капитан.

Я пригубил виски, чтобы скрыть необходимость сглотнуть слюну, накопившуюся у меня во рту. Утечки – обычное дело, сэр. Они были у нас и дома. Посмотрите на его фотографии. Все эти люди кое-что знают о происходящем. Сонни только и надо что ходить с ведерком и ловить в него капельку тут, капельку там. Глядишь, и наберется стаканчик-другой информации.

Разумеется, вы правы, сказал генерал. Хранить деньги в банке мы умеем, а вот тайны хранить никак не получается. Это – он постучал по газете – звучит чудесно, не так ли? Примирение, возвращение, перестройка. Кому этого не хочется? И кто выиграет больше всех? Коммунисты! Но для нас самая вероятная перспектива, если мы вернемся, – это пуля в лоб или долгий срок в лагере перевоспитания. Вот как коммунисты понимают примирение и перестройку! Для них это значит избавиться от таких, как мы. И этот журналистишка впаривает свою левую пропаганду несчастным, готовым ухватиться за любую соломинку! Чем дальше, тем больше от него неприятностей. Как по-вашему?

Конечно, сказал я и потянулся за бутылкой. Как и я, она была наполовину полна и наполовину пуста. От журналистов всегда полно неприятностей, особенно от независимых.

А может, он не просто журналистишка? Откуда нам знать? В Сайгоне чуть ли не каждый второй из этой братии сочувствовал коммунистам, да и настоящих коммунистов среди них было немало. Почему мы знаем, что коммунисты не заслали его сюда еще много лет назад именно с этой целью – шпионить за теми из нас, кому удастся от них уйти, и срывать наши планы? Вы знали его по университету. Проявлял он тогда подобные симпатии? Если бы я ответил “нет”, а генерал позже услышал от кого-нибудь обратное, это вышло бы мне боком. Единственным возможным ответом было “да”, на что генерал сказал: боюсь, я переоценивал вашу сообразительность, капитан. Почему вы не предупредили меня об этом, когда я с ним познакомился? Генерал досадливо покачал головой. Знаете, в чем ваша проблема, капитан? Я мог бы перечислить целый ряд своих проблем, но проще было ответить, что я не имею об этом ни малейшего понятия. Вы чересчур склонны к сочувствию, сказал генерал. Вы не заметили, какую опасность представляет майор, потому что он был толстый и из-за этого вы его жалели. А теперь? Оказывается, вы сознательно закрывали глаза на то, что Сонни не просто радикал с левыми убеждениями, но и потенциальный тайный агент коммунистов! Взгляд генерала стал обжигающим. У меня зачесалось лицо, но я боялся пошевелиться. Я полагаю, надо что-то делать, капитан. Вы со мной не согласны?

Согласен, сказал я с пересохшим горлом. Надо что-то делать.

В последующие дни у меня было время как следует поразмыслить над туманным указанием генерала. Надо что-то делать – как можно с этим не согласиться? Что-то делать всегда надо, причем это относится к любому из нас. В газете Сонни я увидел объявление о ревю под названием “Фантазия”, где должна была петь Лана, и это подтолкнуло меня к действию, хотя и не того рода, на какой, по всей вероятности, намекал генерал. Мне позарез нужен был отдых, пусть только на один вечер, от этой нервной, одинокой работы – быть диверсантом. А где же еще, если не в ночном клубе, милей всего отдохнуть кроту с его привычкой к темноте? Уговорить Бона пойти на “Фантазию”, чтобы послушать песни и музыку нашей утраченной, но не забытой родины, оказалось проще, чем я думал, поскольку, решив отправиться на смерть, мой друг наконец-то стал проявлять признаки жизни. Он даже позвал мне подстричь ему волосы и смазал их брильянтином, после чего они заблестели, как его начищенные черные туфли. Благодаря брильянтину и нашему одеколону в моем автомобиле установился пьянящий мужской дух, и под песни “Роллинг стоунз” мы понеслись не просто на запад к Голливуду, но и вспять по оси времени в славную эпоху Сайгона около 1967 года. Тогда, прежде чем Бон и Ман сделались отцами, мы вдвоем прожигали по выходным свою юность в сайгонских барах и ночных клубах в точности так, как оно и положено. Ведь если бы юность не прожигали, разве могла бы она быть юностью?

Возможно, именно юность мне и следовало винить за мою дружбу с Бонем. Что заставляет четырнадцатилетнего мальчишку приносить клятву верности своему кровному брату? И еще важнее: что заставляет взрослого блюсти эту клятву? Разве по-настоящему серьезные вещи вроде идеологии и политических убеждений, этих увесистых плодов нашего взросления, не значат больше, чем неспелые идеалы и иллюзии юности? Посмею предположить, что истина или некая ее часть кроется как раз в тех юношеских глупостях, которые мы на свою беду забываем, становясь

взрослыми. Вот с какой сцены началась наша дружба: футбольное поле лица и я, новый ученик, в кольце ребят, или заносчивых жеребят, повыше и постарше. Они собирались повторить драму, которую представители человечества разыгрывают с незапамятных времен: сильные нападают на слабых или необычных ради развлечения. Я был необычным, но не слабым, что доказал недавно тому самому шутнику, обвинившему меня в ненормальности. Его я побил, но и сам прежде не раз оставался битым и теперь на победу не рассчитывал. И тут внезапно другой мальчишка выступил в мою защиту, шагнув вперед из круга наблюдателей со словами: не надо. Не трогайте его. Он наш. Парень постарше нахмурился. Думаешь, тебе судить, кто наш, а кто нет? И с чего ты решил, что ты сам наш? А ну-ка, уйди с дороги. Но Ман не ушел с дороги и получил за это первый удар, в ухо, чуть не сбивший его с ног. Я врзался головой в ребра парню постарше и повалил его, а потом оседлал ему грудь и успел нанести еще пару ударов, прежде чем его балбесы-дружки опомнились и набросились на меня. Соотношение сил равнялось пяти к одному против меня с моим новым другом Маном, и хотя я дрался со всей яростью, на какую был способен, мне было ясно, что мы обречены. Все зрители вокруг понимали это не хуже меня. Так почему же тогда Бон выскочил из толпы и принял нашу сторону? Тоже новенький в нашей школе, он не уступал в росте ребятам постарше, но все равно не мог одолеть всех. Одному он заехал кулаком, другому локтем, третьего протаранил головой, но потом и его тоже свалили наземь. Они пинали и колошматили нас, пока не устали, а потом бросили – в крови, в синяках, но внутренне ликующих. Да, ликующих! Ибо мы прошли какое-то таинственное испытание, отделившее нас от забияк с одной стороны и трусов – с другой. В ту же ночь мы улизнули из своей спальни в тамариндовую рощу и под ее ветвями порезали себе ладони. Мы в очередной раз смешали свою кровь с кровью тех, кого признали для себя роднее настоящей родни, а затем обменялись клятвами.

Прагматик, убежденный материалист наверняка отмахнется от этой романтической истории с пренебрежением, но в ней прячется зародыш всего нашего отношения к себе и друг к другу. Уже тогда мы видели в себе тех, чья святая обязанность – заступаться за слабых. Мы с Боном давно не говорили о том приключении, но, распевая с ним вместе песни нашей юности по пути в отель “Рузвельт”, я чувствовал, что память о нем жива и у него в крови. Когда-то этот отель на Голливудском бульваре обожали знаменитости черно-белой эпохи, но теперь он безнадежно вышел из моды, как звезда немого кино. Напротив него терлась кучка панков, одетых в мусорные мешки и высокие ботинки, с ирокезами и косточками в носу. Возможно, именно из-за них от тротуаров так несло мочой, что эту вонь не мог перебить даже наш чудесный букет. Внутри потертые ковры прикрывали старую плитку, а вестибюль по непонятной причине был обставлен картонными столиками и стульями на длинных тонких ножках, как у фотостативов, – хоть сейчас садись и играй в грошовый покер или раскладывай пасьянс. Я ждал какого-то остаточного всплеска голливудского гламура с брюхатыми порнопродюсерами в воротниках-бабочках и аквамариновых пиджаках, ведущими за униженные кольца руки своих чуть остекленевших дам. Но щеголеватее всех в отеле выглядели мои земляки, украсившие себя блестками, полиэфиром и апломбом; вместе с ними мы и направились в зал, где ждала нас “Фантазия”. На прочих зрителях, вероятно, из числа постояльцев, были клетчатые рубашки, ортопедические сандалии и вечерняя щетина, а сопровождали их в лучшем случае кислородные подушки. Мы никуда не успевали вовремя – опоздали, видимо, и на золотую пору Голливуда.

Тем не менее атмосфера в уютном зале царил праздничная. Какой-то антрепренер снял для постановки “Фантазии” просторный кусок гостиницы, получив в результате убежище без всяких признаков беженцев, зато со стильными мужчинами в строгих костюмах и грациозными женщинами в вечерних платьях. Наши новоиспеченные буржуа, работающие по сорок часов в неделю плюс сверхурочно и благодаря этому изрядно пополнившие свои кошельки, соскучились по комфорту и его непременно компонентам, вину и песням. Когда мы с Боном уселись за столик у дальней стены, миловидная девушка в болеро наполнила зал горестно-проникновенными звуками “Города скорби” Фам Зуи. А как еще было петь

о городе скорби, этом портативном городе, который все мы унесли с собой в изгнание? Разве не скорбь занимала в нашем лирическом репертуаре второе место после любви? Действительно ли у нас текли по ней слюнки или мы просто притерпелись к ее желчному вкусу и стали находить в нем удовольствие волей-неволей, просто потому, что нас кормили ею насильно? Тут было не разобраться без Камю или коньяка, а поскольку Камю в ассортименте не имелось, я заказал коньяк.

Не колеблясь ни секунды, я оплатил обе наши рюмки из остатков своего филиппинского куша, ибо всегда твердо верил, что деньги обретают жизнь лишь когда их тратят, особенно в дружеской компании. Заметив у барной стойки седого капитана и бесстрастного лейтенанта с пивом в руках, я попросил официанта принести по рюмашке и им. После этого они подошли к нашему столику, и мы выпили за дружбу, хотя в разговорах с генералом я еще не поднимал заново тему своего возвращения. Впрочем, я собирался это сделать и с удовольствием заказал всем по второй. Благодаря коньяку, этому эквиваленту материнского поцелуя для взрослого человека, все вокруг заиграло новыми красками, и мы продолжали в том же духе, пока выступающие на сцене сменялись один за другим. Мужчины и женщины, они ворковали, причитали, вздыхали, рычали, стонали, ревели – но что бы и как они ни пели, это вызывало у публики восторг. Их голоса перенесли нас всех, даже Бона, через мили и годы в ночные клубы Сайгона, где в каждом глотке шампанского, помимо обычных ароматов и намеков, всегда пряталась капелька слез. Если слез чересчур много, они тебя потопят; если их нет вовсе, ты останешься равнодушным. Но капли этого эликсира довольно для того, чтобы твой язык мог произнести лишь одно имя: Сайгон.

Без этого слова не обходилось почти ни одно выступление, и конференсье его тоже не забывал. Наш проводник по стране Фантазии был художав и одет в серый фланелевый костюм; блестели на нем только очки. Я не видел его глаз, но узнал Поэта по имени. Его стихи, мягкие ностальгические зарисовки из повседневной жизни, не раз появлялись в литературных журналах и газетах, и особенно мне запомнилось одно – об откровении, посетившем автора, когда он мыл рис. Я не помнил самого этого откровения, но запомнил главное – идею, что смысл можно отыскать даже в самом будничном труде. Иногда, погружая руку в мокрые рисовые зерна под струей воды, я думал о Поэте. Когда представители нашего народа собираются вместе, чтобы выпить вина и послушать песни, в роли конференсье может оказаться поэт, и этим нельзя не гордиться. Мы почитаем своих поэтов и хотим слышать от них важные вещи, и этот Поэт не обманывал наших ожиданий. Порой он писал в газету Сонни небольшие заметки о перипетиях американской жизни или о культурном недопонимании между нами и американцами и сейчас перемежал концертные номера своими краткими рассуждениями в этом ключе, микроэтюдами о нашей и американской культуре. Перед выходом Ланы он начал с того, что сказал: наверное, многие из вас слышали, что американцы любят мечтать. Это правда, и хотя кое-кто считает Америку страной всеобщего благоденствия, на самом деле это страна мечтателей. Что ж, мы тоже умеем мечтать, не так ли, дамы и господа? Я открою вам свою Американскую мечту, сказал он, держа микрофон бережно и с опаской, точно динамитную шашку. Моя Американская мечта – увидеть еще раз, прежде чем я умру, тот край, где я родился, отведать еще раз спелой хурмы из нашего родового сада в Тэйнине. Моя Американская мечта – вернуться домой, чтобы воскурить благовония на могиле деда с бабушкой, чтобы побродить по нашей чудесной стране, когда в ней наконец наступил мир и пушечная пальба не заглушает криков радости. Моя Американская мечта – ходить по городам и весям и смотреть, как играют и смеются мальчишки и девчонки, никогда не слышавшие о войне, из Дананга в Далат, из Камау в Тяудок, из Шадека в Шонгкау, из Бьенхоа в Буонметхуот...

Экскурсионный поезд двинулся дальше по нашим населенным пунктам, большим и малым, но я сошел в Буонметхуоте, своем родном городе, – в городе краснозема, в высокогорном краю, где растет самый лучший кофе, в краю гремучих водопадов, разъяренных слонов, худых, босоногих и гологрудых зярай в набедренных повязках, в краю, где умерли мои мать и отец, где на жалкой материнской деланке

была зарыта моя пуповина, в краю, который героическая Народная армия захватила в самом начале своей великой кампании по освобождению Юга в семьдесят пятом году, в краю, где прошло мое детство. Это и есть моя Американская мечта, продолжал Поэт. И какую бы одежду я ни носил, какую бы пищу ни ел и на каком бы языке ни говорил, душа моя не изменится. Вот почему мы собрались здесь сегодня, дамы и господа. Пусть мы не в силах вернуться домой по-настоящему, зато можем вернуться туда в Фантазии.

Публика наградила нашего поэта-лауреата в изгнании щедрыми и искренними аплодисментами, но он был мудрый человек и знал, что мы собрались здесь не для того, чтобы его слушать. Дамы и господа, сказал он, поднимая руку, чтобы добиться тишины. Позвольте же представить вам другую Американскую мечту и вместе с тем целиком и полностью нашу, вьетнамскую фантазию...

Известная теперь просто по имени, как Джон, Пол, Джордж, Ринго и Мэри, она вышла на сцену в красном бархатном бюстье, леопардовой мини-юбке, черных кружевных перчатках и высоких, до середины бедра, кожаных сапогах на шпильках. Мое сердце споткнулось бы при виде одних только этих сапог, шпилек или гладкой ровной полоски ее обнаженного живота между мини-юбкой и бюстье, но комбинация того, другого и третьего мигом захватила его в плен и принялась избивать с усердием лос-анджелесского полицейского отряда. Я освободил свое сердце, окатив его коньяком, но тем легче оно воспламенилось от первой же искры ее песни. Она подожгла его сразу неожиданной *"I'd Love You to Want Me"*, которую я раньше слышал только в мужском исполнении. *"I'd Love You to Want Me"* была гимном моих холостых и несчастливых в браке ровесников, причем ее французская и вьетнамская версии ничуть не уступали по качеству английскому оригиналу. И в ее словах, и в музыке нашла свое идеальное воплощение безответная любовь, а эту разнovidность любви мы, вьетнамцы мужского пола, просто обожаем. Разбитые сердца – наша главная слабость после сигарет, кофе и коньяка.

Слушая ее, я готов был пожертвовать всем ради единственной незабываемой ночи с нею, и это желание разделяли со мной все остальные мужчины в зале. Лана не расхаживала по сцене и лишь тихонько покачивалась перед микрофоном, но и одного ее голоса вполне хватало для того, чтобы расшевелить зрителей, а точнее, парализовать их. Пока она пела, никто не проронил ни звука и не шелохнулся, разве что изредка подносил к губам сигарету или бокал, и эта абсолютная концентрация сохранилась при переходе к следующей, чуть более динамичной песенке – *"Bang Bang"*. Первой ее спела Нэнси Синатра, но эта платиновая принцесса знала о стрельбе и насилии только по рассказам гангстеров из числа дружков своего папаши Фрэнка. В отличие от нее, Лана выросла в метрополисе, где бандиты забрали такую власть, что армия сражалась с ними на улицах. В Сайгоне метали гранаты, взрывали бомбы, а увенчалось все это полномасштабным вторжением Вьетконга. *"Бах-бах"* было саундтреком всей нашей жизни, но что оно значило для Нэнси Синатры? Для нее эта песня была просто сентиментальной попсой.

Мало того – как и подавляющее большинство американцев, Нэнси Синатра страдала одноязычием. Версия *"Bang Bang"*, избранная Ланой – на английском с прослойками французского и вьетнамского, – была гораздо богаче. Последняя строчка на французском, *Bang bang, je ne l'oublierai pas*, дублировалась вьетнамским переводом Фам Зуи, *"мы никогда не забудем"*. В репертуаре классической сайгонской поп-музыки эта песня занимала одно из важнейших мест; любовь и смерть мастерски переплетались в этой истории о влюбленных, которые, хоть и были знакомы с детства (а может, именно поэтому), застрелили друг друга. Бах-бах – это сама память стреляла из своего пистолета нам в висок, ибо мы не могли забыть любовь, мы не могли забыть войну, мы не могли забыть влюбленных, мы не могли забыть врагов, мы не могли забыть родину и не могли забыть Сайгон. Мы не могли забыть карамельный аромат кофе глясе с грубым сахаром, вкус лапши, которую мы ели, присев на корточки на тротуаре, переборы дружеской гитары, которую слушали, качаясь в гамаках под кокосовыми деревьями, футбольные баталии, которые босоногая и голопузая ребятня вела на

площадях, в переулках, скверах и парках, жемчужные шарфы из утренней дымки на плечах гор, шелковистую влажность устриц во рту на песчаном пляже, и как наша мокрая возлюбленная шептала нам самые соблазнительные слова на нашем языке, *ань ой*, и как шуршал рис, когда его обмолачивали, и как спали у себя в повозках рикши, согреваемые только памятью о своих семьях, и беженцев, спящих на каждом тротуаре каждого города, и медленное терпеливое тление противокомариных спиралей, и сладкую упругую мякоть манго, только что сорванного с дерева, и девушек, не желающих с нами разговаривать и оттого еще более желанных, и парней, погибших или сгинувших, дома и улицы, разрушенные бомбежками, речки, где мы купались, голые и счастливые, укромную рощицу, откуда мы подглядывали за нимфами, когда они плескались в воде с невинностью пташек, тени на стенах плетеной хижины, где горит свеча, атональное звяканье коровьих колокольчиков на пыльных проселочных дорогах, лай голодного пса в покинутой жителями деревне, аппетитную вонь свежего дуриана, от которой слезятся глаза, и вой сирот над мертвыми телами их отцов и матерей, и липкую кожу любимой после акта любви, и как под вечер липла к телу рубашка, и как липли к нам неприятности, и как визжали поросята, убегая со всех ног от своих деревенских хозяев с ножами, и пылающие на закате холмы, и рассвет, поднимающий над периной моря свою венценосную голову, и крепкую горячую руку матери – этот список можно продолжать и продолжать, но вся суть сводилась к одному: главным, чего мы не могли забыть, было то, что мы не можем забыть.

Когда Лан допела, зрители захлопали, засвистели и затопали, но я ошеломленно сидел и молчал, не в силах даже аплодировать. Она грациозно поклонилась и ушла, после чего Поэт представил следующую исполнительницу, однако я по-прежнему не слышал ничего, кроме *“Bang Bang”*. Увидев, что Лана вновь села за столик для артистов и место рядом с ней пусто – его освободила певица, вышедшая на сцену, – я сказал Бону, что вернусь через десять минут. Стой, идиот, крикнул он мне в спину, но я уже отключил мозги и двинулся в другой конец зала. Труднее всего в разговоре с женщиной сделать первый шаг, но важнее всего – не думать. Следовать этому принципу сложнее, чем кажется, и все-таки думать, когда имеешь дело с женщинами, нельзя категорически. Иначе у тебя просто ничего не выйдет. Когда я подкатывался к девушкам первые несколько раз, еще в лицейские годы, я думал слишком много, медлил, мямлил, и результаты оказывались плачевными. И тем не менее я обнаружил, что частые стычки со школьными хулиганами закалили меня, выковав во мне убеждение, что получить от ворот поворот лучше, чем лишиться себя даже шанса его получить. Хитрость заключалась в том, чтобы перед попыткой ухаживания отринуть всякие страхи и сомнения в духе дзэн-буддизма, и я научился делать это так хорошо, что меня похвалил бы сам Будда. Я сел рядом с Ланой, ни о чем не думая, и доверился своей интуиции и трем главным правилам устного общения с женщиной: не спрашивай разрешения, не здоровайся и не позволяй ей заговорить первой.

Когда мы познакомились, мне и в голову не приходило, что вы способны так петь, сказал я. Она посмотрела на меня глазами греческой статуи – пустыми и одновременно выразительными. С чего бы? Мне было всего четырнадцать.

А мне всего двадцать три. Что я понимал? Я наклонился поближе, чтобы мой голос не заглушала музыка и чтобы предложить ей сигарету. Правило номер четыре: дай женщине возможность отказаться от чего-нибудь еще, кроме тебя. Если бы она отказалась от сигареты, как и положено добропорядочной вьетнамке, это дало бы мне повод закурить самому, а заодно и несколько секунд на то, чтобы сказать еще что-нибудь, пока ее внимание занято моей сигаретой. Но Лана приняла предложение, благодаря чему я получил возможность поднести ей многозначительный огонек, как когда-то поднес его миз Мори. А что думают об этом ваши отец с матерью?

Они думают, что петь и танцевать – это пустая трата времени. Полагаю, вы с ними согласны?

Я прикурил сам. Будь я согласен, разве сидел бы здесь?

Вы всегда согласны с моим отцом, что бы он ни сказал.

Нет, не всегда. Иногда. Просто я никогда не говорю, что не согласен с ним.

Стало быть, насчет музыки вы согласны со мной?

Музыка и пение помогают жить, дают нам надежду. Если мы что-то чувствуем, значит, у нас еще есть силы жить.

И любить. Она выпустила дым в сторону от меня, хотя я был бы счастлив, если бы она выпустила его мне в лицо или на любую другую часть тела. Родители боятся, что пение помешает мне выйти замуж, сказала она. Им хочется, чтобы я прямо завтра вышла за кого-нибудь очень почтенного и очень богатого. Но вы ведь ни то ни другое, верно, капитан?

А вам хотелось бы, чтобы я был почтенным и богатым?

Боюсь, тогда я сразу потеряла бы к вам всякий интерес.

По-моему, до вас так не рассуждала еще ни одна женщина на свете, сказал я. Все это время я продолжал смотреть ей в глаза – чрезвычайно трудная задача, если учесть ту силу гравитационного притяжения, с какой действовало на мой взгляд ее декольте. Ко многим изобретениям так называемой западной цивилизации я отношусь скептически, но декольте – это нечто особенное. Мы уважаем китайцев за порох и лапшу, зато на Западе изобрели декольте, обладающее глубокими, хоть и недооцененными коннотациями. Глазея на полуобнаженную женскую грудь, всякий мужчина не просто потакает своей природной блудливости, но и медитирует, пусть неосознанно, на тему совместного слияния и разъединения. Декольте открывает ему кусочек этого идеального воплощения противоречивой двойственности, ибо две женские груди являются одновременно и одной грудью. Двойной смысл можно увидеть и в том, как декольте отделяет женщину от мужчины и вместе с тем притягивает его к ней с непреодолимостью скольжения по гладкой наклонной плоскости. У мужчин нет никакого эквивалента декольте, если не считать того мужского символа двойственного единства, который по-настоящему привлекает большинство женщин, – пухлого бумажника, открывающегося и закрывающегося у них на глазах. Но тогда как женщинам позволено смотреть на нас сколько их душе угодно и мы этому только радуемся, то мы виноваты, если смотрим на них, и едва ли менее виноваты в противном случае. Женщина с незаурядным декольте будет оскорблена по праву, если мужчина сумеет удержать свой взгляд на высоте ее лица, и я должен был уронить его хотя бы из вежливости, что и сделал не без удовольствия, доставая новую сигарету. В ложбинке ее чудесной груди покоился золотой крестик на золотой цепочке, и единственный раз в жизни мне захотелось стать истинным христианином, чтобы меня могли распять на этом кресте.

Еще сигарету? – спросил я, протягивая ей пачку, и наши взгляды встретились снова. Никто из нас не прокомментировал мою экспертную оценку ее декольте. Вместо этого она молча приняла мое предложение – вынула сигарету изящной рукой, вставила между глазированными губами, дождалась, пока я поднесу ей зажигалку, и курила, пока сигарета не превратилась в горстку пепла, готовую улететь от малейшего дуновения. Если женщина выкурила в вашем обществе первую сигарету, вы уже имеете неплохие шансы на захват плацдарма ее тела. После того как Лана выкурила при мне и вторую, моя уверенность в себе подскочила на невероятную высоту. Поэтому, когда певица в кудряшках, на чьем стуле я сидел, вернулась, мне хватило решимости твердо сказать Лане: пойдете в бар. Правило номер пять: старайся говорить утвердительно, а не спрашивать, потому что так меньше рискуешь услышать “нет”. Она пожала плечами и подала мне руку.

Примерно в течение часа, если вычесть из него те промежутки, когда Лана гипнотизировала зал и опаляла волосы на моих предплечьях очередными песнями, я выяснил следующее. Она любит коктейли из martinis с водкой, каковых

я заказал ей три штуки. В каждом, смешанном из первоклассных напитков, плавали две пухленькие зеленые оливки с заманчивыми красными сосочками из пименто. Ее работодатель – арт-галерея в фешенебельном Брентвуде. У нее были бойфренды, во множественном числе, а если женщина вспоминает при тебе о прошлых романах, это значит, что она проводит сравнение между тобой и прежними партнерами, как эффективными, так и дефективными. Хотя соображения такта помешали мне спросить о политике и религии, я понял, что в социальном и экономическом плане она придерживается прогрессивных взглядов. Она верила в контроль над арендной платой, рождаемостью и торговлей оружием, верила в признание однополый любви и равные гражданские права для всех, верила в Ганди, Мартина Лютера Кинга и Тхить Нят Ханя, верила в принцип ненасилия, йогу и мир во всем мире, верила в революционный потенциал диско и всемирную лигу ночных клубов, верила в национальное самоопределение для стран третьего мира, либеральную демократию и регулируемый капитализм – последнее в ее понимании означало, что невидимую длань рынка необходимо облечь в лайковую перчатку социализма. Ее любимым певцом был Элвис Фуонг, а певицами – Билли Холидей, Дастин Спрингфилд и Кхань Ли, и она верила, что вьетнамцы тоже способны петь блюз. Из американских городов она выбрала бы для жизни Нью-Йорк, если бы не имела возможности жить в Лос-Анджелесе. Но самым важным из всех полученных мною сведений о Лане было вот что: в отличие от большинства вьетнамок, которые держат рот на замке, пока не выйдут замуж, после чего этот замок снимается раз и навсегда, она не стеснялась напрямую говорить то, что думает.

Через час я помахал Бону, подзывая его, так как мне нужна была вторая пара ушей, чтобы облегчить давление на мои. Выпивка развязала ему язык, и он стал непривычно говорлив. Лана не брезговала общением с простыми людьми, и весь следующий час ушел у них на совместную прогулку по аллее памяти – они вспоминали Сайгон и песни, а я тем временем тихонько смаковал коньяк, заодно укладкой поглядывая на ее ноги. Длиннее Библии и гораздо более увлекательные, они тянулись до бесконечности, как индийские йоги или американское шоссе, прокинутое по Великим равнинам или выжженной солнцем юго-западной пустыне. Эти ноги настоятельно требовали к себе внимания – ни на одном из языков земли им нельзя было ответить “нет” и даже “может быть”. Плененный их видом, я вдруг услышал вопрос Ланы: а ваша жена и сын? Слезы на щеках Бона привели меня в чувство и избавили от глухоты. Каким-то образом с Сайгона и песен собеседники переключились на падение Сайгона, что было неудивительно. Почти во всех песнях, популярных в иммигрантской среде, оплакиваются утраты романтического свойства, и это не может не напоминать изгнанникам об утрате их города. Любой разговор о Сайгоне рано или поздно становится разговором о падении Сайгона и судьбе тех, кто там остался. Они погибли, ответил Бон на вопрос Ланы. Я был удивлен, поскольку Бон никогда не говорил о Линь и Дыке ни с кем, кроме меня, – прямое следствие того, что Бон вообще практически ни с кем не говорил. Вот чем чреваты прогулки по аллее памяти! Там почти всегда разлит туман, в котором легко споткнуться и упасть. Но эта неловкость принесла скорее пользу, чем вред, ибо, к еще большему моему удивлению, Лана обняла Бона и прижала его упрямую безобразную голову к своей щеке. Какая беда, сказала она. Бедный вы, бедный! Меня захлестнула щемящая любовь к своему лучшему другу и этой женщине, чья божественная фигура напоминала символ бесконечности, поставленный на свое округлое основание. Я жаждал как можно скорее проверить гипотезу моей страсти к ней эмпирическим путем, а именно изучая изгибы ее нагого тела глазами, грудь – руками, а кожу – языком. И в эту минуту, пока все ее внимание было обращено на плачущего Бона, который так ослеп от горя, что словно не замечал открывшейся его глазам волшебной долины, я понял, что буду обладать ею и что она меня примет.



## Глава 15

Думаю, многое из того, о чем я пишу, кажется вам чуждым и ненормальным, уважаемый комендант, – вам и вашему таинственному безликому комиссару, о котором я уже столько слышал. Американская мечта, культура Голливуда, заокеанская демократия в действии – из-за всего этого Америка представляется нам, уроженцам Востока, очень странным местом. Наверное, мое полузападное происхождение помогло мне хотя бы в какой-то степени понять американский характер, культуру и повадки. Теперь настал черед проявиться и еще одному различию, которое может вас озадачить, на сей раз в области романтических отношений. У нас принято ухаживать, но американцы “встречаются” – и при этом, следуя принятому в их стране прагматическому обычаю, выбирают для своих встреч время, удобное как мужчине, так и женщине, будто договариваясь о взаимовыгодном деловом начинании. Американцы оценивают свои романы с точки зрения инвестиций и возможной прибыли в скором либо отдаленном будущем, а для нас любовь и ухаживание связаны в первую очередь с неудачами и разочарованиями. В конце концов, ухаживание есть не что иное, как попытка уговорить женщину, не склонную поддаваться на ваши уговоры, а не ту, что готова предоставить себя в ваше распоряжение с учетом графика своей занятости.

Мы с Ланой не встречались – по крайней мере в прагматическом смысле. Я писал ей проникновенные письма тем идеальным почерком, каким когда-то заставляли меня писать прописи хищные чернокрылые монашки; я сочинял вилланеллы, сонеты и куплеты сомнительного поэтического качества, но неподдельной искренности; сидя на марокканской подушке в ее гостиной, я брал гитару и пел ей песни Фам Зуи, Чинь Конг Шона и новоиспеченного любимца нашей диаспоры Дыка Хюи. Она награждала меня загадочной улыбкой пленительной апсары, местечком в первом ряду на своих концертах и высокой честью регулярных аудиенций, каковых мне, впрочем, доставалось не более одной в неделю. Я испытывал муки наравне с благодарностью, о чем и докладывал Бону в апатичные предвечерние часы в винном магазине. Вы, наверное, догадываетесь, что ответного энтузиазма эти признания не вызывали. Скажи-ка мне, казанова, обронил он как-то со своим обычным кислым видом, деля внимание между мной и парочкой малолетних посетителей, крадущихся к полкам на манер опоссумов, дуэтом, чей возраст и ай-кью выражались примерно одинаковыми числами. Что будет, когда узнает генерал? Я сидел с ним за стойкой, дожидаясь послеобеденного генеральского появления. А с чего это он узнает? – возразил я. Никто ему не скажет. Мы с Ланой не настолько сентиментальны, чтобы думать, будто в один прекрасный день мы поженимся и придем к нему с повинной. И к чему тогда все эти томления и горестные потуги? – спросил он, цитируя мой отчет о предпринятых усилиях, на что я ответил: разве томления и горестные потуги должны непременно завершиться браком? Разве не могут они завершиться любовью? Какое отношение брак имеет к любви? Он хмыкнул. Да самое прямое. Бог предназначил нас для брака. У меня возникло опасение, что он расклеится, как тогда в “Рузвельте”, но сегодня разговоры о любви, браке и смерти не оказывали на него никакого заметного эффекта – возможно, потому, что он не сводил глаз с выпуклого зеркала в дальнем углу. В его кривой поверхности были видны подростки, которые благоговейно застыли перед бутылками с холодным пивом, зачарованные отражением люминесцентных ламп в янтарном стекле. Брак – это рабство, сказал я. А когда Бог создавал нас людьми – если Бог вообще есть, – он вряд ли хотел, чтобы одни из нас становились рабами других.

Знаешь, что делает нас людьми? В зеркале тот из двоих, что был покороче, сунул бутылку в карман своей ветровки. Снаружи стояла жара под тридцать градусов. С усталым вздохом Бон потянулся под кассу за бейсбольной битой. Люди – единственные существа на этой планете, которые могут оттрахать сами себя.

Пожалуй, эту мысль можно было сформулировать более деликатно, но деликатность никогда не была сильной стороной Бона. К примеру, в данный момент он достаточно откровенно продемонстрировал свою решимость нанести жуликам тяжкие телесные повреждения, тем самым вынудив их пасть на колени,

сдать ему содержимое своих карманов и униженно взмолиться о пощаде. Он всего только учил их так, как учили нас. Наши учителя твердо верили в эффективность физических наказаний, отвергнутых американцами, – уж не потому ли, кстати, Америка перестала побеждать в войнах? Для нас же насилие начиналось дома и продолжалось в школе: родители и учителя лупили своих детей и учеников, как персидские ковры, чтобы выколотить из них пыль глупости и самодовольства и таким образом сделать их прекраснее. Мой отец не составлял исключения. Его утонченность проявлялась лишь в том, что он играл на костяшках наших пальцев, точно на ксилофоне, обрабатывая их линейкой, пока они не становились багровыми и иссиня-черными. Иногда мы заслуживали трепки, иногда нет, но если постфактум обнаруживалась наша невинность, отец никогда не выказывал ни малейшего сожаления. Поскольку в первородном грехе были виновны все, даже незаслуженная кара считалась в некотором смысле справедливой.

Моя мать тоже несла бремя вины, но ее грех никак нельзя было назвать первородным – для этого ему слишком уж явно не хватало оригинальности. Сам я из тех, для кого неоригинальность хуже греха. Мечтая о близости с Ланой, я опасался, что любой грех, который я с ней совершу, окажется неоригинальным, а потому недостаточным. Но я верил, что могу и ошибаться: ведь пока не попробуешь, не узнаешь. А вдруг мне удастся одним глазком заглянуть в вечность, если я сумею воспламенить Лану случайной искрой, высеченной ударами моей души о ее? Вдруг я наконец познаю вечность, не прибегая к этому:

В. Каков апостольский символ веры?

О. Я верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли...

Наверное, эту молитву слышали даже наши двое воришек – не зря же американцы так чтят христианские идеи, что уделили им место на самом драгоценном из своих документов, а именно, на долларовой купюре. Возможно, и сейчас, когда Бон легонько постучал их по лбу битой и они вскричали “простите, мы больше не будем!”, в кошельках у них лежали бумажки с надписью *In God We Trust*. Даже эти придурки знали, что такое страх, одна из двух великих причин веры. Правда, с помощью биты нельзя было ответить на вопрос, знакома ли им другая причина – любовь, научить которой почему-то гораздо труднее.

Генерал явился в положенный час, и мы тут же сели в машину – я за руль, он на заднее сиденье. Против обыкновения, он был неразговорчив, а также не перебирал бумаги из своего портфеля. Вместо этого он смотрел в окно, хотя прежде всегда считал это пустой тратой времени, и отдал мне единственное распоряжение – выключить музыку. В наступившей тишине я уловил тихое пиликанье дурного предчувствия, возвещающего тему, которой я же сам его и озаботил: Сонни. Газетная статья Сонни о гипотетических кознях Братства и Движения распространилась среди наших эмигрантов с легкостью зимней простуды; вирусы его обвинений превратились в достоверные факты, а те – в заразные слухи. Меня они достигли в такой форме: генерал или разорился, пытаясь финансировать Движение, или как сыр в масле катается в несправедливо нажитых деньгах. Последние представляют собой либо мзду от властей США за обещание помалкивать об их отказе помочь нам в конце войны, либо доходы не только от сети ресторанов, но и от рэкета, проституции и торговли наркотиками. Кое-кто утверждал, что и само Движение создано лишь ради вымогательства и его люди в Таиланде – шайка безмозглых паразитов. Другие говорили, что это, напротив, отборные бойцы, жаждущие крови и мщения. Согласно второй, более популярной точке зрения, генерал либо собирался послать этих глупцов на смерть, не вставая с кресла, либо думал отправиться с ними, как Макартур на Филиппины, чтобы лично возглавить героическое вторжение. Коли уж эти слухи дошли до меня, то они не могли не дойти до генеральши, а через нее и до генерала: все мы были настроены на радиоканал молвы с его треском и помехами. Это относилось и к упитанному майору, чьи тела свисали по краям пассажирского кресла рядом со мной. Я не осмеливался повернуть к нему голову, но краешком глаза видел, что он сидит там лицом ко мне и все три его глаза широко раскрыты. Не я просверлил у него во лбу дыру для третьего глаза, но мне принадлежало авторство плана, который

предопределил его судьбу. Теперь именно этот глаз и позволял ему следить за мной даже будучи мертвым – не только быть привидением, но и видеть. Мне не терпится увидеть конец этой маленькой истории, произнес он. Хотя я уже знаю, чем она кончится. А ты?

Вы что-то сказали? – спросил генерал.

Нет, сэр.

Но я что-то слышал.

Должно быть, я говорил сам с собой.

Перестаньте говорить сами с собой.

Есть, сэр.

Но как перестать говорить с самим собой, если ты сам – лучший собеседник, какого только можно вообразить? Никто не слушает тебя терпеливее, чем ты сам, и хотя никто не знает тебя лучше, чем ты сам, никто не склонен понимать тебя превратнее, чем ты сам. Однако если разговор с самим собой был идеальным занятием на фуршете моего воображения, то упитанный майор явился туда как нахальный незванный гость и упорно игнорировал намеки, с помощью которых я пытался заставить его убраться. У планов своя жизнь, верно? – сказал он. Ты породил этот план и теперь ты один можешь его прикончить. Так продолжалось всю дорогу до загородного клуба: мой сосед шептал мне на ухо, а я держал язык за зубами так долго, что он распух от слов, которыми мне хотелось ему ответить. Больше всего я хотел от упитанного майора того же, чего когда-то хотел от своего отца: чтобы он исчез из моей жизни. Получив его письмо с известием о смерти матери, я написал Ману из Америки, что если бы Бог и правда существовал, моя мать была бы жива, а отец нет. *Как я хочу, чтобы он умер!* Он и впрямь умер вскоре после моего возвращения на родину, но его смерть не принесла мне того удовлетворения, на какое я рассчитывал.

Это и есть загородный клуб? – спросил генерал, когда мы прибыли туда, куда направлялись. Я проверил адрес; он совпадал с указанным в приглашении конгрессмена. Там действительно говорилось о загородном клубе, и я тоже думал, что мы будем долго петлять по пустынным извилистым дорогам и наконец подкатим по гравийной аллее к ожидающему нас лакею в черном жилете с галстуком-бабочкой – прелюдия в пастельных тонах перед вступлением в тихий зал, усталанный медвежьими шкурами. Рогатые олени головы в простенках между панорамными окнами будут с сардонической мудростью взирать на нас сквозь облака сигарного дыма. За окнами мы увидим бескрайнее зеленое поле, требующее больше воды, чем средний город третьего мира, а на нем – квартеты энергичных банкиров, орудующих клюшками со свирепой неумолимостью опытных потрошителей профсоюзов и завидной сноровкой специалистов по налоговым махинациям. Но вместо такой безмятежной гавани, где никогда не иссякают запасы рифленых мячиков для гольфа и добродушного панибратства, мы очутились в Анахайме перед стейк-хаусом, в котором было не больше обаяния, чем в разъездном продавце пылесосов. Это заведение выглядело малопривлекательным для закрытого ужина с самим Ричардом Хеддом, посетившим наши края в рамках лекционного турне.

Собственноручно припарковав машину на стоянке, занятой исключительно американскими и тевтонскими авто недавнего года выпуска, я проследовал за генералом в ресторан. Метрдотель смахивал на посла очень маленькой страны – та же тщательно выверенная смесь надменности и раболепия. Услышав имя конгрессмена, он оттаял настолько, чтобы чуть склонить перед нами голову и повести нас по лабиринту крошечных зальчиков, где крепкие американцы в разноцветных вязаных безрукавках и традиционных рубашках на пуговицах насыщались огромными порциями жареной говядины и каре ягненка. Конечным пунктом нашего маршрута оказался уютный отдельный кабинет на втором этаже.

Конгрессмен и еще несколько гостей вели беседу за круглым столом, на котором легко мог бы разместиться гроб. Все уже держали в руках бокалы, и я заподозрил, что наше позднее прибытие было запланировано. Конгрессмен поднялся нам навстречу, и по моей спине невольно пробежал холодок. Я находился в тревожной близости от группы образцовых представителей самого опасного из всех видов животных, когда-либо населявших нашу планету, – белого человека в костюме.

Джентльмены, мы рады, что вы смогли к нам присоединиться, сказал конгрессмен. Позвольте мне вас представить. Остальных было шестеро – воротилы бизнеса, выборные чиновники и юристы, а также профессор Хедд. Конгрессмен с Хеддом проходили по разряду очень важных персон, а прочие, включая генерала, – умеренно важных (не считая меня, персоны нулевой важности). Гвоздем программы был, конечно, профессор Хедд, но и генерал вызывал у собравшихся некоторый интерес. Собственно говоря, конгрессмен устроил этот ужин в первую очередь ради того, чтобы дать генералу возможность расширить свою сеть потенциальных сторонников и инвесторов, причем Хедд играл роль главного приза. Одно доброе слово из уст профессора Хедда, сказал конгрессмен генералу, способно распахнуть перед вами множество дверей и бумажников. Таким образом, далеко не случайно нам с генералом отвели места справа и слева от профессора, и я не преминул тут же попросить высокого гостя подписать мой экземпляр его книги.

Я вижу, вы прочли ее довольно внимательно, сказал Хедд, пролистывая большим пальцем все страницы разом. У многих из них были загнуты уголки, так что вся книга разбухла, точно от влаги. Наш юный друг изучает американский характер, заметил конгрессмен. Исходя из рассказов генерала и моих собственных наблюдений, рискну предположить, что он уже знает нас лучше, чем мы сами. Это предположение вызвало у остальных гостей смешки; вместе с ними усмехнулся и я. Если вы изучаете американский характер, сказал профессор, подписывая титульный лист, зачем вам читать мою книгу? Она посвящена скорее Азии, чем Америке. Он отдал мне книгу, и, держа ее на весу, я ответил: мне кажется, что, если хочешь понять чей-то характер, полезно бывает узнать, что этот человек думает о других, особенно о таких, как ты. Профессор внимательно посмотрел на меня поверх своих очков без оправы – от таких взглядов мне всегда становилось не по себе, а тут еще на меня смотрел автор следующих строк:

У рядового вьетконговца нет претензий к реальной Америке. У него есть претензии к бумажному тигру, созданному его вождями, ибо он всего только молодой идеалист, одураченный идеологами коммунизма. Если бы он познал истинную суть Америки, то понял бы, что Америка ему не враг, а друг. (стр. 213)

Конечно, профессор Хедд говорил не обо мне, поскольку я не был рядовым вьетконговцем, и все же он говорил обо мне в том смысле, что описывал некий типаж. Перед этой встречей я еще раз перелистал его книгу и нашел два места, где его рассуждения относились к людям вроде меня. О моей оборотной стороне он писал:

Радикально настроенный вьетнамец-интеллектуал – наш самый опасный враг. Познакомившись с трудами Джефферсона и Монтеня, Маркса и Толстого, он задает логичный вопрос, почему права человека, столь превозносимые западной цивилизацией, не распространяются на его земляков. Для нас он потерян. Ради своих целей он решился пойти на крайние меры, а для таких людей нет пути назад. (стр. 301)

Эту оценку профессора я признал справедливой. Я и вправду был врагом наихудшего типа – неисправимым. Но вот что я прочел о своей лицевой стороне:

В руках молодых вьетнамцев, влюбленных в Америку, находится ключ к свободе Южного Вьетнама. Они, фигурально говоря, вкусили кока-колы и знают, что она сладка. Они видят наши несовершенства, но им внушает надежду наша искренность и готовность бороться со своими недостатками. Именно такую молодежь нам и следует взращивать. Со временем она придет на смену генералам

с диктаторскими наклонностями – тем, кого в конечном счете воспитали французы. (стр. 381)

Эти категории существовали, как существуют страницы книги, но в большинстве из нас много страниц, а не одна. И все же, сидя под пристальным взглядом профессора Хедда, я подозревал, что он видит перед собой не книгу, а лист, который легко прочесть и при необходимости подчинить себе. Я собирался доказать, что он ошибается.

Бьюсь об заклад, джентльмены, сказал профессор, снова переключая свое внимание на остальных гостей, что этот молодой человек – единственный среди вас, кто прочел мою книгу целиком. Ответом ему был смех, лишенный всякого стеснения, и по какой-то причине мне почудилось, что профессор развеселил всех, ловко подшутив надо мной. Целиком? – переспросил конгрессмен. Полноте, Ричард. Я крайне удивлюсь, если окажется, что кто-нибудь прочел больше, чем написано на обложке. Ну, может, еще рекламные отзывы на первой странице. Опять смех, но вместо того, чтобы оскорбиться, профессор Хедд лишь благосклонно улыбнулся. Королю вечера явно была не в тягость его бумажная корона. Конечно, он привык к почитанию: его книги пользовались популярностью, он не раз выступал на воскресных утренних ток-шоу и занимал престижное положение одного из вашингтонских экспертов-мыслителей. Особенно любили его генералы ВВС: они консультировались у него по стратегическим вопросам, и по их наущению он регулярно осведомлял президента и его советников о чудесных эффектах бомбардировок. Любили Ричарда Хедда и сенаторы с конгрессменами, включая нашего и ему подобных, в чьих районах наряду с прочими благами цивилизации производились самолеты, потребные для этих бомбардировок. Насчет моей книги, сказал он, – пожалуй, оттуда не мешало бы убрать капельку честности и добавить взамен капельку вежливости. Это помогло бы, знаете... сохранить лицо.

Рядом со мной сидел человек средних лет, который еще ни разу не усмехнулся. На нем был простой синий костюм и невзрачный полосатый галстук. Его представили нам как адвоката по делам, связанным с телесными повреждениями, доку по части групповых исков. Ковыряя вилкой уолдорфский салат, он сказал: любопытно, что вы говорите “сохранить лицо”, профессор Хедд. Времена меняются, не так ли? Лет двадцать-тридцать назад ни один американец и не подумал бы сказать это всерьез.

Лет двадцать-тридцать назад американцы не говорили всерьез многих вещей, которые мы говорим сегодня, отозвался профессор. Сохранить лицо – полезное выражение. Можете мне поверить, я воевал с японцами в Бирме.

Они были крепкие ребята, заметил конгрессмен. Отец мне рассказывал. Нет ничего плохого в том, чтобы уважать своих врагов. Наоборот, это даже благородно! Поглядите, чего они добились с небольшой нашей помощью. Сейчас по улице не пройдешь, чтобы не наткнуться на японскую машину.

В мою страну японцы тоже вкладывались немало, сказал генерал. Продавали у нас мотоциклы и магнитофоны. У меня самого был “Саньо”.

И это всего через какую-нибудь пару десятилетий после оккупации, сказал конгрессмен. А вы знаете, что под японцами миллион вьетнамцев умер от голода? Это было адресовано остальным людям в костюмах и не вызвало ни смешка, ни улыбки. С ума сойти, сказал адвокат. Иначе, пожалуй, и нельзя было отреагировать на такую статистику, поданную между салатом и стейком с печеной картошкой. На несколько мгновений все усталились в свои тарелки или бокалы с сосредоточенностью пациентов, проверяющих зрение по оптометрической таблице. Что до меня, то я прикидывал, как скомпенсировать ущерб, невольно нанесенный конгрессменом. Мы с генералом старательно изображали приятных собеседников, но он усложнил нашу задачу, упомянув о голоде – бедствии, которого американцы никогда не знали. Это слово могло связываться в их мыслях разве что с экзотическими ландшафтами, усеянными скелетообразными трупами изможденных туземцев, но нам было совсем ни к чему навеивать им подобные картины, ибо чего нельзя делать ни в коем случае – так это требовать от других

вообразить, что они совсем такие же, как мы. Душевная телепортация выбивает из колеи большинство людей, которые (если они вообще думают о других) предпочитают думать, что другие совсем такие же, как они, или могут стать такими же.

Эта трагедия была давным-давно, сказал я. Честно говоря, почти все наши соотечественники здесь думают не столько о прошлом, сколько о том, как стать американцами.

И как же? – спросил профессор Хедд, снова глядя на меня поверх стекол, так что мне казалось, будто меня изучают не двумя глазами, а четырьмя. Они, то есть мы, верим, что люди должны быть свободны и счастливы, сказал я – ответ, который я давал многим американцам. Эту декларацию встретили одобрительными кивками все присутствующие, кроме профессора; я и забыл, что он английский эмигрант. Он по-прежнему держал меня под прицелом своего квадроскопического зрения, и взгляд этих сдвоенных глаз и линз мешал мне сосредоточиться. Так значит, вы счастливы? – спросил он. Это был нескромный вопрос, почти такой же личный, как вопрос о жалованье, допустимый у нас на родине, но не здесь. Трудность усугублялась тем, что я не мог придумать подходящий ответ. Скажу, что несчастен, – дискредитирую себя, поскольку американцы считают несчастных этически несостоятельными и повинными в мыслепреступлении. Но если я полагаю себя счастливым, то говорить об этом – дурной тон или признак гордыни, словно я хвастаюсь или злорадствую.

В этот миг явились официанты, торжественные, как египетские слуги, готовые к погребению вместе с фараоном. Они несли тарелки с главным блюдом, подпирая их плечами. У меня забрезжила надежда, что огромные ломти мяса перед нами отвлекут внимание профессора от моей персоны, но я ошибался. Стоило официантам уйти, как он повторил свой вопрос. Я ответил, что не чувствую себя несчастным. На мгновение пухлый воздушный шар моего двойного отрицания повис в воздухе, двусмысленный и уязвимый. Вероятно, сказал профессор, вы не чувствуете себя несчастным, потому что стремитесь к счастью, но еще не достигли его. Пожалуй, как и все мы, верно, джентльмены? Джентльмены, набравшие полные рты мяса и красного вина, невнятно выразили свое согласие. В среднем американцы не доверяют интеллектуалам, однако робеют перед властью и восхищаются славой. Профессор Хедд обладал изрядной толикой того и другого, а вдобавок еще и английским акцентом, на который американцы реагируют примерно так же, как собаки на ультразвуковой свисток. Однако меня, никогда не знавшего английской колонизации, этот акцент ничуть не беспокоил, и я был твердо намерен отстаивать в нашем импровизированном диспуте свои позиции.

А как насчет вас, профессор? – спросил я. Вы счастливы? Нимало не смутившись, профессор разровнял ножом горошек, затем аккуратно отпилил дольку мяса. Как вы, очевидно, поняли, на этот вопрос нет хорошего ответа, сказал он.

Чем вам не нравится утвердительный? – спросил помощник окружного прокурора.

Тем, что в Америке погоня за счастьем похожа на перетягивание одеяла, сказал профессор, медленно поворачивая голову и обводя взглядом всех собравшихся без исключения. Уровень вашего счастья пропорционален уровню несчастья кого-то другого, и наоборот. Если я говорю, что счастлив, кто-то другой должен быть несчастен – скорее всего, один из вас. Если же я назову несчастным себя, кто-то из вас, возможно, почувствует себя счастливее, но вместе с тем будет испытывать неловкость, поскольку в Америке быть счастливыми положено всем. Я думаю, от нашего пронизательного юноши не укрылась эта особенность нашей страны: дорога к счастью открыта для всех американцев, однако многим гарантировано несчастье.

За столом воцарилась подавленность. Из уст профессора Хедда прозвучало то, что мы с генералом никогда не смогли бы высказать в компании солидных белых людей, не нарушив при этом всех мыслимых приличий. Беженцы вроде нас не имеют права подвергать сомнению диснейлендовскую идеологию большинства

американцев, убежденных, что их страна – счастливейшее место на Земле. Но Хедд находился вне всякой критики, ибо он был *английским* иммигрантом. Само его существование подтверждало легитимность прежних колоний, тогда как его выговор и культурное наследие пробуждали дремлющую в этих американцах англофилию и комплекс неполноценности. Профессор отлично сознавал свои преимущества и забавлялся смятением своих американских хозяев. Но тут счел нужным вмешаться генерал. Я полностью согласен с нашим уважаемым профессором, сказал он. Пусть счастье здесь не гарантировано, зато гарантирована свобода, а это, джентльмены, гораздо важнее.

В самую точку! – воскликнул конгрессмен, поднимая бокал. Вот что всегда было ясно любому эмигранту! Остальные гости тоже подняли бокалы – даже профессор Хедд, улыбаясь своим тайным мыслям. Для сбора средств нужно уметь нравиться и читать настроение толпы, и обоими этими таинственными качествами генерал обладал в избытке. Как я сообщил Ману через парижскую тетку, он уже добился частичного успеха, склонив к пожертвованиям несколько организаций, которым представил его Клод, а также ряд американцев из числа своих собственных знакомых, которые посещали нашу страну или служили там. Все это были солидные люди со связями, как и члены попечительских советов вышеозначенных организаций. Суммы, перечисленные ими Братству, были скромны по их меркам и едва ли могли привлечь внимание аудиторов или журналистов. Но когда Его Величество Доллар выезжает за границу, с ним происходит удивительная метаморфоза под названием валютный обмен. В Америке на доллар можно приобрести разве что сэндвич с ветчиной, однако в тайском лагере беженцев эта скромная зеленая бумажка обращалась в пачку радужных батов, способных прокормить бойца в течение нескольких дней. Чуть больше батов – и наш боец мог облачиться в камуфляж согласно последнему гавку военной моды. Таким образом, благотворительные взносы в пользу беженцев шли на питание и обмундирование секретной армии, состоящей, в конечном счете, из беженцев. Что же касается оружия и боеприпасов, то они поставлялись тайскими органами охраны правопорядка, в свою очередь получающими на карманные расходы от Дяди Сэма совершенно открыто и с полного одобрения Конгресса.

Разумеется, момент, наиболее удобный для оглашения истинной цели нашей сегодняшней встречи, следовало выбрать конгрессмену, что он и сделал после нескольких очередных коктейлей и перехода к тарту безе с мороженым. Джентльмены, сказал конгрессмен, водя пальцем по кромке бокала, у нас был серьезный повод для того, чтобы собраться здесь и возобновить нашу дружбу. Генерал приехал сюда поговорить с нами о судьбе нашего старого союзника, южновьетнамского солдата, без которого мир выглядел бы гораздо хуже, чем выглядит сегодня. Индокитай пал под натиском коммунизма, но вспомните, что мы сохранили. Таиланд, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Корея и Япония – вот наш оплот в сражении с коммунизмом.

Не стоит забывать и о Филиппинах, сказал профессор Хедд. Как и об Индонезии.

Само собой! Маркос и Сухарто успели повергнуть своих коммунистов, пока южновьетнамский солдат держал оборону, сказал конгрессмен. Так что мы, полагаю, задолжали ему больше, чем просто благодарность; поэтому я и пригласил вас сюда. А теперь я передаю слово одному из славнейших защитников свободы, которых когда-либо знал Индокитай. Прошу вас, генерал!

Генерал отодвинул пустую рюмку и подался вперед, облокотившись на стол и соединив ладони. Благодарю вас, конгрессмен. Я чрезвычайно польщен встречей со всеми вами. Такие люди, как вы, создали величайшее оружие на Земле – арсенал демократии. Мы ни за что не смогли бы так долго сопротивляться превосходящим силам противника, если бы не ваши солдаты и ваша поддержка. Следует помнить, джентльмены, что против нас выступили не только наши заблудшие братья, но и весь коммунистический мир. Русские, китайцы, северокорейцы – все они были там, тогда как на нашей стороне были многие уроженцы Азии из числа ваших нынешних друзей. Разве могу я забыть южнокорейцев, филиппинцев и тайцев, а также австралийцев и новозеландцев,

которые сражались с нами плечом к плечу? Нет, джентльмены, это была не Вьетнамская война. Мы бились не в одиночку. Мы всего лишь участники битвы за Вьетнам на периферии холодной войны между свободой и тиранией...

Никто не спорит с тем, что в Юго-Восточной Азии еще не улеглись волнения, сказал профессор. На моей памяти генерала осмеливался перебивать только наш президент, но если его это и задело, в чем у меня было мало сомнений, то он не показал виду и лишь чуточку улыбнулся, демонстрируя, как приятно ему слышать комментарий профессора Хедда. Но что бы ни творилось там в прошлом, продолжал последний, сейчас в этом регионе стало спокойнее, если не считать Камбоджи. Вместе с тем перед нами встают и иные, более насущные проблемы. Палестинцы, "Красные бригады", Советы. Угроза меняется и метастазирует. Террористы наносят удары в Германии, Италии и Израиле. Афганистан превратился в новый Вьетнам. Мы не можем позволить себе смотреть на все это сквозь пальцы, не правда ли, генерал?

Генерал чуточку нахмурился, выражая этим свою озабоченность и понимание. Не будучи белым человеком, генерал, подобно мне, знал, что с белыми надо вести себя терпеливо, поскольку они легко пугаются небелых. Даже с прогрессивными белыми можно пойти лишь до известного предела, тогда как с обычными белыми часто и вовсе не удастся сдвинуться с места. Как любой небелый, проживший здесь немалое количество лет, генерал прекрасно разбирался в характере, особенностях и внутренних различиях белых людей между собой. Мы ели их пищу, смотрели их фильмы, наблюдали за их поведением по телевизору и в ежедневном общении, мы учили их язык, улавливали их тонкие намеки, смеялись их шуткам, даже если они шутили над нами, мы покорно терпели их снисходительность, подслушивали их разговоры в магазине и приемной зубного врача и оберегали их, стараясь не говорить в их присутствии на своем языке, потому что это их нервировало. Мы стали величайшими антропологами, знатоками американской души, чего никто из американцев не замечал, поскольку мы делали свои полевые заметки на нашем языке, а затем отправляли их в письмах и открытках к себе на родину, где наши близкие читали их со смехом, недоумением и благоговейным трепетом. Хотя конгрессмен полагал, что шутит, возможно, мы и вправду узнали белых лучше, чем они знают себя сами, и уж точно лучше, чем они когда бы то ни было знали нас. Порой это приводило к тому, что мы начинали сомневаться в себе самих, изнуряли себя самоанализом, глядели на себя в зеркало и гадали, действительно ли мы такие, раз белые нас такими видят. Но, несмотря на всю нашу уверенность в том, что мы их знаем, мы знали, что не узнали кое-чего даже за много лет этой навязанной или добровольной близости, – например, как приготовить клюквенный соус, или как правильно бросать футбольный мяч, или по каким тайным законам живут загадочные общества вроде студенческих братств, умудряющиеся пополнять свои ряды только теми, кого с удовольствием взяли бы в гитлерюгенд. Не последнее место в перечне непознанного, как я и написал парижской тетке, занимали и святилища вроде этого, где прежде доводилось бывать лишь немногим из нас, если такое вообще когда-нибудь случалось. Генерал понимал это не хуже моего и передвигался в этом духовном пространстве на цыпочках, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть.

Любопытно, что вы упомянули о Советах, сказал генерал. Как вы писали, профессор, Сталин и все население Советского Союза по характеру ближе к восточному типу, чем к западному. Ваша мысль, что холодная война – это столкновение цивилизаций, а не стран или даже идеологий, абсолютно справедлива. Холодная война – это на самом деле конфликт между Востоком и Западом, а жители Советов – азиаты, которые, в отличие от нас, так и не переняли западную манеру мышления. Разумеется, все эти выжимки из книги Хедда подготовил для генерала не кто иной, как я: сегодняшняя беседа (или, точнее, собеседование) требовала серьезного подхода. Сейчас я внимательно наблюдал за реакцией профессора на мою предварительную работу, однако выражение его лица не изменилось. Тем не менее я был уверен, что слова генерала возымели нужное действие. Ни один писатель не может остаться равнодушным, когда его идеи цитируют, сопровождая комплиментами. Пусть авторы хорохорятся и важничают



сколько угодно – по существу, это неуверенные в себе создания с чувствительной душой, хрупкие и ранимые, как кинозвезды, только гораздо беднее и невзрачнее. Чтобы убедиться в этом, достаточно ковырнуть поглубже мясистый белый клубень их сокровенного “я”, а самый острый инструмент для этой цели – их собственные слова. Я решил внести в дело свою лепту и сказал: то, что мы должны противостоять Советам, неоспоримо. Но причина, по которой мы должны с ними бороться, связана с той, по которой мы, согласно вашему мнению, боролись и продолжаем бороться с их эпигонами у нас в стране.

И что же это за причина? – спросил профессор, явно предпочитающий вести полемику в сократическом стиле.

Я назову вам ее, вмешался конгрессмен. Но не своими словами, а словами Джона Куинси Адамса, сказанными о нашей великой стране. “Где бы ни зародились ростки свободы и независимости, там будет ее сердце, ее благословение и ее молитвы. Она – Америка – желает свободы и независимости всем”. Профессор улыбнулся снова и сказал: очень хорошо, сэр. Даже англичанин не может спорить с Джоном Куинси Адамсом.

И все же я никак не возьму в толк, отчего мы проиграли, сказал помощник окружного прокурора, жестом подзывая к себе официанта с очередной порцией коктейля. Я полагаю, сказал дока по групповым искам, и надеюсь, что вы правильно меня поймете, джентльмены, мы проиграли из-за своей нерешительности. Напрасно мы боялись испортить себе репутацию – такие вещи все равно быстро забываются, и пойми мы это сразу, ничто не помешало бы нам продемонстрировать свою силу и показать вашему народу, какая из сторон заслуживает победы.

Возможно, Сталин и Мао правильно ведут себя в таких случаях, сказал генерал. Когда миллионы уже погибли, что значат еще несколько миллионов? Кажется, вы что-то писали и об этом, не так ли, профессор?

Вы меня удивляете, генерал. Вы прочли мою книгу внимательнее, чем я предполагал. Как человек, повидавший на войне самое худшее – тут нам с вами одинаково не повезло, – вы простите меня, если я скажу горькую правду о том, почему американцы потеряли Вьетнам. Профессор Хедд подвинул очки вверх по переносице, так что его глаза наконец очутились за стеклами. Ваши американские генералы воевали во Второй мировой и хорошо помнили эффективность тогдашней японской стратегии, но на этот раз у них не было свободы действий. Вместо того чтобы вести войну на уничтожение, а это единственный вид войны, понятный людям Востока – вспомните Токио, Хиросиму и Нагасаки, – им пришлось, по своему выбору или поневоле, вести войну на истощение. Уроженец Востока вполне логично интерпретирует это как слабость. Разве я не прав, генерал?

Если у Востока и есть какой-нибудь неисчерпаемый ресурс, сказал генерал, то это люди.

Правильно. И я добавлю еще кое-что, генерал. Мне грустно делать такой вывод, но меня подтолкнуло к нему то, что я видел сам, и не в архивах и книгах, а на полях сражений в Бирме. Это должно быть сказано. Восток кишит жизнью, и она там дешева. Жизнь – тут профессор помедлил, – жизнь, согласно восточной философии, не такая уж важная вещь. Рискну показаться бесчувственным, но на Востоке она попросту не ценится так высоко, как на Западе.

После этих слов, писал я своей парижской тетке, комнату объяла тишина. Все переваривали этот тезис в ожидании официантов с напитками. Конгрессмен поболтал то, что осталось у него в бокале, и промолвил: а вы как думаете, генерал? Генерал пригубил свой коньяк с содовой, улыбнулся и сказал: конечно, я согласен с профессором Хеддом. Правда часто бывает неприятной. А вы как считаете, капитан?

Все взгляды устремились на меня, остановив мою руку с коктейлем на полпути ко

рту. Я неохотно опустил ее. После трех порций мартини и двух бокалов красного вина я чувствовал себя прозорливым как никогда; дыхание истины распирало мой мозг и просилось наружу. Что ж, сказал я, тут я осмелюсь возразить профессору Хедду. По-моему, жизнь на Востоке все же имеет цену, и немалую. Генерал нахмурился, и я сделал паузу. Выражения прочих лиц не изменились, но в воздухе будто покалывало статическим электричеством. Так вы утверждаете, что профессор неправ, сказал конгрессмен добродушно, как доктор Менгеле, коротающий вечерок в дружеском кругу. Нет-нет, поспешил возразить я. Мое нижнее белье намокло от пота. Но, видите ли, джентльмены: мы всего лишь считаем человеческую жизнь *ценной* – я сделал новую паузу, и все головы придвинулись ко мне еще на миллиметр-другой, – тогда как для уроженца Запада она *бесценна*.

Все повернулись к профессору Хедду, который поднял свой бокал и сказал: я сам не смог бы сформулировать это лучше, молодой человек. На этом беседа наконец исчерпала себя, и все принялись баюкать свои коктейли с нежностью, обычно предназначенной для новорожденных щенков. Я встретился глазами с генералом, и он одобрительно кивнул. Теперь, после благополучного завершения дискуссии, я мог задать вопрос, давно занимавший меня самого. Простите меня за наивность, сказал я, но мы думали, что едем в загородный клуб.

Ответом мне был взрыв громоподобного смеха наших хозяев, точно я пропустил уморительнейшую шутку. Даже профессор Хедд, и тот посмеивался, качая головой над своим “манхэттенном”. Мы с генералом ухмыльнулись в ожидании объяснения. Конгрессмен глянул на старшего официанта, тот кивнул и сказал: джентльмены, если угодно, я готов пригласить вас в наш загородный клуб прямо сейчас. Не забудьте прихватить бокалы. Мы встали и гуськом потянулись за ним. Дальше по коридору была другая дверь. Открыв ее, старший официант воскликнул: а вот и наши гости! За порогом оказалось то, что я рассчитывал увидеть с самого начала: стены, обшитые деревянными панелями, и голова оленя с ветвистыми рогами, заменяющими вешалку. В комнате было дымно и сумрачно – освещение, весьма выгодное для привлекательных молодых женщин в облегающих платьях, живописно расположившихся на кожаных диванчиках.

Джентльмены, сказал конгрессмен, добро пожаловать в загородный клуб!

Не понимаю, прошептал генерал.

Потом объясню, сэр, пробормотал я. Допив остатки коктейля, я отдал пустой бокал старшему официанту, а конгрессмен тем временем поманил к нам парочку женщин. Генерал, капитан, разрешите вас познакомиться. Наши дамы встали; благодаря туфлям на шпильках они были выше нас с генералом на два-три дюйма. Мне досталась огромная пышная блондинка, чьи белые эмалированные зубы уступали по твердости и блеску нордическим голубым глазам. В одной руке она держала бокальчик шипучего шампанского, в другой – длинный мундштук с недокуренной сигаретой. Это была профессионалка, перевидавшая тысячу таких, как я, на что я едва ли имел право сетовать, поскольку и сам видал таких, как она, не раз и не два. Пока конгрессмен представлял нас, я соорудил из своих щек и губ подобие улыбки, но мне не удавалось вызвать в себе должный прилив энтузиазма. Возможно, все дело было в нарочитой небрежности, с которой она стряхивала пепел на ковер, но вместо того чтобы поддаться ее железному обаянию, я отвлекся на складчатую полоску под ее подбородком, границу между неприкрашенной кожей шеи и белесым слоем тонального крема на лице. Как-как вас зовут? – переспросила она, смеясь без всякой причины. Я наклонился к ней, чтобы ответить, и чуть не упал в колодец ее декольте, одурманенный хлороформом ее ядреных духов.

Приятный у вас выговор, сказал я, отшатываясь. Вы, наверное, откуда-нибудь с Юга.

Из Джорджии, лапка, сказала она со смехом. Для парня с Востока у тебя шикарный английский.

Я засмеялся, она тоже, а взглянув на генерала с его рыжеволосой дамой, я увидел, что смеются и они. Смеялись все, кто был в комнате, и когда официанты принесли еще шампанского, стало ясно, что скучать здесь не придется никому, в том числе и профессору Хедду. Передав бокал своей полногрудой даме и еще один мне, он сказал: надеюсь, вы не будете на меня в обиде, молодой человек, если я использую ваш изящный оборот в своей следующей книге. Наши компаньонки взглянули на меня без интереса, дожидаясь моего ответа. Что вы, сэр, я буду просто счастлив, ответил я, хотя по причинам, никак не подлежащим оглашению в этой компании, чувствовал себя глубоко несчастным.

## Глава 16

Чуть позже полуночи, когда я остановил машину под темными окнами резиденции генерала, он меня удивил. Я обдумал вашу просьбу отпустить вас обратно в нашу страну, сказал он из-за моей спины; в зеркальце заднего вида отражались его глаза. Вы нужны мне здесь, но ваше мужество достойно уважения. Однако, в отличие от Бона и остальных, вы еще никогда не проходили проверку боем. Тут генерал охарактеризовал седого капитана и бесстрастного лейтенанта как героев войны, которым он без промедления доверил бы в битве свою жизнь. Но вы должны доказать, что не уступите им. Вы должны сделать то, что должно быть сделано. Способны вы на это? Конечно, сэр. Я помедлил и все-таки задал естественный вопрос: но что должно быть сделано? Вы знаете, сказал генерал. Я сидел неподвижно, сжимая руками руль на десяти и двух часах и надеясь, что ошибаюсь. Я просто хочу быть уверен, что поступаю правильно, сэр, сказал я, глядя на него в зеркальце. Что именно должно быть сделано?

Генерал пошуршал сзади, роясь в карманах. Я щелкнул зажигалкой. Спасибо, капитан. На несколько секунд пламя высветило палимпсест его лица, но прежде чем я успел что-либо по нему прочесть, его контрастные черты снова канули во мрак. Вам известно, что я провел два года в коммунистическом лагере для военнопленных. Но я никогда не рассказывал вам, как я туда угодил, не так ли? Оставим в стороне живописные детали. Довольно будет сказать, что враг окружил наших людей в Дьенбьенфу. Не только французов, немцев, алжирцев и марокканцев, но и наших, целые тысячи. Я добровольно бросился в этот котел с парашютным десантом, хотя понимал, что и мне там не уцелеть. Но я просто не мог смотреть, как гибнут мои братья, и ничего не делать. Когда Дьенбьенфу пал, меня взяли в плен вместе с остальными. И хотя я потерял в тюрьме два года жизни, я никогда не жалел о своем решении. Я стал тем, кто я сейчас, благодаря тому, что прыгнул туда и пережил лагерь. Но никто не просил меня идти добровольцем. Никто не говорил мне, что должно быть сделано. Никто не обсуждал последствия. Все это было ясно без слов. Вы меня поняли, капитан?

Так точно, сэр, сказал я. Вот и прекрасно. Если то, что должно быть сделано, будет сделано, тогда вы сможете вернуться на родину. Вы очень умный молодой человек, капитан. Конкретную разработку я поручаю вам. У меня консультироваться не надо. Билет я вам раздобуду. Вы получите его, когда я узнаю, что дело сделано. Генерал помедлил, уже приоткрыв дверцу. Загородный клуб, значит? Он усмехнулся. Надо запомнить. Я смотрел, как он идет по аллейке к своему погруженному во тьму коттеджу, где генеральша, наверное, дожидалась его, читая в постели. Ей было не привыкать: она знала, что генеральские обязанности приходится выполнять не только в дневные часы, но догадывалась ли она, в чем порой состоят эти обязанности? Нам доводилось посещать загородные клубы и на родине. Иногда, доставив генерала на виллу за полночь, я стоял в коридоре босиком и прислушивался. Из их спальни ни разу не донеслось негодующего возгласа, даже приглушенного, но она была слишком проницательна, чтобы не знать.

Что же касается моих знаний, то они пополнились ответом от парижской тетушки. Невидимые инструкции, понемногу ставшие видимыми, носили вполне определенный характер. *Не возвращайся*, писал Ман. *Ты нужен нам в Америке, а не здесь. Это приказ.* Я сжег письмо в корзине для бумаг, как и все прочие, но раньше это был просто способ избавиться от улики. Теперь же, испепелив письмо, я словно отправил его в ад, а может быть, принес в жертву какому-то языческому божеству, чтобы оно сохранило жизнь мне и Бону. Конечно, я не сообщил Бону о письме, но попросил у него совета в связи с приказом генерала. По обыкновению, он был краток. Ты идиот, сказал он. Но я не могу помешать тебе лететь. А насчет Сонни – нечего тут страдать. У парня слишком длинный язык. Это утешение в характерном и единственно доступном для моего друга стиле прозвучало в бильярдной, где он угостил меня несколькими порциями выпивки и несколькими партиями в пул. Царящая в бильярдных атмосфера братства умиротворяет душу. В луже света на зеленом сукне, как на гидропонной подстилке, произрастает

колючий кустик мужских эмоций, слишком чувствительный для прямых солнечных лучей и свежего воздуха. После кафе, но до ночного клуба или дома бильярдная – место, где с наибольшей вероятностью можно встретить уроженца Южного Вьетнама. Здесь мы открыли для себя, что в бильярде, как и в любви, трудность точного и выверенного попадания в цель увеличивается пропорционально количеству потребленного алкоголя. И на этот раз, как и в другие вечера, наши партии постепенно становились все длиннее и длиннее. К чести Бона надо сказать, что свою помощь он предложил почти сразу, задолго до того, как клубок ночи разматался окончательно и мы покинули бильярдную с первыми проблесками рассвета, выйдя на пустынную улицу без всяких признаков жизни, если не считать убеленного мукой пекаря, хлопчущего за окном булочной. Я могу тебя заменить, сказал Бон, когда я ставил пирамиду. Справлюсь сам, а генералу скажешь, что это ты.

Услышав это предложение, я вовсе не удивился. Я ответил “спасибо”, уже зная, что не приму его. Мне предстояло путешествие в дебри, где многие блуждали до меня: я готовился переступить грань, отделяющую тех, кто убивал, от тех, кто никогда этого не делал. Генерал был прав: вернуться на родину мог только тот, кто прошел этот ритуал. Я нуждался в своего рода причащении, и разве не к этому меня подталкивали обстоятельства? Кого мы хотим обмануть, уверяя, что Бог, если он существует, не хочет, чтобы мы признали сакральность убийства? Это повод вспомнить еще один важный вопрос из катехизиса моего отца:

В. Что есть человек?

О. Человек есть творение, состоящее из тела и души и созданное по образу и подобию Божию.

В. Чем человек подобен Богу – телом или душой?

О. В первую очередь, душой.

Чтобы отыскать подобие Бога, не надо смотреть в зеркало или на лица своих собратьев. Достаточно посмотреть на их деяния и заглянуть в собственную душу, чтобы понять: мы не были бы убийцами, если бы к их числу не принадлежал и Он сам.

Конечно, здесь я веду речь не только об убийстве вообще, но и о той его разновидности, которая называется умышленным убийством. В ответ на мой отказ Бон пожал плечами и склонился над столом, оперев кий на растопыренную руку. Ты же у нас любишь учиться, пробурчал он. Так вот, нет лучшей школы, чем убить человека. Он хорошо выбрал винт, и биток, отправив в лузу другой шар, мягко откатился в позицию, удобную для следующего удара. А как же любовь и созидание? – спросил я. Как насчет “плодитесь и размножайтесь”? Кто-то, а уж ты-то должен верить в эти уроки! Он присел боком на краешек стола, прислонив к плечу кий. Проверяешь меня, да? Ну ладно. Нас хлебом не корми, дай порассуждать о любви и созидании. Но когда парни вроде меня идут и убивают, все радуются, что мы взяли это на себя, и никто не хочет об этом рассуждать. Надо бы, чтоб каждое воскресенье перед проповедью какой-нибудь солдат вставал и говорил людям, кого он убил ради них и за них. Хоть послушали бы по крайней мере! Он пожал плечами. Но этому не бывать. Так вот тебе практический совет. Люди любят притворяться мертвыми. Знаешь, как понять, умер человек по-настоящему или прикидывается? Надави ему пальцем на глаз. Если он живой, он дернется. Если нет, то нет.

Я мог представить себе, как стреляю в Сонни, поскольку множество раз видел подобное в кино. Но я не мог представить, как буду мять пальцем скользкую увертливую клетку его глаза. Почему просто не выстрелить дважды? – спросил я. А потому, умник, что это лишний шум. Лишний грохот. И кто сказал, что надо стрелять даже один раз? Иногда мы кончали вьетконговцев и без пистолета. Вариантов хватает. Если это тебе поможет, имей в виду, что ты не убиваешь, а ликвидируешь. Устраняешь, понял? Спроси своего Клода, если еще не спрашивал.

Он приходил и говорил: вот списочек, дуйте в магазин. И мы с этим списком ехали ночью по деревням. Этот точно вьетконг, этот пособник вьетконга, этот сочувствующий вьетконгу. Этот, возможно, вьетконг, этот наверняка вьетконг, у этой в животе будущий вьетконг. Этот думает, не стать ли вьетконгом. Про этого все думают, что он вьетконг. У этих сын вьетконг, значит, и они без пяти минут вьетконг. Мы никогда не укладывались в срок! Надо было уничтожить их всех, пока у нас был шанс. Не повторяй нашу ошибку. Убери этого вьетконга, пока он не вырос и не превратил во вьетконг других. Вот и все! Не о чем тут жалеть. Не о чем плакать.

Если бы это было так просто! Мы пытались извести весь вьетконг, но все время появлялся новый – он кишел в стенах наших умов, сопел в погребках наших душ, оргиастически размножался за пределами нашей видимости. Вторая неприятность заключалась в том, что Сонни не был вьетконгом, поскольку диверсант по определению не может иметь длинный язык. Впрочем, тут я мог ошибаться. Ведь провокатор – тоже диверсант, чья задача состоит в том, чтобы постоянно молотить языком, запуская все новые циклы радикализации. Однако в этом случае провокатор не был бы коммунистом, побуждающим антикоммунистов сплотиться против него. Он был бы антикоммунистом, который подзуживает своих единомышленников, разжигает их идеологический пыл, так что в результате они перестают рассуждать здраво и кидаются в драку, ослепленные ненавистью. Под такое определение провокатора лучше всего подходил сам генерал. Или генеральша. А что? Ман уверял меня, что у нас есть свои люди в самых высоких кругах. Ты удивишься, говорил он, когда увидишь, кто получит медали после освобождения. Так что возможно все, подумал я, – но если генерал с генеральшей тоже окажутся сочувствующими, шутка выйдет за мой счет. Шутка, над которой все мы дружно посмеемся, когда нам присвоят звание народных героев.

Намотав на ус советы Бона, я обратился за утешением к единственной из всех остальных, с кем мог вести хоть в какой-то степени откровенные разговоры, – к Лане. На следующей неделе я пришел к ней в гости с бутылкой вина. У себя дома, в свитере с эмблемой Калифорнийского университета, выцветших голубых джинсах и с наилегчайшим макияжем, она выглядела заправской студенткой. И готовила так же, но это неважно. Мы поужинали в гостиной под телевизор с “Джефферсонами” – комедийным сериалом про непризнанных чернокожих потомков Томаса Джефферсона, третьего президента США и автора “Декларации независимости”. Потом выпили еще одну бутылку вина, слегка размягчив этим тяжелые комья крахмала в наших желудках. В окне виднелся холм со сверкающей иллюминацией архитектурными шедеврами – один из них принадлежал Творцу, чей опус должен был вскоре выйти на экраны. Я сказал об этом Лане; она уже знала о моих злоключениях на Филиппинах, и я даже поделился с ней своим параноидальным подозрением, что Творец пытался меня убить. Не буду скрывать, сказал я, что я и сам пару раз убивал его в своих фантазиях. Она пожала плечами и затушила окурок. Все мы иногда фантазируем на эту тему, сказала она. Просто мимолетная мысль: а что если я собью такого-то на своей машине? Или, по крайней мере, пытаемся представить себе, что было бы, если бы этот человек умер. К примеру, моя мать. Не по-настоящему, конечно, а так: что если... разве нет? Не молчи, пожалуйста, а то я решу, что я одна сумасшедшая. Я держал на коленях ее гитару и, взяв эффектный раскатистый аккорд, ответил: коли уж мы взялись исповедоваться, я подумывал, не убить ли мне своего отца. Не по-настоящему, конечно, а так: что если... Я когда-нибудь говорил тебе, что он был священник? Ее глаза широко раскрылись. Да ну! Неужели?

Она была искренне потрясена и из-за этого стала мне еще дороже. Под косметикой любительницы ночных клубов и искусственным глянцем эстрадной дивы пряталось сердце невинной девушки, столь неискушенной, что я жаждал только одного: поскорее увлажнить ее чистую белую кожу косметической пенкой моего физического и духовного экстаза. Я хотел воспроизвести с ней самую древнюю диалектику: слияние тезиса Адама и антитезиса Евы в синтезе “нас”, гнилого яблочка человечества, так далеко откатившегося от божественной яблоньки. Разумеется, мы уже не обладали непорочностью наших предков. Если Адам с

Евой опозорили Божьи седины, то мы, в свою очередь, опозорили Адама и Еву, так что на самом деле я хотел жаркой, страстной диалектики джунглей в духе “я Тарзан, ты Джейн”. Но чем любой из этих союзов лучше союза молодой вьетнамки и французского священника? Моя мать, сказал я Лане, говорила, что я дитя любви, а это важнее всего. Мало ли кто мои родители? В конце концов, говорила мама, весь наш народ произошел от совокупления феи с драконом. Можно ли вообразить себе что-нибудь более странное? Но люди все равно смотрели на меня сверху вниз, и я винил в этом отца. В детстве я мечтал, что он когда-нибудь встанет перед своей паствой и скажет: познакомьтесь, это мой сын. Пусть он выйдет сюда, чтобы вы признали его и полюбили так, как люблю его я. Или что-нибудь вроде того. Я был бы счастлив, даже если бы он просто приходил и ел с нами и называл меня сыном втайне. Но он никогда этого не делал, и я стал мечтать о молнии, о бешеном слоне, о смертельной болезни, об ангеле, который спустится с небес у него за спиной и гаркнет из трубы ему в ухо, призывая его к Создателю.

Ну, это не значит думать о том, чтобы его убить.

Я и об этом думал. Представлял, как стреляю в него.

Но ты его прости?

Иногда мне кажется, что да. А иногда – что нет, особенно когда я вспоминаю о матери. Видимо, это означает, что по-настоящему я его не прости. Тут Лана наклонилась и положила руку мне на колено. Возможно, прощение переоценивают, сказала она. Ее лицо было совсем близко, и все, что мне оставалось сделать, – это наклониться к ней. И тогда я совершил самый извращенный поступок в своей жизни. Я отклонил то, что мне предлагали, а точнее, отклонился сам, увеличив дистанцию между собой и этим прекрасным лицом, этой манящей щелочкой чуть приоткрытых губ. Я должен идти, сказал я.

Что? По выражению на ее лице было ясно, что прежде она еще никогда не слышала таких слов от мужчины. Я не шокировал бы ее сильнее, даже если бы предложил ей совершить наигнуснейший из содомских грехов. Чтобы не дать себе времени передумать, я встал и протянул ей гитару. Мне нужно кое-что сделать. Прежде чем я сделаю то, что нужно сделать здесь. Это ее позабавило; теперь настал ее черед откинуться на спину и извлечь из струн певучий аккорд. Звучит серьезно, сказала она. Но знаешь что? Я люблю серьезных мужчин.

Если бы она только знала, на какие серьезные вещи я способен! От нее к Сонни я ехал около часа, не выпуская руля из рук и дыша глубоко и ритмично, чтобы унять расстройство от разлуки с Ланой и волнение перед встречей с ним. Дышать правильно меня научил Клод, перенявший это искусство у наших буддийских монахов. Надо было полностью сосредоточиться на дыхании – таким образом ты отключал белый шум жизни, освобождая и умиротворяя сознание, чтобы позволить ему слиться в одно целое с объектом своего созерцания. Когда субъект и объект едины, говорил Клод, ты не будешь дрожать, нажимая на спуск. К тому моменту, когда я припарковал машину за углом от дома Сонни, мое сознание превратилось в чайку, парящую над берегом без всяких усилий, отдавшись на волю ветра. Я снял голубую тенниску и надел белую футболку. Сменил коричневые мокасины и штаны цвета хаки на синие джинсы и бежевые парусиновые туфли. Довершением маскарада стали двусторонняя ветровка матерчатой стороной наружу и мягкая фетровая шляпа. Выходя из машины, я захватил с собой большую сумку, подарок за подписку на журнал “Тайм”, – в ней лежали маленький рюкзачок, только что снятая мной одежда, шапка-бейсболка, светлый парик, темные очки и черный “вальтер” с глушителем. Генерал выдал Бону конверт с наличными, и на эти деньги Бон купил пистолет с глушителем у той же китайской банды, которая снабдила его раньше револьвером тридцать восьмого калибра. Потом мы вместе повторяли план действий, пока я не затвердил его наизусть.

На тротуаре от машины до подъезда я никого не встретил. Американцы не имеют привычки гулять по улицам – я убедился в этом, несколько раз побывав здесь на разведке. Над входом в здание, серый двухэтажный заводик по производству сотен

усталых репродукций американской мечты, висели часы, и я проверил по ним свои: и те и другие показывали четверть десятого. Все обитатели дома считали свои мечты уникальными, но это были всего лишь грошовые копии с утерянного оригинала. Я позвонил в домофон. Алло, ответил он. Когда я назвал себя, последовала небольшая пауза, а потом он сказал: заходи. Я поднялся по лестнице, а не на лифте, чтобы ни на кого не наткнуться. На втором этаже выглянул в коридор – никого. Он открыл дверь через секунду после того, как я постучал.

В квартире пахло по-домашнему: жареной рыбой, вареным рисом и сигаретным дымом. Я знаю, зачем ты пришел, сказал он, когда я сел на диван. Я крепче сжал сумку. Ну и зачем? Из-за Софии, сказал он, не менее серьезный, чем я, хотя на ногах у него были пушистые розовые шлепанцы. Выше – тренировочные брюки и серая вязаная кофта. На обеденном столе позади него, в хаосе бумажных сугробов, притаилась пишущая машинка с вывешенным из-под каретки языком чистого листа. Между пепельницей и люстрой медленно таяло облачко дыма – выхлоп деятельного мозга Сонни. А на стене за этой пеленой я увидел часы, такие же, как в генеральском ресторане, и тоже выставленные на сайгонское время.

Нам давно надо было поговорить о ней, сказал он. Наша последняя встреча вышла неловкой. Я прошу за это прощения. По-хорошему мы должны были бы написать тебе на Филиппины. Его неожиданное и, похоже, искреннее сочувствие застало меня врасплох, и я ответил: брось, это моя вина. Начнем с того, что я сам ей ни разу не написал. Некоторое время мы оба смотрели друг на друга, а потом он улыбнулся и сказал: паршивый из меня хозяин. Даже выпить тебе не предложил. Будешь? Несмотря на мои возражения, он вскочил и пошел на кухню, в точности так, как предсказывал Бон. Я опустил руку в сумку и взялся за “вальтер”, но я не мог заставить себя встать, пойти за ним следом и быстро всадить пулю ему в затылок, как советовал мой друг. Это самое гуманное, сказал он. Без сомнения, он был прав, но комок крахмала в моем животе приклеил меня к дивану, обитому шершавой немаркой тканью, созданной для амурных утех в номерах дешевых гостиниц. Стопки книг на ковре фабричной выделки подпирали стены, на антикварном телевизоре бормотал серебристый приемник. Аляповатая любительская картина в стиле рехнувшегося Моне над креслом иллюстрировала любопытный принцип: чтобы сделать окружение привлекательнее, красота не нужна. Очень безобразная вещь помогает не хуже, так как по сравнению с ней безобразная комната выглядит менее безобразной. Еще один доступный способ добавить миру капельку прелести состоит в том, чтобы изменить ваш собственный взгляд на него. Тут могла пригодиться бутылка, принесенная Сонни, хотя бурбона в ней осталось лишь на треть.

Слышал? – спросил он, кивая на радио. Каждый из нас уже тетешкал на коленях стаканчик с виски. Мы только что напали на Камбоджу. Вот неймется – не навоевались, что ли? Я подумал, как повезло с этим вторжением генералу: теперь никто не станет особенно следить за лаосской границей. С победителями всегда эта проблема, сказал я: они так взвинчены, что сразу опять лезут в драку. Он кивнул и отхлебнул бурбона. А проиграть войну в этом смысле полезно: тогда ты хотя бы не будешь торопиться затевать новую. Впрочем, для твоего генерала это не так. Я хотел было возразить, но он поднял руку и сказал: извини, брат. Опять я о политике. Обещаю, что сегодня больше не буду о ней говорить. Ты знаешь, как это трудно для того, кто считает, что все вокруг связано с политикой.

Даже бурбон? – спросил я. Он ухмыльнулся. Ладно, может, в бурбоне и нет политики. А кроме нее, я и не знаю, о чем говорить. Это мой недостаток. Большинство людей этого не выносит. Но не София. С ней я говорю так, как ни с кем другим. Это любовь.

Значит, ты ее любишь?

А ты ведь не был в нее влюблен, правда? Она так говорит.

Раз она говорит, наверное, не был.



Я понимаю. Потерять ее больно, даже если не любил. Такова человеческая природа. Ты хочешь ее вернуть. Не хочешь отдавать кому-то вроде меня. Но, пожалуйста, посмотри на это с моей точки зрения. Мы ничего не загадывали. Просто разговорились тогда, на свадьбе, и уже не могли остановиться. Любовь – это когда ты можешь говорить с кем-то без напряжения, без уверток, и при этом чувствовать себя абсолютно комфортно, не говоря ни слова. По крайней мере, это одно из определений любви, которые я придумал. Раньше я никогда не влюблялся. Потому у меня и возникла эта странная потребность – найти правильную метафору, чтобы понять, в чем тут секрет. Как будто я мельница, а она ветер. Глупо, да?

Вовсе нет, промямлил я, понимая, что мы обратились к теме, еще более запутанной, нежели политика. Я заглянул в почти опустевший стакан у себя на ладони и сквозь тонкую пленку виски на дне увидел красный шрам. Она не виновата, сказал он. Это я дал ей на свадьбе свой телефон и попросил у нее ее, потому что, сказал я, разве не здорово будет написать статью про то, какими японка видит нас, вьетнамцев? Не японка, поправила она меня. Американка японского происхождения. И не вьетнамцев, а американцев вьетнамского происхождения. Вы должны сродниться с Америкой, сказала она. Просто так Америка вам себя не отдаст. Если вы не сроднитесь с ней, если не пустите ее к себе в душу, она вышвырнет вас в концентрационный лагерь, или в резервацию, или на плантацию. И тогда, оставшись без Америки, куда вы денетесь? Мы можем уехать куда угодно, сказал я. Вы так думаете, потому что родились не здесь, сказала она. А я здесь, и мне больше податься некуда. И моим детям тоже будет некуда, если они у меня появятся. Они будут гражданами этой страны. И тут, после этих ее слов, меня охватило желание, какого я никогда раньше не испытывал. Я захотел иметь с ней ребенка. Это я-то, который никогда и не думал жениться! Никогда не воображал себя отцом!

Можно еще выпить?

Конечно! Он подлил мне из бутылки. Ты кретин, произнес у меня в голове голос Бона. Ты все усложняешь. Не тяни! Теперь, продолжал Сонни, я понимаю, что насчет детей и отцовства – это скорее мечта, чем возможность. Софии уже поздновато рожать. Но можно взять чужого ребенка, усыновить его! Пора мне подумать еще о ком-нибудь, кроме себя. Раньше я хотел только изменить мир. Я и теперь хочу, но странно, что я никогда не хотел изменить себя самого. А ведь с этого и начинаются революции! И это единственное, чем их можно продолжить: надо все время смотреть внутрь себя, думать о том, какими нас видят другие. Вот что случилось, когда я встретил Софию. Я увидел себя ее глазами.

На этом он погрузился в молчание. Моя решимость так ослабла, что я не мог поднять правую руку и достать из сумки пистолет. Послушай, сказал я. Мне надо кое в чем тебе признаться.

Значит, ты все-таки любишь Софию! Он был искренне опечален. Мне жаль.

Я пришел не из-за миз Мори. Давай лучше поговорим о политике, ты не против? Как хочешь. Я уже спрашивал тебя, не коммунист ли ты. И ты ответил, что не сказал бы мне, даже если бы так оно и было. Но что если бы я сказал тебе, что я сам коммунист? Он улыбнулся и покачал головой. Я не верю в сослагательное наклонение. Какой смысл играть в эту игру: если бы да кабы? Это не игра, сказал я. Я и правда коммунист. Твой союзник. Я уже много лет работаю тайным агентом на благо оппозиции и революции. Что ты на это скажешь?

Что я скажу? Он помедлил, слегка растерявшись. Потом его лицо побагровело от ярости. Я не верю тебе ни на грош, вот что я скажу. Я думаю, ты пришел, чтобы меня одурачить. Хочешь услышать, что я тоже коммунист, – тогда можно будет убить меня или выставить на позор. Разве не так?

Я стараюсь тебе помочь, сказал я.

И в чем же именно заключается твоя помощь?

На этот вопрос у меня не было ответа. Я сам не знал, что заставило меня открыться ему. Тогда не знал, но теперь, пожалуй, догадываюсь. Я носил маску слишком долго, а тут появился шанс сбросить ее без всякого риска. Этим шансом я воспользовался инстинктивно, поддавшись чувству, знакомому не только мне. Я наверняка не единственный, кто считает, что если остальные увидят, каков я в действительности, то меня поймут и, возможно, полюбят. Но что произойдет, если ты снимешь маску и остальные посмотрят на тебя не с любовью, а с ужасом, гневом и отвращением? Что если твое истинное лицо окажется таким же отталкивающим, как и маска, а то и хуже?

Это генерал тебя подослал? – спросил он. Так и вижу, как вы с ним плетете свои интриги. Если бы я исчез, он бы обрадовался. Да и ты тоже, конечно.

Послушай...

Ты ревнуешь меня к Софии, хотя сам даже не любишь ее. Я знал, что ты взбесишься, но прийти меня провоцировать? Такой низости я не ожидал. Ты думаешь, я совсем ничего не соображаю? Думаешь, Софию вдруг снова потянет к тебе, если ты объявишь себя коммунистом? А ты не думаешь, что она поймет, до чего ты докатился, и рассмеется тебе в лицо? Господи, я представить себе не могу, что она скажет, когда я ей...

Кажется, что промахнуться с пяти футов невозможно, но это очень даже возможно, особенно после большого количества вина и пары стопок виски, сдобренного горьким торфом прошлого. Пуля угодила в приемник, отчего он забубнил тише, но не умолк. Сонни посмотрел на меня в полном изумлении, и его взгляд зафиксировался на пистолете в моей руке – благодаря глушителю его дуло удлинилось на несколько дюймов. Я перестал дышать, а мое сердце – биться. Пистолет дернулся, и Сонни закричал: я прострелил ему руку, которую он вскинул перед собой. Вдруг очнувшись перед лицом грозящей ему смерти, он вскочил на ноги и бросился бежать. Третья пуля попала между лопаткой и позвоночником и заставила его споткнуться, но не остановила. Я перепрыгнул через журнальный столик и нагнал его перед самой дверью. Теперь я был в идеальной позиции – по крайней мере, так говорил мне Бон: на фут позади объекта, в невидимой для него зоне, откуда и впрямь нельзя промахнуться. *Клик, клак* – одна пуля за ухо, другая в затылок, и Сонни рухнул ничком так грузно и неуклюже, что наверняка сломал себе нос.

Я замер над его распростертым телом. Он лежал щекой на ковре, и из его продырявленной головы обильно текла кровь. Оттуда, где я стоял, мне не видно было его глаз, но я видел неловко вывернутую назад руку с алой дырой в ладони. Крахмальный сгусток у меня в кишках растаял, но жижа, в которую он превратился, плескалась там, угрожая вот-вот пролиться. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Затем подумал о миз Мори: скорее всего, она сейчас была дома, сидела с кошкой на коленях и читала какой-нибудь радикальный феминистский трактат в ожидании звонка Сонни – в напрасном ожидании этого зова, определяющего нашу связь с Богом, к которому мы, покинутые влюбленные, так неустанно взываем. Теперь Сонни пересек величайший рубеж, бросив за собой свою холодную потемневшую тень; его светильник погас навеки. По его серой кофте расплзлось багровое пятно, а вокруг головы вздувался кровавый нимб. На меня накатила волна тошноты и озноба, и моя мать сказала: ты будешь лучше их всех, правда, сынок?

Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул – раз, другой, и еще раз. Теперь я уже не трясся, а только дрожал. Помни, сказал у меня в голове Бон, ты делаешь то, что необходимо. Ко мне вернулся перечень других необходимых действий. Я снял ветровку с футболкой и снова надел голубую тенниску. Сменил синие джинсы и парусиновые туфли на штаны цвета хаки и мокасины. Вывернул ветровку чистой белой стороной наружу, скинул фетровую шляпу, натянул парик – его светлые волосы защекотали мне шею, – а сверху нахлобучил бейсболку. Последними заняли свое место черные очки, и когда сумка с пистолетом отправилась в рюкзак, мое преобразование завершилось полностью. Идея с париком, очками и бейсболкой

принадлежала Бону. Он заставил меня примерить их перед зеркалом в ванной, хронически забрызганным пеной от зубной пасты. Видишь? – сказал он. Теперь ты белый. Я все равно видел себя, только загримированного слишком уж просто для бала-маскарада или вечеринки на Хэллоуин. Но в этом и была вся соль. Тот, кто не знал, как я выгляжу, не заметил бы грима.

Я стер платком отпечатки пальцев со своего стакана, взялся через тот же платок за ручку входной двери, и тут мне почудилось, что Сонни застонал. Я посмотрел вниз, на его раскuroченный затылок, но больше не слышал ничего, кроме стука крови в ушах. Ты знаешь, что надо сделать, сказал Бон. Я стал на колени и пригнулся, чтобы заглянуть Сонни в глаз – другого я видеть не мог. Жидкие остатки моего ужина подкатили к горлу, и я зажал рот ладонью. С трудом сглотнул и почувствовал горечь. Обращенный ко мне глаз был темен и пуст. Трудно было представить, что в Сонни до сих пор теплится жизнь, но Бон говорил мне, что иногда мертвые еще не знают, что они мертвы. И тогда я вытянул указательный палец и стал медленно приближать его к глазу, который не двигался вовсе. Палец застыл в дюйме от глаза, потом в нескольких миллиметрах. Никакого движения. Потом мой палец коснулся этого мягкого резинового глаза консистенции очищенного перепелиного яйца, и он моргнул. Я отскочил, тело Сонни едва заметно дрогнуло, и тогда я всадил еще одну пулю ему в висок с расстояния не больше фута. Вот теперь он мертв, сказал Бон.

Я глубоко вдохнул, медленно выдохнул, и меня чуть не стошнило. С момента первого выстрела прошло немногим больше трех минут. Я глубоко вдохнул, медленно выдохнул, и мое жидкое содержимое достигло зыбкого равновесия. Когда все успокоилось, я открыл дверь Сонни и вышел с президентской уверенностью, как и рекомендовал Бон. Дыши, сказал Клод. И я дышал, спускаясь по гулкой лестнице, и продолжал дышать в вестибюле, когда парадная дверь распахнулась мне навстречу.

Это был белый человек средних лет; газонокосилка возраста уже выстригла на его голове широкую проплешину. Стандартный, но хорошо скроенный костюм, плотно облегающий его увесистое тело, говорил о том, что он работает на одной из тех низкооплачиваемых должностей, где важен внешний вид, – скорее всего, за коммиссионные. Его туфли с дырочками лоснились, как мороженная рыба. Я увидел все это, поскольку посмотрел на него, хотя Бон велел этого не делать. Избегай зрительного контакта! Не давай людям повода взглянуть на тебя второй раз. Но он даже не посмотрел на меня. Глядя прямо перед собой, он прошагал мимо, словно я был невидимкой или, еще вероятнее, просто одним из множества ничем не примечательных белых. Я прошел сквозь оставленный им след искусственных феромонов, аромат дешевого одеколона для настоящих мачо, и поймал дверь прежде, чем она захлопнулась. Потом я оказался на улице, на южнокалифорнийском воздухе, насыщенном гранулами смога, хмельной от сознания, что могу идти куда захочу. Я добрался только до своей машины. Там я упал на колени у переднего колеса и, мучительно содрогаясь, изверг в водосточный желоб все, что во мне было, до последней чаинки.

## Глава 17

Это нормально, сказал Бон на следующее утро. Он предпринял попытку исцелить гематому на моей душе бутылкой хорошего скотча, пожалованной генералом. Это надо было сделать, сказал он, и мы те, кто должен с этим жить. Теперь ты понимаешь. Пей. Мы выпили. Знаешь, какое лучшее средство? Я думал, что лучшее средство – вернуться к Лане, и накануне сразу же вернулся туда, но даже незабываемый вечер с ней не помог мне забыть, что я сделал с Сонни. Я медленно покачал головой, стараясь не тревожить свой ушибленный мозг. Война, сказал Бон. В Таиланде тебе полегчает. Что ж, тогда ждать мне, к счастью, оставалось недолго: мы улетаем завтра. Такая поспешность объяснялась стремлением генерала избавить меня от потенциальных проблем с законом, тем более что у моего плана имелась очевидная слабость – миз Мори. Услышав о гибели Сонни, она могла сначала растеряться, но потом ее мысли наверняка обратились бы ко мне, отвергнутому любовнику. Генерал верил, что я выполню задание в намеченный день, и выдал мне билет еще на прошлой неделе. Мы сидели в его штаб-квартире, у стола, на котором лежала газета, и когда я открыл рот, генерал поднял руку и сказал: это ясно без слов, капитан. Я закрыл рот. Потом изучил билет и в тот же вечер написал парижской тетушке. Между строк я сообщал Ману, что принимаю на себя ответственность за нарушение его приказа, но возвращаюсь вместе с Боном, чтобы спасти ему жизнь. Я не сказал Ману, как именно собираюсь защитить нашего общего друга, потому что и сам этого не знал. Но я втянул Бона в эту историю и считал своим долгом выручить его, если смогу.

Итак, через два дня после того, как дело было сделано – отсутствия Сонни пока еще не заметил никто, кроме, возможно, миз Мори, – мы стартовали без лишней помпы, распрощавшись у выхода на взлетное поле с генералом и генеральшей, нашими единственными провожатыми. На борт “боинга”, готового перебросить нас через Тихий океан, мы поднялись вчетвером: Бон, я, седой капитан и бесстрашный лейтенант. Прощай, Америка, сказал седой капитан, глядя в иллюминатор на панораму, которой я не мог видеть со своего места у прохода. Я по тебе скучать не буду, добавил он. Бесстрашный лейтенант, сидевший между нами, согласно кивнул. И почему мы когда-то называли ее прекрасной страной? – спросил он. У меня не было на это ответа. Я плохо соображал и испытывал огромные неудобства, стиснутый упитанным майором с одной стороны и Сонни – с другой. Мне предстояло лететь на реактивном лайнере четвертый раз в жизни, а Бону и остальным моим спутникам – всего лишь второй. Я летал в университет и обратно, потом с Гуама в Калифорнию вместе с Боном, и вот теперь снова отправлялся в Азию. Мои шансы вернуться в Америку стремились к нулю, и я с сожалением перебирал в памяти все, по чему буду скучать: ужины перед телевизором, кондиционеры, дорожное движение по правилам, которые и впрямь соблюдаются, относительно низкая смертность от огнестрельного оружия (во всяком случае, по сравнению с нашей страной), модернистский роман, свобода слова (пусть и не столь абсолютная, как считают американцы, но все же большая, чем у нас), сексуальная раскрепощенность и, пожалуй, самое главное, – оптимизм, этот вездесущий американский наркотик, постоянно влияемый в американские мозги и смыслющий граффити злобы, ненависти, отчаяния и нигилизма, которыми размалевывают их каждую ночь неисправимые хулиганы подсознания. Конечно, в Америке хватало и того, что привлекало меня куда меньше, но зачем настраиваться на негатив? Весь антиамериканский пессимизм я решил оставить Бону, так и не сумевшему ассимилироваться и очень довольному тем, что мы уезжаем. Я как будто долго прятался в чужом доме, сказал он где-то над океаном. Он сидел через проход от меня. Стюардессы-японки разносили темпуру и тонкацу, и я взял себе того и другого в надежде отбить вкус последнего слова, которое генерал скормил мне перед посадкой. Сидишь взаперти, продолжал Бон, и слушаешь, как живут другие, а сам вылезает только по ночам. А теперь я могу вздохнуть свободно. Мы снова возвращаемся туда, где все выглядят как мы. Как ты, поправил я. Там, куда мы летим, я не буду выглядеть как все. Бон вздохнул. Хватит скучать, сказал он, наливая мне в чашку виски, прощальный подарок генерала. Ты слишком много думаешь, но это бы еще полбеды. Главная твоя беда в том, что ты

не умеешь держать свои мысли при себе. Ну, тогда я заткнусь, сказал я. Вот и заткнись. Ладно, хорошо, я заткнусь, сказал я. Боже, сказал он.

После бессонного двадцатичасового путешествия, включающего в себя пересадку в Токио, мы прибыли в Бангкок. Я очень устал, потому что мне не удалось даже чуточку вздремнуть. Стоило закрыть глаза, как передо мной возникало лицо или упитанного майора, или Сонни, на которое я не мог смотреть долго. Взяв с транспортера свой рюкзак, я обнаружил, что он заметно потяжелел; этому едва ли стоило удивляться, если учесть накопленный за время полета довесок из вины, паники и тревоги. Другого багажа, кроме этого набитого под завязку рюкзака, у меня не было, поскольку перед отъездом мы отдали ключ от квартиры преподобному Р-р-р-рамону, разрешив ему продать все наши вещи в пользу Вековечной Церкви Пророков. Теперь в рюкзаке умещались все мои пожитки, а в его двойном дне лежала книга Ричарда Хедда, зачитанная до предела и с треснутым корешком, из-за чего она грозила вот-вот развалиться надвое. Генерал пообещал, что в Таиланде нас обеспечат всем необходимым: об этом позаботятся адмирал, командующий базовым лагерем, и Клод, действующий под привычной для него личиной члена неправительственной организации по оказанию помощи беженцам. Он встретил нас в аэропорту в гавайке и полотняных брюках, точно такой же, каким я в последний раз видел его у профессора Хаммера, разве что дочерна загорелый. Добро пожаловать в Бангкок, ребята, сказал он, пожимая руку мне и всем остальным. Вот мы и опять вместе. Как я рад! Бывали тут когда-нибудь? Нет, наверно? У нас один вечер, и боевая задача – оторваться на всю катушку. Я угощаю. Он обнял меня за плечи с искренней теплотой и повлек сквозь толпу к выходу. Возможно, из-за того, что по консистенции мои мозги были близки к каше, мне чудилось, что на нас смотрят все местные, попадающиеся на пути. Интересно, подумал я, нет ли среди них агентов Мана? Отлично выглядишь, сказал Клод. Так ты готов через это пройти?

Конечно, ответил я, чувствуя, как моя тревога и паника булькают в каком-то отсеке позади кишок. У меня кружилась голова, как бывает, когда стоишь над обрывом непроясненного плана, поскольку я поставил себя и Бона на грань катастрофы, не имея варианта спасения. Но разве не так развиваются все планы, неведомые их творцу, пока он не сплетет себе парашют или не растает в воздухе? Вряд ли стоило задавать этот вопрос Клоду, который всегда выглядел хозяином собственной судьбы – по крайней мере до падения Сайгона. Он снова ласково сжал мне плечо. Я горжусь тобой, дружище. Просто хотел, чтоб ты знал. Некоторое время мы шли молча, проникаясь духом этих слов, затем он хлопнул меня по плечу и сказал: я собираюсь устроить тебе такой праздник, какого у тебя в жизни не было. Я ухмыльнулся, и он; то, что этот праздник может стать в моей жизни не только лучшим, но и последним, висело в воздухе. Меня тронули энтузиазм Клода и его желание мне угодить; возможно, таким способом он говорил, что любит меня, а может, это было своего рода эквивалентом последней трапезы для обреченного. За порогом аэропорта нас ждала вполне приемлемая погода: стоял конец декабря, самая удобная пора для туристов в этих краях. Мы забрались в фургон, и Клод сказал: если хотите быстрее акклиматизироваться, ехать в гостиницу и ложиться спать нельзя. Погуляем до ночи, а завтра двинем в лагерь.

Водитель вырулил на дорогу, забитую легковушками, мотоциклами и грузовиками. Нас окружали гудки, вой и рычание; мы очутились в чреве большого мегаполиса, разбухшем от автомобильного железа, человеческой плоти и невысказанных эмоций. Как дома, правда, ребята? – спросил Клод. Уж сколько лет вы не были так близко! Да, прямо Сайгон, согласился седой капитан. Сайгон, да не он, сказал Клод. Ни тебе войны, ни беженцев. Все это на границе, куда вы скоро попадете. Он раздал сигареты, и мы закурили. Сначала через границу перли лаосцы. Теперь у нас полно камбоджийцев. Все это очень грустно, но как помогающие беженцам мы получаем доступ во все уголки страны. Бесстрастный лейтенант покачал головой и сказал: Камбоджа. Ух, и злые там коммунисты! А что, бывают другие? – спросил Клод. В любом случае, вы пойдете через Лаос. Если в Индокитае и есть что-нибудь похожее на рай, то это он. Во время войны я провел там несколько месяцев, и это была сказка. Обожаю тамошних жителей. Самые кроткие и гостеприимные люди

на свете, если только они не хотят вас убить. Он выпустил дым, и крошечный вентилятор на приборной доске погнал его обратно к нам. Любопытно, было ли время, когда Клод и прочие иностранцы считали самыми кроткими и гостеприимными людьми на свете нас, вьетнамцев? Или мы всегда казались им воинственным, агрессивным народом? Я подозревал второе, однако зверства и ужасы в Камбодже затмили все, чего когда-либо удавалось достичь нам. Бедные камбоджийцы! Бедная Камбоджа! Минуту-другую разговор крутился вокруг этой темы, но что толкового тут можно было сказать? Геноцид не только ужасен, но и невыразим.

Когда водитель свернул с магистрали, Клод тихонько подтолкнул меня локтем и сказал: я слышал, что ты сделал. Что я сделал? А что я сделал? Клод молчал, не сводя с меня упорного взгляда, и я вспомнил тот свой поступок, о котором не следовало говорить вслух. Ах да, пробормотал я. Не переживай, сказал Клод. Судя по тому, что я слышал от генерала, парень сам напросился. Меня он точно не просил, сказал я. Да я не о том, сказал Клод. Знаешь, сколько я таких перевидал? Вечные нытики. Праведники-мазохисты. Им все вокруг так не нравится, что их можно осчастливить только одним способом – скрутить и повести на казнь. И знаешь, что они заявляют, когда их поставят к стенке? Ага, я вам говорил! Твой просто не успел об этом подумать, вот и вся разница. Как скажешь, Клод, промямлил я. При чем тут я, ответил он. Так написано в книге. У этих ребят комплекс вины.

Передо мной возникли страницы книги, на которую ссылался Клод. Это было пособие по ведению допросов, руководство под кодовым названием “КУБАРК” – мы корпели над ним, когда проходили его курс. Там описывались несколько типов характера в помощь следователю, и перед моим мысленным взором невольно замаячил абзац об арестантах с комплексом вины. *Это люди, чья совесть ставит перед ними суровые и нереалистичные требования. Вся их жизнь словно подчинена стремлению облегчить гложущее их чувство вины. Иногда они жаждут искупить ее сами, а иногда возлагают ответственность за неправильный ход вещей на кого-то другого. В обоих случаях они без устали ищут доказательства или внешние подтверждения того, что вина других больше, чем их собственная. Иногда они с головой уходят в попытки доказать, что с ними обошлись несправедливо. Порой они даже стараются навлечь на себя незаслуженную кару, чтобы таким образом облегчить муки совести. У некоторых индивидуумов с ярко выраженным комплексом вины наказание вызывает чувство благодарности, способное побудить их отказаться от сопротивления и пойти на сотрудничество.* Возможно, Сонни и впрямь принадлежал к этому типу, но мне не суждено было узнать это наверняка, поскольку я уже никогда не смог бы его допросить.

Мы на месте, объявил Клод. Целью нашей поездки оказалась улочка в радуге искусственных неоновых огней. Ее тротуары кишели бледнолицыми приматами всех возрастов и размеров; у одних была короткая стрижка военного образца, другие щеголяли длинными волосами, как принято у дикарей из племени хиппи, но все находились в состоянии опьянения или прямо ему предшествующем и многие демонстрировали свое возбуждение неразборчивыми возгласами и криками. Всю улицу окаймляли бары и клубы, в дверях по обе ее стороны торчали девицы с голыми конечностями и тщательно раскрашенными лицами. Мы остановились у заведения с гигантской ярко-желтой вывеской “ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ”, расположенной над входом по вертикали. Двери держали распахнутыми две красотки лет двадцати на вид – это означало, что на самом деле им, скорее всего, где-нибудь от пятнадцати до восемнадцати. Их одежда, заслуживающая этого названия лишь условно, включала в себя лифчики, трусики бикини и туфли на высоком каблучке, но все это уступало по основательности их радушным улыбкам, в которых было столько же любви и нежности, сколько у воспитательниц в детском саду. Ого, сказал седой капитан, ухмыльнувшись так широко, что я увидел его полуразрушенные моляры. Даже бесстрастный лейтенант обронил что-то односложно-одобрительное, хотя и не улыбнулся. Рад, что вам нравится, сказал Клод. Все это для вас! Бесстрашный лейтенант с седым капитаном уже вошли

внутри, когда Бон сказал: нет. Я погуляю. Что? Погуляешь? – удивился Клод. Хочешь свидания наедине? Ты его получишь, не сомневайся. Эти девушки знают свое дело. Они умеют обращаться с застенчивыми парнями. Бон покачал головой, и в глазах у него мелькнул чуть ли не страх. Тогда я сказал: все нормально. Я тоже прогуляюсь с тобой. Нет, черт возьми! – воскликнул Клод, хватая Бона за локоть. Я понимаю. Не каждый готов к таким штукам. Но если ты уйдешь, твой добрый друг лишится лучшего вечера в своей жизни. Так что давай-ка, просто посиди там и выпей. Можешь никого не трогать. Можешь даже не смотреть, если не хочешь. Просто посиди с закрытыми глазами. Но ты делаешь это не для себя, а для своего друга. Ну как? Я положил свою руку на руку Клода и сказал: да все нормально. Отпустите его. И ты туда же, сказал Клод.

Благонравие заразно и чревато летальным исходом, но до сих пор мне удавалось от него уберечься. Наверное, теперь я подцепил его от Бона, страдающего им в тяжелой форме. Когда Клод отказался от попыток нас уломать и тоже вошел в клуб, я предложил Бону сигарету, и мы закурили, стоя у дверей. Мы не обращали внимания на красоток, которые дергали нас за рубашки, но не могли не обращать внимания на обезьяноподобных туристов, которые сновали мимо, толкая и пихая нас. Ё-моё, сказал кто-то за моей спиной, ты видел, что она сделала с мячиком для пинг-понга, братан? Моя-твоя любить пинга-понга, сказал кто-то другой. Моя-твоя любить суй-фуй. Ах ты ж мать твою, похоже, эта сука стырила у меня кошелек! Бон выбросил сигарету и сказал: пошли отсюда, пока я кого-нибудь не убил. Я пожал плечами. Куда? Он показал через мое плечо, и, обернувшись, я увидел киноафишу, привлекающую его взгляд.

Мы посмотрели “Деревушку” в зале, полном местных жителей, которым еще никто не объяснил, что кино – это священное искусство и в его храме не полагается сморкаться без носового платка, жевать и хлебать принесенные с собой закуски и напитки, бить своего ребенка или, наоборот, петь плачущему ребенку колыбельную, добродушно окликать своих знакомых через несколько рядов, обсуждать со своим спутником прошлые, настоящие и будущие повороты сюжета или так разваливаться на сиденье, чтобы твоя ляжка плотно прижималась к ляжке соседа на протяжении всего сеанса. Но кто бы решился их укорять? Как еще понять, хорош фильм или плох, если публика на него не реагирует? А эта публика явно получала большое удовольствие, о чем свидетельствовали щедрые аплодисменты и поощрительные выкрики. Стыдно признаться, но даже меня невольно захватило зрелище, разворачивающееся на экране. Самую бурную реакцию вызвала эпическая финальная схватка, которая заставила биться сильнее и мое утомленное перелетом сердце. Возможно, все дело было в музыкальном сопровождении, по-бетховенски infernalном рефрене на густых, чрезвычайно низких тонах: *та-та-ТУМ-та-ТУМ-та-ТУМ-ТУМ-ТУУУМ*; возможно, в свисте вертолетных лопастей, рассекающих воздух в замедленном темпе; возможно, в параллельном монтаже кадров с Беллами и Шеймасом, мчащимися по небу на своих стальных конях, и вьетконговскими снайпершами, берущими их на прицел зенитных орудий; возможно, в эффектных взрывах авиабомб; возможно, в том, как вьетконговским дикарям устраивали кровавую баню взамен недоступной и непонятной им обычной, – а может быть, из-за всего этого вместе мне тоже захотелось взять в руки винтовку и принять участие в ветхозаветном истреблении вьетконговцев, с виду если и не в точности таких же, как я, то уж во всяком случае очень на меня похожих. По крайней мере на вид они были неотличимы от сидящих со мной рядом зрителей, которые радостно вопили и ржали, глядя, как их не столь уж дальних соседей крошат на мелкие кусочки, стирают в порошок и размазывают по окружающему ландшафту с помощью самого разнообразного оружия американского производства. Я заерзал в кресле, вдруг очнувшись от оцепенения. Я хотел закрыть глаза, но не мог – мне удалось лишь быстро моргнуть несколько раз после предыдущей сцены, уникальной в том смысле, что ее одну публика встретила мертвым молчанием.

Эта сцена была также единственной, на съемках которой я не присутствовал. Здесь Творец отказался от музыки; трагедия разворачивалась лишь под крики и протесты Ким Май на фоне ругани, гогота и глумлений вьетконгского квартета. Из-за

отсутствия музыки внезапная тишина, воцарившаяся в зале, стала еще заметнее, и матери, которые спокойно позволяли своим чадам смотреть, как людей рубят, расстреливают, потрошат и обезглавливают, теперь закрыли им глаза ладонями. Из затемненного угла пещеры оператор снял человеческого осьминога, извивающегося в ее центре: нагая Ким Май трепыхалась под спинами и конечностями полуодетых насильников. Мы видели ее наготу лишь урывками, так как по большей части ее закрывали стратегически расположенные ноги, руки и задницы партизан, причем телесные тона, алая кровь и фрагменты их рваной черно-коричневой одежды сочетались в выразительном ренессансном стиле, пробудившем во мне смутные воспоминания об уроках по истории живописи. Иногда среди этих кадров возникало снятое очень крупным планом лицо Ким Май – сплошные синяки, разверстый рот, окровавленный нос и только один глаз, так как второй, подбитый, заплыл целиком. В самом продолжительном эпизоде это лицо заняло весь экран – ее раскрытый глаз вращался в своей орбите, а с губ летели брызги крови, потому что она без умолку кричала

Меня мороз продрал по коже, и когда камера наконец переключилась на обратный план и мы увидели этих коммунистических дьяволов с точки зрения Ким Май – хари красные от домашнего рисового вина, на оскаленных зубах пятна лишайника, раскосые глаза зажмурены в экстазе, – всех нас уже жгло изнутри только одно чувство, а именно жажда их немедленного уничтожения, каковое тут же и последовало в жутких заключительных сценах рукопашного боя, могущих также служить учебным пособием по анатомическому препарированию в медицинском колледже.



высококвалифицированным специалистом, как дрессировщик обаятельной дворняжки, исполнившей роль любимца “зеленых беретов” ПСА КАБЫСДОХА, или его экзотический коллега, который доставил нам на транспортнике ДС-3 клетку с мрачным бенгальским тигром (ЛИЛИ) и взял под свой профессиональный контроль двух наших слонов (ЭББОТ и КОСТЕЛЛО). И хотя я не уставал восхищаться оптимизмом и безотказностью наших прачек (ДЕЛИЯ, МАРИБЕЛЬ, КОРАСОН и так далее), неужели они тоже превосходили меня по статусу, отраженному в титрах? Имена прачек продолжали уплывать вверх одно за другим, и только когда они сменились благодарностями в адрес мэра, членов городского совета, заведующего туристическим бюро, филиппинских Вооруженных сил, а также первой леди Имельды Маркос и президента Фердинанда Маркоса, я понял, что мое имя так и не появится на экране.

Когда музыка умолкла и титры кончились, мое неохотное признание мастерства Творца испарилось, уступив место лютой ослепляющей ненависти. Не сумев разделаться со мной в реальной жизни, он убил меня фиктивно, уничтожил без следа тем способом, который становился мне все более и более знакомым. Во мне еще все кипело, когда мы вышли на улицу и ночь дохнула на нас своими жаркими мехами – впрочем, по сравнению с накалом моих эмоций эту жару можно было считать прохладой. Ну что? – спросил я Бона, как всегда молчавшего после кино. Он закурил и поднял руку, подзывая такси. Как тебе? Он наконец посмотрел на меня; в его взгляде сквозили жалость и разочарование. Ты вроде хотел сделать так, чтобы мы выглядели нормально, сказал он. Но мы даже на людей не похожи. К тротуару с дребезгом подкатило такси. Значит, ты у нас теперь кинокритик? – спросил я. Как думаю, так и говорю, ученая голова, сказал он, залезая в машину. Что с меня взять? Если б не я, сказал я, захлопывая дверцу, наши там вообще бы ни одной роли не получили. Были бы просто чучелами для учебной стрельбы. Он вздохнул и опустил стекло. Все, чего ты добился, – это дал им оправдание. Теперь белые люди могут сказать: смотрите, у нас там есть желтые. Мы их не презираем. Мы их любим. Он сплюнул в окно. Ты пытался играть в их игру, так? Но это игра по их правилам. Это значит, что ты ничего изменить не можешь. Во всяком случае изнутри. Когда у тебя ничего нет, ты должен менять снаружи.

Всю остальную дорогу мы ехали молча, а в гостинице он заснул почти сразу. Я лежал в темноте с пепельницей на груди, курил и размышлял, как же мне удалось провалить единственное задание, где сошлись интересы Мана и генерала: не позволить Творцу представить нас в ложном свете. Я пытался заснуть, но мне мешали гудки машин на улице и Сонни с упитанным майором, которые устроились на потолке надо мной и вели себя так, будто всегда коротали время подобным образом. Монотонный скрип пружин за стеной тоже не помогал; он продолжался так абсурдно долго, что мне стало жаль несчастную женщину, вынужденную сносить это терпеливо и беззвучно. Наконец раздался торжествующий клекот самца, и я вздохнул с облегчением, решив, что все кончилось, но ошибся, ибо через несколько секунд его партнер в свою очередь испустил долгий, одобрительный и несомненно мужской брачный клич. Чудеса не переставали случаться с тех пор, как генерал с генеральшей приехали провожать нас в аэропорт – он в деловом костюме, а она в сиреневом аозае. Он выдал нам, героям, по бутылке виски, сфотографировался с нами и пожал каждому руку, после чего мы гуськом потянулись на посадку. Я шел последним, и тут он остановил меня, сказав: на два слова, капитан.

Я отступил в сторону, пропуская других пассажиров. Да, сэр? Вы знаете, что мы с мадам всегда считали вас своим приемным сыном, сказал генерал. Я этого не знал, сэр. Вид у генерала с генеральшей был хмурый, но с таким же видом со мной обычно говорил и отец. Так как же вы могли? – спросила она. Я привычно сострыпал на лице удивление. Как я мог что? Пытаться соблазнить нашу дочь, сказал генерал. Все об этом говорят, сказала генеральша. Все? – спросил я. Слухи, сказал генерал. Мне следовало обратить на это внимание, когда вы подпевали ей на свадьбе, но я этого не сделал. Мне и в голову не приходило, что вы станете поощрять мою дочь в ее ночных эскападах. Мало того! – подхватила генеральша. Вы оба выставили себя на посмешище в ночном клубе. Это все видели. Ее муж

вздыхнул. Никогда не поверил бы, что вы и вправду вознамеритесь ее опорочить, сказал он. Это при том, что вы жили в нашем доме и относились к ней как к сестре и ребенку! Как к сестре, подчеркнула генеральша. Вы меня глубоко разочаровали, сказал генерал. Я хотел оставить вас здесь, при мне. Я ни за что не отпустил бы вас, если бы не это.

Сэр...

Уж вам ли не понимать, капитан? Ведь вы солдат. У всего и у каждого есть свое место. Что побудило вас вообразить, что мы позволим своей дочери связаться с таким, как вы?

С таким, как я? – спросил я. Что вы имеете в виду?

Ах, капитан, сказал генерал. Вы прекрасный молодой человек, и я не хотел этого говорить. Это грубо, но по происхождению вы, сами знаете... ублюдок. Они подождали моего ответа, но генерал заткнул мне рот единственным словом, которое могло меня обеззвучить. Видя, что я онемел, они покачали головами с гневом, печалью и укором и оставили меня у выхода на посадку с бутылкой в руках. Я чуть не откупорил ее прямо там в надежде, что виски поможет мне выплюнуть это слово. Застрявшее у меня в горле, оно имело вкус шерстяного носка, набитого густой грязью нашей родины, – кушанья, которое всегда предназначалось самым убогим и презренным.

Мы поднялись затемно. Завтрак прошел в молчании, если не считать эпизодического ворчания и кряхтения, а потом Клод повез нас в лагерь, на границу с Лаосом. Путешествие заняло целый день, и когда мы наконец свернули на грунтовую дорогу и принялись петлять среди белокорых деревьев, объезжая ямы и колдобины, солнце позади нас уже катилось к горизонту. За километр от поворота, в сумеречном лесу, нам встретился военный пропускной пункт, состоящий из джипа и двух молодых солдат в оливково-зеленой форме – у каждого висел на груди оберег в виде фигурки Будды и лежала на коленях М-16. Я почуял характерный запах марихуаны. Не потрудившись вылезти из машины и даже поднять полуопущенные веки, солдаты махнули нам, веля проехать. Подскакивая на выбоинах, мы углубились еще дальше в лес, под сень высоких скелетоподобных каепутов с тонкими ветвями, и вскоре выбрались на поляну с маленькими квадратными хижинами на сваях, которые выглядели бы совсем по-деревенски, если бы не электрический свет в окнах. К дверям под чубами из пальмовых листьев вели с земли дощатые пандусы. Залаяли собаки, в дверных проемах замаячили тени, и когда мы выкарабкались из машины, к нам уже приближался целый взвод этих теней. Вот и они, сказал Клод. Последние, самые стойкие. Все, что осталось от вооруженных сил Республики Вьетнам.

Возможно, фотографии, которые я видел в генеральском магазине, были сделаны в лучшие времена, но те суровые борцы за свободу сильно отличались от этих изможденных лесных обитателей. На снимках, в кружевной тени листвы, стояли по стойке “смирно” чисто выбритые парни в красных шейных платках, камуфляже, армейских ботинках и беретах, однако на людях, вышедших нам навстречу, были не ботинки и камуфляж, а резиновые сандалии, черные рубашки и штаны. Вместо знаменитых красных платков, какие носят десантники, на них были клетчатые, крестьянские. Вместо беретов – простые широкополые шляпы. Их щеки давно не знали бритвы, а спутанные волосы – ножниц. Глаза, когда-то живые и ясные, теперь стали тусклыми, как уголь. У каждого был “калашников”, который легко узнать по изогнутому магазину, и в сочетании со всем остальным это создавало необычный визуальный эффект.

Почему они выглядят как вьетконг? – спросил седой капитан.

Наши новые знакомые действительно напоминали наших старых врагов-партизан, но когда они отвели нас к своему командиру, мы удивились еще больше. На тонкой губе веранды, освещенный сзади голой электрической лампочкой, стоял стройный невысокий человек. Это не... – начал Бон и осекся, поняв, как нелепо прозвучит

его вопрос. Все так говорят, сказал Клод. Адмирал поднял руку в знак приветствия и улыбнулся теплой отеческой улыбкой. Его лицо было худым, угловатым и почти красивым – классические благородные черты мудреца или важного сановника. Коротко подстриженные волосы, седые, но не белые, чуть поредели на макушке. Подбородок украшала эспаньолка – аккуратная и ухоженная, какую и полагается иметь зрелому мужчине, она не походила ни на скудную поросль юноши, ни на длинную шелковистую бороду старца. Добро пожаловать, друзья, сказал адмирал, и даже в его мягких интонациях я различил эхо спокойного аристократического голоса, до боли знакомого мне по кинохроникам, – голоса Хо Ши Мина. Вы проделали долгий путь и наверняка устали. Пожалуйста, входите и будьте как дома.

Как Хо Ши Мин, адмирал предпочитал, чтобы его называли Дядюшкой. Как Хо Ши Мин, он не гнался за изысками в одежде, довольствуясь черной рубашкой и штанами под стать своим подчиненным. И, опять же как у Хо Ши Мина, обстановка его жилища отличалась скромностью и практичностью. Все вошедшие уселись на тростниковые циновки в единственной комнате; нам, новичкам, было не по себе в компании этого двойника, обладающего таким сверхъестественным сходством с оригиналом. По-видимому, наш хозяин спал прямо на полу, ибо ничего похожего на кровать здесь не наблюдалось. Вдоль одной стены выстроились бамбуковые книжные полки, у другой стояли простой бамбуковый стол и стул. За ужином, под генеральское виски, адмирал расспрашивал нас о нашей жизни в Америке, а мы в свою очередь спросили его, как так вышло, что он потерпел кораблекрушение в лесу. Он улыбнулся и выбил трубку в пепельницу из половинки кокоса. В последний день войны я командовал транспортным судном, полным матросов, солдат, полицейских и гражданских – всех, кого удалось забрать с причала. Я мог отправиться к Седьмому флоту, как многие другие капитаны. Но американцы нас предали, и я понимал: если я попаду к ним, то на продолжение борьбы нечего и надеяться. Американцы опозорились. Белые дали задний ход, оставив Азию желтым, и я взял курс на Таиланд. У меня были друзья среди тайцев, и я знал, что они приютят нас. В отличие от американцев, им было некуда бежать. Они не могли не вступить в бой с коммунизмом, поскольку он уже лез к ним через границу с Камбоджей. Лаос тоже должен был вот-вот сдаться. Дело в том, что я, в отличие от многих моих земляков, не хотел, чтобы меня спасли. Тут он сделал паузу и улыбнулся еще раз, точно напоминая нам, что в числе этих земляков были и мы. Потом заговорил вновь. Бог уже меня спас, так зачем мне было искать спасения у американцев? Я поклялся на палубе перед своими матросами, что мы будем продолжать борьбу месяцами, годами, а если понадобится, то и десятилетиями. С точки зрения Бога все это вообще не срок.

Так что же, Дядюшка, по-вашему, у нас и правда есть шанс? – спросил Бон. Не торопясь с ответом, адмирал погладил бородку. Дитя мое, сказал он наконец, все еще поглаживая бородку, вспомни Иисуса и то, как христианство началось только с него, его апостолов, их веры и Слова Божия. Мы как те истинно верующие. Здесь, у нас в лагере, две сотни апостолов, радиостанция, транслирующая на нашу поработленную родину слово свободы, и оружие. У нас есть то, чего никогда не имели Иисус с его апостолами, но при этом у нас есть их вера, и еще, что немаловажно – если не вовсе самое важное, – Бог на нашей стороне.

Бон закурил новую сигарету. Иисус умер, сказал он. Так же как и апостолы.

Значит, и мы умрем, сказал бесстрастный лейтенант. Несмотря на смысл этих слов, а может быть, как раз из-за него, в его повадке и голосе по-прежнему отсутствовали всякие следы эмоций. И это не то чтобы плохо, добавил он.

Я не утверждаю, что вы умрете, выполняя это задание, сказал адмирал. Когда-нибудь после – возможно. Но если вы все-таки умрете сейчас, спасенные вами будут благодарны вам, так же как апостолам были благодарны те, кого спасли они.

Многие из тех, кого они взялись спасать, не хотели, чтобы их спасли, сказал Бон. Сдается мне, Дядюшка, что поэтому они и умерли – я про апостолов.

Сын мой, сказал адмирал, больше не улыбаясь, ты говоришь не как верующий.

Если вы имеете в виду веру в религию, или в антикоммунизм, или в свободу, или еще во что-нибудь с таким же громким названием, то да, в это я не верю. Раньше верил, но теперь уже нет. И спасать никого не хочу – плевать мне на всех, включая себя. Я хочу просто убивать коммунистов. Поэтому я тот, кто вам нужен.

Что ж, сказал адмирал, этого мне довольно.

## Глава 18

В течение двух недель мы привыкали к погоде и новым товарищам. Среди них обнаружили троих, которых я не чаял больше встретить; в тот вечер, когда мы с Боном увидели, как эти лейтенанты-морпехи распевают в сайгонском переулке "Сайгон, Сайгон! Ты прекрасен, Сайгон!", они еще не были такими длинноволосыми и бородатыми, но их выдающаяся глупость с тех пор изменений не претерпела. В день падения Сайгона они добрались до пристани и попали на борт адмиральского корабля. А потом остались в Таиланде, сказал нам главный из них. Всю жизнь он вялился в дельте Меконга, как и его друзья, и на всех солнце наложило свою печать, хотя и разных оттенков. Вожак был темнокожий, один из двух других – еще темнее, а третий – самый темный, цвета крепкого чая. Мы с Боном и они нехотя обменялись рукопожатиями. Мы пойдем с вами через границу, сказал темный морпех. Так что нет смысла портить отношения. Это был тот самый, на кого я тогда навел пистолет, но поскольку он предпочел об этом не вспоминать, я тоже промолчал.

Наша команда отправилась в поход ранним вечером под предводительством лаосского крестьянина и хмонга-разведчика. Всего нас было двенадцать. Лаосца никто не спрашивал. Адмиральские бойцы захватили его во время предыдущей вылазки; он хорошо знал местность, по которой нам предстояло идти, и его сделали нашим проводником. По-вьетнамски он не говорил, зато говорил хмонг, так что мы общались через него. Смотреть в глаза нашему разведчику было жутковато даже на расстоянии: темные и разбитые, они зияли, точно окна покинутого дворца. Как и все мы, он был одет в черное, но отличался от прочих тем, что носил выцветший зеленый берет на размер больше нужного, сползающий ему на брови и уши. В качестве оружия он взял с собой винтажный карабин М-1, маленький и легкий, добавив к нему мачете М1967 в специальных ножнах для самозатачивания. За ним шел темный морпех с эклектической парой из грозного АК-47 наперевес и классического американского пистолета М1911А1 на бедре. Следующий, морпех потемнее, нес гранатомет М-79 и перевязь с боеприпасами к нему – гранатами, очень похожими на короткие металлические пенисы. В ближнем бою ему оставалось полагаться только на свой пистолет, штык и воинскую отвагу. За моряками двигались бесстрашный лейтенант с седым капитаном – они не смогли заставить себя вооружиться вражескими калашами и выбрали из предложенного в лагере арсенала привычные М-16. Еще каждый из них захватил по мине "клеймор", способной уложить шрапнелью целый взвод, и по мешочку с яйцевидными осколочными гранатами М-26. За седым капитаном следовал тощий связист – кроме пистолета-пулемета М3, он волок на спине ранец с радиостанцией PRC-25. Далее шагал флегматичный санитар с полевой аптечкой через плечо. Поскольку иметь оружие полагалось всем членам группы, он прихватил с собой тяжелую, но надежную винтовку М-14. С флегматичным санитаром мы поладили за один вечер, сдобренный ароматами жасмина и марихуаны. Что еще, кроме тоски и печали, спросил он, на самом деле тяжелое, но ничего не весит? И, увидев, что я стал в тупик, ответил: нигилизм. В этой философии, собственно, и крылись корни его флегматичности. За ним шел дюжий пулеметчик с М-60 в руках, обмотанный лентами с патронами, а дальше – мы с Боном. Я проникся партизанским духом и выбрал АК-47. Как и все остальные, я нес в рюкзаке свою долю провианта. Бон взял себе М-16, а вместо рюкзака тащил комплект реактивных противотанковых гранат – их толстые головки на конце длинных стержней напоминали бутоны лотоса. Метать их собирался самый темный морпех, остановивший свой выбор на В-40, вьетнамском варианте советского РПГ-2; он и замыкал шествие.

Для защиты вместо бронежилетов и касок все мы получили по ламинированной иконке Девы Марии для ношения на груди – адмирал благословил нас ими перед самым стартом. Почти все мы покинули лагерь чуть ли не с радостью: до этого наши дни были заняты обсуждениями тактики, подготовкой провизии и изучением карты с нашим маршрутом по южной оконечности Лаоса. Моряки уже ходили в эти края на разведку, а лаосец там вырос. Контрабандисты, сказал он, то и дело шастают через границу. Иногда мы слушали радио "Свободный Вьетнам" – трансляции велись из бамбуковой хибарки рядом с адмиральской хижинкой. По

радио передавали адмиральские речи, читали газетные статьи и гоняли ностальгическую попсу; гвоздями сезона были Джеймс Тейлор и Донна Саммер. Коммунисты ненавидят песни о любви, заявил адмирал. Они не верят в любовь, романтику и развлечения. Они считают, что любить можно только родину и революцию. Но народ любит песни о любви, а мы служим народу. Поэтому радиоволны несли эту проникновенную лирику через Лаос во Вьетнам. У меня в кармане лежал транзистор с наушником, позволяющий мне слушать эти передачи, и я дорожил им больше, чем своим оружием и образом Пресвятой Девы. Клод, который не верил ни в нее, ни в какого бы то ни было бога вообще, попрощался с нами по-светски, крепкими рукопожатиями. Удачи, сказал он. Туда и обратно. Одна нога здесь, другая там, потом опять здесь. Легко сказать, подумал я. Наверное, эта мысль возникла у многих членов нашего отряда, но все промолчали. Почувствовав мое беспокойство, Клод положил руку мне на плечо. Береги себя, дружище. Если начнут стрелять, просто сиди и не высывайся. Пусть работают профессионалы. Его оценка моих способностей была трогательна и, скорее всего, справедлива. Он хотел, чтобы я уцелел, – этот человек, наряду с Маном научивший меня всему, что я знал о приемах разведки и о конспирации как образе жизни. Возвращайтесь, ребята, сказал Клод, мы будем ждать. Увидимся, сказал я. На том мы и расстались.

Мы выступили в путь под тонкой коркой месяца, полные того оптимизма, с каким люди порой начинают трудное предприятие; наши легкие были точно надуты гелием, влекущим нас вперед. Затем, через час, мы уже не шагали, а брели. По крайней мере, я могу сказать это о себе, ибо мой гелий израсходовался, уступив место первым признакам усталости, просачивающейся в организм, как редкие капли воды – в полотенце. Еще через несколько часов мы наткнулись на крошечное озерцо, где седой капитан разрешил устроить передышку. Усевшись на берегу залитого лунным светом озерца, чтобы дать отдых своим ноющим ногам, я взглянул на часы: их фосфоресцирующие, словно нематериальные стрелки показывали час пополудни. Мои руки казались мне такими же самостоятельными, как стрелки, потому что они хотели вынуть и приласкать сигарету из пачки в моем нагрудном кармане; это желание будоражило мою нервную систему. С виду ничуть не страдающий от подобного томления, Бон сидел рядом со мной и молча ел рисовый колобок. От озерца тянуло влажным запахом ила и гниющих растений, а на его поверхности, в ореоле линялых перьев, плавала мертвая птичка размером с зяблика. Воронка от снаряда, пробормотал Бон. Воронка была американским следом – она говорила, что мы уже в Лаосе. Двигаясь дальше на восток, мы стали встречать и другие воронки, иногда по одной, иногда целыми скоплениями, и нам приходилось с трудом пробираться среди вывернутых с корнями и нашинкованных каепутов. Однажды мы подошли близко к деревне и заметили на берегу воронок сачки на длинных шестах – очевидно, местные жители ловили ими рыбу, которую развели в этих ямах с водой.

Перед рассветом седой капитан остановил нас в укромном месте, куда, по словам нашего лаосца, редко заглядывали обитатели этих приграничных территорий. Наш лагерь находился на вершине холма; мы расстелили одеяла под равнодушными каепутами и укрылись сетчатыми накидками, вплетая в них пальмовые листья. Я опустил голову на рюкзак с провизией и “Азиатским коммунизмом и тягой к разрушению по-восточному” – я спрятал эту книгу в двойном дне на случай, если она вдруг снова мне понадобится. Мы должны были нести караул по двое или трое, сменяясь каждые три часа, и мне, по несчастью, досталась одна из средних смен. Едва я успел задремать, прикрыв глаза шапкой, как почувствовал на своем плече руку дюжего пулеметчика – обдав мне лицо мерзким, насыщенным микробами дыханием, он сообщил, что настал мой черед дежурить. Солнце стояло высоко, и в горле у меня пересохло. Глядя в бинокль, я видел в отдалении Меконг – бурю ленту, перепоясавшую зеленый торс земли. Это и была реальная граница, в отличие от проведенной человеком и никому не заметной, пока ее не обозначат колючей проволокой. Над жилыми домами и кирпичными фабриками поднимались вопросительные и восклицательные знаки дыма. Я видел, как крестьяне в закатанных штанах бредут за буйволами, по щиколотку в мутной воде рисовых полей. Видел, как по сельским дорогам ползут машины – издали казалось, что они

движутся с мучительной натугой, точно больные артритом черепахи. Видел каменные руины древнего замка, воздвигнутого какой-то давно сгинувшей расой, а над ними – венценосную голову какого-то забытого тирана, который ослеп, взирая на разорение своей империи. В солнечных лучах передо мной простерлось все обнаженное тело земли, ничуть не напоминавшей загадочное ночное существо, и внезапно меня охватила такая отчаянная тоска, что вся картина перед моими глазами задрожала, словно выйдя из фокуса, и я с изумлением и ужасом в равных долях осознал, что при всей нашей предусмотрительности никто из нас не захватил с собой ни капли спиртного.

Вторая ночь мало походила на первую. Я плохо понимал, то ли иду сам, то ли стараюсь удержаться на спине огромного зверя, который дышит и качается подо мной. К горлу подкатывала и опадала желчь, распухшие уши отяжелели, и я дрожал, как зимой. Поднимая голову, я видел среди ветвей звезды – вихрящиеся снежинки в игрушечном стеклянном шаре. До меня доносился далекий смех Сонни и упитанного майора, которые глядели на меня снаружи, встряхивая этот стеклянный шар гигантскими руками. Единственным, что привязывало меня к материальному миру, был автомат в моих руках, поскольку мои ноги не чувствовали земли. Я сжимал АК-47 так же крепко, как обнимал Лану в ночь после визита к Сонни. Она знала, что я вернусь, и не удивилась, открыв мне дверь. Я не сказал генералу, чем мы с ней занимались, а зря. Было одно, чего он не мог бы сделать никогда, но я это сделал, потому что после совершенного мною убийства для меня не осталось ничего запретного – даже того, что принадлежало ему или произошло от него. Теперь ароматы леса были ее ароматами, и когда я сбросил с плеч рюкзак и сел между Боном и бесстрастным лейтенантом посреди бамбуковой рощицы, земная сырость напомнила мне о ней. Ветви над нами облепили бесчисленные светлячки, и мне чудилось, что на нас направлены все морды и глаза леса. Некоторые звери видят в темноте, но только мы, люди, упорно стараемся проникнуть во тьму внутри нас самих всеми возможными способами. Нам никогда не попадалась пещера, дверь, какое бы то ни было отверстие, в которое мы не захотели бы войти. Нас решительно не устраивает единственный путь внутрь – мы всегда пытаемся отыскать самые темные и заповедные проходы, о чем и напомнила мне та ночь с Ланой. Пойду отолю, сказал бесстрастный лейтенант, снова поднимаясь на ноги. Он исчез в ночном мраке под светлячками, которые включались и выключались над ним в унисон. Знаешь, за что ты мне нравишься? – спросила она потом. В тебе собрано все, что ненавидит моя мать. Я не обиделся. За всю жизнь мне скормили силком так много ненависти, что моей растолстевшей печени было уже все равно, чуть больше или чуть меньше. Если бы мои враги когда-нибудь вырезали у меня печень и съели ее, как, говорят, случается у камбоджийцев, они причмокнули бы губами с восхищением, ибо нет ничего аппетитнее, чем паштет из ненависти, если его как следует распробовать. В той стороне, куда ушел лейтенант, треснула ветка; светлячки наверху продолжали включаться и выключаться. Все нормально? – спросил Бон. Я кивнул, сосредоточившись на светлячках – они вспыхивали и гасли каждую секунду, превращая бамбуковые заросли в рождественскую открытку. Раздался шорох, и среди стеблей возникла тень лейтенанта.

Эй, сказал он. Я...

Вспышка света и звука ослепила и оглушила меня. Я пошатнулся под градом камешков и комьев земли. В ушах у меня зазвенело и, лежа на боку и прикрывая руками голову, я услышал чей-то крик. Кто-то вопил, и это был не я. Кто-то ругался, и это был не я. Смахнув с лица земляное крошево, я увидел наверху темные кроны деревьев. Светлячки перестали мигать, и кто-то истошно кричал. Это был бесстрастный лейтенант, извивающийся в папоротнике. Флегматичный санитар нечаянно толкнул меня, торопясь к нему на помощь. Вынырнув из мрака, седой капитан сказал: займите оборону, мать вашу! Рядом со мной Бон отвернулся от суматохи, передернул затвор – *клик-клак* – и прицелился во тьму. Повсюду вокруг меня защелкали затворы; люди готовились стрелять, и я тоже взвел автомат. Кто-то у меня за спиной зажег фонарь – я увидел это по отблеску. Ноги нет, сказал флегматичный санитар. Лейтенант продолжал кричать. Посвети, я

перевяжу. Его по всей долине слышно, сказал темный морпех. Выживет? – спросил седой капитан. В госпитале, может, и выжил бы, ответил санитар. Придержи-ка его. Надо его заткнуть, сказал темный морпех. Наверное, мина, сказал седой капитан. Нападения не было. Давайте: или вы, или я, сказал темный морпех. Кто-то зажал лейтенанту рот рукой, приглушив его крики. Взглянув назад через плечо, я увидел в свете фонаря темного морпеха, как флегматичный санитар накладывает на культю лейтенанта с белеющим в ней осколком кости бесполезную шину – ногу оторвало выше колена. Седой капитан одной рукой зажимал лейтенанту рот, а другой – нос. Лейтенант задергался, хватая за рукава флегматичного санитаря и седого капитана, и темный морпех потушил фонарь. Постепенно шум возни и придушенные крики сошли на нет, и он наконец затих, умер. Но если это и правда случилось, почему у меня в ушах по-прежнему звучали его вопли?

Надо уходить, сказал темный морпех. Сейчас все тихо, но на рассвете они придут. Седой капитан не ответил. Вы меня слышали? Седой капитан сказал, что да. Так не молчите, сказал темный морпех. Пока не рассвело, мы должны убраться отсюда подальше. Надо его похоронить, сказал седой капитан. Когда темный морпех возразил, что это займет слишком много времени, седой капитан велел забрать тело с собой. Мы поделили боеприпасы лейтенанта и содержимое его рюкзака; лаосец взял пустой рюкзак, а темный морпех – винтовку М-16. Дюжий пулеметчик отдал свой М-60 морпеху потемнее и поднял труп лейтенанта. Мы уже тронулись было в путь, но тут пулеметчик спросил: а где его нога? Темный морпех включил фонарь. Нога нашлась сразу, сервированная на листьях папоротника вместе с ошметками черной материи, прилипшими к рваному мясу, из которого торчала изуродованная белая кость. А ступня где? – спросил темный морпех. Думаю, от нее ничего не осталось, сказал флегматичный санитар. Лоскутки розовой кожи и плоти висели на траве вокруг, и по ним уже ползали муравьи. Темный морпех сгреб ногу, огляделся, и первым ему на глаза попался я. Прошу, сказал он и сунул ногу мне. Я хотел отказаться, но тогда ее пришлось бы нести кому-нибудь другому. *Помни, в тебе не по половине всего, а вдвойне!* Если это мог сделать кто-то другой, значит, мог и я. Это был просто шматок мяса с костью внутри и холодным краем, липким от крови и облепленным грязью. Взяв ногу и отряхнув ее от муравьев, я обнаружил, что она лишь немного тяжелее моего “калашника”, благо ее хозяин был малорослым. Седой капитан велел выступать, и я двинулся за дюжим пулеметчиком, взвалившим на плечо труп лейтенанта. Рубаха мертвеца задралась, и оголившаяся полоска спины синела в лунном свете.

Я нес ногу одной рукой, сжимая другой ремень автомата, и мне казалось, что тащить эту ногу гораздо труднее, чем труп потерявшего ее человека. Я старался держать ее как можно дальше от себя, и она становилась все тяжелей и тяжелей, как та Библия, которую отец когда-то заставил меня держать в вытянутой руке перед всем классом в наказание за какую-то провинность. Я еще хранил это воспоминание, а с ним и память об отце в гробу – он лежал там, белый, как торчащая кость бесстрастного лейтенанта. В моих ушах зазвучало пение церковного хора. О смерти отца я узнал от его дьякона: он позвонил мне в полицейское управление. Откуда вы взяли этот номер? – спросил я. Нашел в бумагах покойного у него на столе. Я посмотрел в документ, лежащий на моем собственном столе. Это было следственное заключение о незначительном событии прошлого, 1968 года, а именно о зачистке взводом американцев поселка в провинции Куангнгай, покинутого большей частью жителей. Согласно свидетельству раскаявшегося рядового, после ликвидации буйволов, свиней и собак, а также группового изнасилования четырех девушек солдаты вывели последних вместе с пятнадцатью стариками, женщинами и детьми на главную площадь и расстреляли. В отчете комвзвода говорилось об уничтожении девятнадцати вьетконговцев, хотя в поселке не было найдено никакого оружия, кроме нескольких лопат, мотыг, самодельного лука и мушкета. У меня нет времени, сказал я. Важно, чтобы вы пришли, сказал дьякон. Так ли уж это важно? – спросил я. После долгой паузы дьякон сказал: вы были важны для него, а он – для вас. Тогда мне стало ясно, что дьякон знает, кем был для меня его усопший начальник.



Мы завершили свой вынужденный марш через два часа – столько же продолжалась зауспокойная месса по моему отцу. Я оцарапал лицо о куст бугенвиллеи, под которым журчал ручей. Моряки принялись рыть на его берегу неглубокую могилу, а я опустил наземь свою ношу. Рука моя была липкой от крови, и я стал у ручья на колени, чтобы сполоснуть ее в холодной воде. Когда моряки закончили работу, моя рука уже высохла, а небо над горизонтом чуть порозовело. Седой капитан раскатал накидку лейтенанта с пальмовыми листьями, и дюжий пулеметчик положил на нее тело. Только тут я сообразил, что мне придется снова испачкать руку. Взяв ногу, я пристроил ее на место. Я видел в розовых сумерках его открытые глаза и дряблый рот, и в ушах у меня еще стояли его крики. Седой капитан закрыл ему рот и глаза и завернул его в накидку, но когда они с дюжим пулеметчиком подняли тело, нога выскользнула наружу. Я уже вытирал свою липкую руку о штаны, но мне ничего не оставалось, кроме как поднять ногу еще раз. Они уложили тело в могилу, после чего я нагнулся и сунул ногу под накидку, вплотную к культе. Когда я помогал засыпать яму, из ее стенок уже вывинчивались блестящие черви. Я знал, что земля сверху прикроет наши следы всего на день-два, а потом звери откопают труп и съедят его. Хочешь загадку? – спросил Сонни, присев на корточки рядом со мной, пока я стоял у могилы на коленях. Как по-твоему, лейтенант будет гулять здесь с одной ногой или с двумя? А червяки будут вылезать у него из глаз или нет? И правда, сказал упитанный майор, высунув голову из могилы, никто не знает, какой облик примет привидение. Почему я весь целый, если не считать дырки во лбу, а не отвратительная каша из мяса и костей? А ну-ка, скажи, капитан! Ты ведь у нас все знаешь! Я ответил бы ему, если бы мог, но мне трудно было это сделать, поскольку я чувствовал, что и у меня во лбу зияет дыра.

День прошел спокойно, и поздним вечером, после еще одного короткого перехода, мы достигли берегов Меконга, мерцающего в лунном свете. Где-то на другом берегу ждали меня вы, комендант, а также тот безликий, ваш комиссар. Хотя этого я еще не знал, в воздухе витало предвестие беды, и все мы ощущали его, когда отдирали от себя пиявок, цепляющихся к нам с упорством плохих воспоминаний. Я и не замечал их, пока лаосец не снял у себя с лодыжки штуковину, похожую на оживший черный палец. Борясь с маленьким чудищем, впившимся мне в ногу, я невольно подумал, что если бы ко мне вот так же прильнула Лана, я был бы счастлив. Тощий связист включил рацию, и пока седой капитан докладывал адмиралу о последних событиях, моряки в очередной раз проявили сноровку, соорудив плот из стволов бамбука, связанных лианами. При помощи самодельных весел из того же бамбука на нем могли переправиться через реку четверо, и морпех потемнее привязал к дереву веревку, чтобы распустить ее за собой, привязать на другом берегу и потом вернуться по ней обратно. Чтобы перевезти всех, требовались четыре захода, и ближе к полуночи в путь отправилась первая группа: хмонг-разведчик, морпех потемнее, дюжий пулеметчик и темный морпех. Остальные рассыпались на открытом берегу спиной к реке, съездившись под листовыми накидками и наведя оружие на огромный лес, точно присевший перед прыжком.

Через полчаса морпех потемнее вернулся на плоту. С ним поплыли еще трое: лаосец, самый темный морпех и флегматичный санитар, который у могилы бессмертного лейтенанта сказал, словно бы вместо благословения: все живые одновременно и умирающие. Не умирают только мертвые. Что за чепуху ты несешь? – спросил темный морпех. Я знал, о чем говорил санитар. Моя мать не была умирающей, потому что она уже умерла. Отец тоже, потому что и он умер. Но я сидел здесь на берегу, умирающий, потому что еще не умер. А мы тогда кто? – спросили Сонни и упитанный майор. Умирающие или мертвые? Я содрогнулся и, глядя в лесной мрак вдоль ствола своего автомата, увидел среди раскоряченных деревьев силуэты других призраков. Это были призраки людей и зверей, растений и насекомых, духи мертвых тигров, летучих мышей, цикад и кикимор – целый растительный и животный мир, также претендующий на загробную жизнь. Весь лес ходил ходуном от ужимок насмешницы смерти и простушки жизни, этого неразлучного дуэта, ибо живые всегда должны мириться с неизбежностью собственной смерти, а мертвые – терпеть неотвязные воспоминания о своей жизни.

Эй! – тихо окликнул меня седой капитан. Теперь твоя очередь! Видимо, прошло еще полчаса. Темный морпех подтянул плот к берегу, и бамбук заскрипел о камешки. Мы с Бонем поднялись; поднялись и Сонни с упитанным майором, готовые сопровождать меня на тот берег. Я помню белый шум реки, свои ноющие колени и тяжесть автомата в руках. Помню горькую досаду: почему моя мать ни разу не навестила меня после смерти, хотя я так часто ее призывал, а Сонни с упитанным майором, видимо, уже никогда не дадут мне покоя? Помню, как не похожи на людей были мы все там, на берегу: в накидках из листьев, с вымазанными сажей лицами и оружием, смахивающим на образцы минералов причудливой формы. Помню, как седой капитан сунул мне весло со словами: на, будешь грести, и как тут же у меня над ухом щелкнул хлыст и голова седого капитана раскололась, пролив свой желток. Мне на щеку упал кусочек чего-то влажного и мягкого, и оба берега реки наполнились грохотом. На дальнем берегу сверкали вспышки выстрелов, воздух разрывало буханье гранат. Едва морпех потемнее шагнул с плота на траву, как мимо меня со свистом пронеслась реактивная граната – она угодила в плот, превратив его в фонтан искр и огня, и швырнула морпеха потемнее в мелкую воду, плещущую о берег, где он и остался кричать, еще не до конца мертвый.

Ложись, кретин! Бон толкнул меня вниз. Тощий связист уже отстреливался от нападавших из леса с нашей стороны – громкие хлопки его автоматической винтовки били меня по перепонкам. Я чувствовал мощь ружей и скорость пуль, пролетающих над головой. Пузырь моего сердца надулся страхом, и я приник щекой к земле. Пока нас спасало то, что мы лежали на склоне, ниже уровня прицела мстительных лесных призраков. Стреляй, дебил! – крикнул Бон. В лесу вспыхивали и гасли десятки безумных, жаждущих нашей крови светлячков. Чтобы вступить в бой, надо было поднять голову и прицелиться, но пальба не смолкала ни на секунду, и я чувствовал, как пули вонзаются в землю. Стреляй, мать твою! Я повернул автомат дулом к лесу, нажал на спуск, и меня ударило прикладом в плечо. Вспышка в темноте была такой яркой, что все, кто хотел нас убить, теперь точно знали, где я нахожусь, но мне оставалось только одно: продолжать давить на крючок. Плечо болело от отдачи, и, прервавшись, чтобы сменить магазин, я заметил, что уши тоже болят, истерзанные стереофоническими эффектами перестрелки на нашей стороне реки и параллельного сражения на той. Мы все отчаянно палили во тьме более или менее наобум. Я наводил автомат в черноту леса, жал на крючок, и свирепый лай, заставляющий меня съеживаться все сильнее, лишь напоминал о том, что в глубине души я трус. Я с ужасом ждал от Бона команды броситься в атаку под вражеским огнем, зная, что у меня не хватит мужества ее выполнить. Бон мог вскочить в любую минуту, но я не побежал бы за ним, потому что боюсь смерти и люблю жизнь. Я мечтал выкурить хотя бы еще одну сигарету, выпить еще один глоток виски, пережить еще семь секунд постыдного блаженства – ну а потом, хотя тоже вряд ли, можно и умереть.

Внезапно в нас перестали стрелять, и теперь в темноту палили только мы с Бонем. Только тут я заметил, что тощий связист нам не помогает. Сделав еще один перерыв, я оглянулся и увидел в лунном свете, что его голова лежит на смолкшем пулемете. Теперь грохотала лишь винтовка Бона, но, расстреляв весь магазин, остановился и он. Битва за рекой уже прекратилась, и на том берегу кричали на чужом языке. Потом из лесной чащи по нашу сторону кто-то закричал на нашем. Сдавайтесь! Не умирайте напрасно! Выговор был северный.

В наступившей тишине раздавался гортанный шепот реки. Никто больше не звал маму, и тогда я понял, что морпех потемнее тоже мертв. Я повернулся к Бону, и в лунном сиянии блеснули белки его глаз, подернутых слезами. Если бы не ты, чертов ублюдок, пробормотал Бон, я бы здесь умер. При мне он плакал лишь третий раз – не в апокалиптической ярости, как после гибели жены и сына, и не в печали, которую делил с Ланой, а бессильно, признавая поражение. Наша группа была уничтожена, он уцелел, и мой план сработал, пусть и не без доли везения. Я все-таки спас его – но, как оказалось, только от смерти.

## Глава 19

Только от смерти? Комендант взглянул на меня, искренне уязвленный. Его палец лежал на последних словах моего признания; в другой руке он держал синий карандаш. По его словам, он выбрал этот цвет потому, что синим карандашом пользовался Сталин. Подобно Сталину, комендант был придирчивым редактором, неумолимо отмечающим мои многочисленные ошибки и отступления от темы и упорно побуждающим меня сокращать, убирать, переиначивать и разъяснять. Вы намекаете на то, что жизнь в моем лагере хуже смерти? Не слишком ли это театрально? В своей комнате, на бамбуковом стуле, он выглядел в высшей степени рассудительным, и такими же показались мне поначалу его слова. Я тоже сидел на бамбуковом стуле, но затем вспомнил, что всего час назад меня привели сюда из маленького, лишенного окон кирпичного изолятора, где я провел целый год, без конца переписывая свое признание, финальная версия которого сейчас находилась в распоряжении коменданта. По-моему, товарищ комендант, мы с вами смотрим на ситуацию под разными углами, сказал я, стараясь привыкнуть к звуку собственного голоса, поскольку уже неделю ни с кем не разговаривал. Я пленник, продолжал я, а вы здесь главный. Вам сложно проявлять ко мне сочувствие, и наоборот.

Комендант вздохнул и опустил последнюю страницу моего труда на остальные триста двадцать две, лежащие на столе перед ним аккуратной стопкой. Сколько раз вам повторять? Вы не пленник! Пленники сидят вон там, – он показал в окно на бараки, где размещалось около тысячи заключенных, в том числе пережившие засаду члены нашего отряда: хмонг-разведчик, лаосский крестьянин, флегматичный санитар, темный морпех, самый темный морпех и Бон. А вы – особый случай. Он закурил сигарету. Вы гость, мой и комиссара.

Гости могут уйти, товарищ комендант. Я помедлил, наблюдая за его реакцией. Мне хотелось получить от него сигарету, но я знал, что этого не произойдет, если я его рассержу. Однако сегодня он, против обычного, был в добром расположении духа и не нахмурился. Высокие скулы и тонкие черты лица придавали ему сходство с оперным певцом, и даже десять лет войны в Лаосе, на протяжении которых он жил в пещере, не испортили его классической внешности. Его обаянию трудно было бы противиться, не будь он временами таким мрачным; впрочем, этой неотвязной хворью страдали в лагере все, включая меня. Солдаты и заключенные, равно скучающие по дому, вечно исходили тоскливым потом – он насквозь пропитывал их никогда не высыхающую одежду, и я, сидя сейчас на бамбуковом стуле, тоже ощущал на себе эту липкую сырость. Коменданта хотя бы обдувал стоящий перед ним электровентилятор – в лагере их имелось всего два, и второй, по словам круглолицего охранника, был выделен комиссару.

Возможно, лучше назвать вас не гостем, а пациентом, сказал комендант, внося еще одну поправку. Вы побывали в дальних странах и подверглись влиянию опасных идей. Нельзя допускать заразные идеи в страну, где к ним не привыкли. Подумайте о людях, проживших столько лет в изоляции от чужеземных идей. Заражение ими может стать для неподготовленных умов настоящей катастрофой. Взгляните на это с нашей точки зрения, и вы поймете, что мы вынуждены держать вас в карантине до тех пор, пока не исцелим, хотя нам и больно заставлять нашего собрата-революционера терпеть такие лишения.

Я принимал его логику, пусть и с некоторым трудом. У них были причины относиться с подозрением ко мне, всегда вызывавшему подозрения у других. И все-таки я не мог избавиться от мысли, что год в одиночной камере, откуда меня, бледного и моргающего, выпускали для разминки всего на час в день, – это немного чересчур, о чем мне уже доводилось говорить коменданту на наших еженедельных встречах, где он критиковал мое признание, а я, в свою очередь, критиковал себя. Должно быть, он тоже об этом помнил, поскольку, не дав мне ответить, добавил: я знаю, что вы хотите сказать. Я ведь уже объяснял вам раньше: как только мы сочтем ваше признание удовлетворительным, основываясь на чтении ваших записей и вашей самокритике, отраженной в моих отчетах

комиссару, вы перейдете к следующей и, надеюсь, последней стадии вашего перевоспитания. И вот теперь комиссар считает, что вы готовы к исцелению.

Правда? Мне еще предстояло познакомиться с этим безликим человеком. Никто из заключенных его не знал. Они видели его только в общем зале на еженедельных политических лекциях – он и читал их, сидя за столом на небольшой сцене. Я не видел его и там, потому что лекции эти, согласно словам коменданта, предназначались всего-навсего для начального образования явных реакционеров, марионеток, чьи мозги промыты десятилетиями идеологической обработки. Безликий освободил меня от этих примитивных занятий. Взамен мне велели писать и размышлять, чем и ограничивались все мои повинности. Комиссара я видел лишь в те редкие моменты, когда поднимал взгляд в своем крошечном дворике для прогулок и замечал его далекую фигуру на балкончике бамбуковой хижины, построенной на вершине большего из двух холмов, возвышающихся над лагерем. Хижина коменданта стояла на меньшем холме, а охранники квартировали на склонах. У подножия холмов сгрудились кухня, столовая, арсенал, уборные и склады охраны, а также одиночные помещения для особых случаев вроде меня. Забор из колючей проволоки отделял этот внутренний лагерь от внешнего, где медленно гнили заключенные – бывшие военные, чиновники и сотрудники службы безопасности павшего режима. Рядом с одной из калиток в этом заборе, с внутренней стороны, находилась будка для свиданий с родными. Сами узники в целях выживания превратились в эмоциональные кактусы, но их жены и дети неизменно плакали при виде своих мужей и отцов, с которыми встречались не чаще двух раз в год, поскольку добираться сюда из ближайшего города приходилось долго и притом на перекладных – поезде, автобусе и мотоцикле. Внешний лагерь за будкой был отгорожен от окружающих нас унылых равнин другим проволочным забором, а вдоль него торчали сторожевые вышки, откуда часовые в шлемах могли наблюдать в бинокль за посетительницами и при этом, как поговаривали узники, услаждать себя известного рода развлечениями. С высоты комендантского двора открывался вид не только на эти вуайеристские гнезда, но и на изрытую ямами пустошь и окаймляющие ее вдали голые деревья – лес зубочисток, над которым зловещими черными клубами проносились стаи ворон и летучих мышей. Я всегда останавливался тут, прежде чем войти в дом, и не отказывал себе в удовольствии полюбоваться зрелищем, не доступным мне во время пребывания в одиночке, где я пока не столько исцелялся, сколько запекался под тропическим солнцем.

Вы постоянно жалуетесь на продолжительность вашего визита, сказал комендант. Но ваше признание – необходимая прелюдия к исцелению. Не моя вина, что вы писали его целый год, да и то, на мой взгляд, не слишком преуспели. Все, кроме вас, уже признались мне, что были клеветами мирового империализма, зомбированными солдатами, бездушными кровопийцами, угодливыми компрадорами либо продажными палачами. Какого бы мнения вы ни были о моих умственных способностях, я знаю: эти люди просто говорят мне то, что я хочу услышать. Вы же, напротив, не желаете говорить мне то, что я хочу услышать. Это потому, что вы очень умны или очень глупы?

Я все еще был слегка ошеломлен – бамбуковый пол качался под моим бамбуковым сиденьем. Мне всегда требовался почти час, чтобы заново привыкнуть к простору и свету после сумрака и тесноты изолятора. Что ж, сказал я, плотнее запахиваясь в лохмотья своего разума, полагаю, неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Так что спасибо, товарищ комендант, что дали мне возможность осмыслить мою жизнь. Он одобрительно кивнул. Кому еще доступна такая роскошь – просто писать и размышлять, ни на что больше не отвлекаясь? – продолжал я. Мой сиротливый голос, который в камере отделился от меня и говорил со мной из затянутого паутиной угла, теперь вернулся. В каких-то отношениях я умен, в других – глуп. К примеру, мне хватает ума на то, чтобы принимать вашу критику и редакторские поправки со всей серьезностью, однако я слишком глуп, чтобы понять, отчего мое признание не соответствует вашим высоким стандартам, хотя я переписывал его столько раз.

Комендант посмотрел на меня сквозь очки, увеличивающие его глаза вдвое против обычного: десять лет в сумраке пещеры сильно притупили остроту его зрения. Если бы ваше признание было сочтено удовлетворительным, комиссар уже разрешил бы вам перейти к тому, что он называет вашей устной экзаменацией, сказал он. Но, на мой взгляд, результату того, что он называет вашей письменной экзаменацией, явно недостает искренности.

Разве я не признался во многом, комендант?

По сути – возможно, но не по стилю. А ведь стиль в признаниях не менее важен, чем суть, как показали нам наши товарищи хунвейбины. Все, чего мы хотим, – это определенный способ обращения со словами. Сигарету?

Я скрыл облегчение, небрежно кивнув. Комендант воткнул дрогик сигареты в мои потрескавшиеся губы, затем дал мне прикурить от моей собственной, экспроприированной им зажигалки. Я вдохнул, кислород табачного дыма наполнил складки моих легких, и мои руки перестали дрожать. Даже здесь, в последней версии, вы цитируете Дядюшку Хо только однажды. Это лишь один из многих симптомов, говорящих о том, что вы предпочитаете иностранную культуру и интеллектуалов нашим отечественным традициям. Почему?

Я растлен Западом?

Именно. Не так уж трудно было в этом признаться, правда? Любопытно, отчего же тогда вы не вкладываете это в свою рукопись. Я понимаю, почему вы не цитируете “Как закалялась сталь” или “Следы в заснеженном лесу”: эти книги не могли попасть к вам в руки, хотя их читал любой представитель моего поколения родом с Севера. Но не процитировать То Хью, нашего величайшего революционного поэта? И цитировать вместо этого желтую музыку Фам Зуи и “Битлз”? Кстати, у нашего комиссара есть коллекция желтой музыки – он хранит ее в чисто исследовательских целях. Предлагал послушать и мне, но нет, спасибо. Зачем я буду пачкать себе слух этим декадентством? Сравните ваши дешевые песни и стихи То Хью – например, “С той поры”, которое я прочел еще в школе. Он пишет, как “свет истины сердце мое озарил”, и в точности так повлияла на меня революция. Я взял его книгу с собой в Китай, когда поехал туда на боевую подготовку, и как же она меня поддерживала! Очень надеюсь, что свет истины прольется и на ваше сердце. Но мне вспоминается и другое его стихотворение, о богатом мальчике и сыне прислуги. Закрыв глаза, комендант произнес:

У одного игрушек много, Их с Запада ему везут. Другой, молчун, стоит и смотрит, Боится близко подойти.

Он открыл глаза. Неужели вы считаете, что такое не стоит упоминания?

Если бы вы дали мне эту книгу, я бы ее прочел, сказал я вполне откровенно, поскольку уже год не читал ничего, кроме своих собственных слов. Комендант покачал головой. На следующем этапе у вас не будет времени на чтение. Но намекать на то, что для лучшей начитанности вам просто не хватало книг? Бросьте. Не процитировать Дядюшку Хо или революционные стихи – это уже подозрительно, но не вспомнить даже ни одного народного речения или пословицы? Ладно, допустим, вы с Юга...

Я родился на Севере.

Но сбежали на Юг и там выросли. Как бы то ни было, у вас общая культура со мной, северянином. Однако вы не вспоминаете плодов этой культуры, даже такого:

Славные деяния отца велики, как гора Тайшань, Добродетель матери обильна, как чистая вода из источника, Дитя, всем сердцем благоговея перед матерью и почитай отца, Если хочешь пройти свой путь достойно.

Неужто вас не учили в школе таким основам?

Мать учила меня этому, сказал я. Но по моему признанию видно, что перед матерью я благоговел, а мой отец не заслуживал почитания.

Что касается отношений между вашими родителями – да, это очень печально. Вы могли подумать, что я бессердечен, однако это не так. Я понимаю вашу ситуацию и с учетом проклятия, которое на вас лежит, испытываю к вам огромное сочувствие. Как может человек вырасти достойным, если его источник был загрязнен? Но все равно, я глубоко уверен, что именно в нашей, а не в западной культуре следует искать советов по поводу вашей сложной ситуации. “Талант с судьбой – враги от века”. Вам не кажется, что эти слова Нгуена Зу применимы к вам? Ваша судьба – родиться в грехе, а ваш талант, как вы утверждаете, – видеть вещи с разных сторон. Но вам было бы лучше, если бы вы видели их только с одной стороны. Единственное лекарство для рожденного в грехе – я не хочу употреблять грубое слово “ублюдок” – это принять чью-то сторону.

Вы правы, товарищ комендант, сказал я, и, пожалуй, он действительно был прав. Но вот в чем беда: найти верное решение трудно, однако еще труднее воплотить его в жизнь.

Тут я с вами согласен. Меня озадачивает то, что рассуждаете вы совершенно разумно, а пишете как неисправимый строптивец. Комендант плеснул себе нефильтрованного рисового вина, которое стояло у него на столе в бутылке из-под газировки. Есть просьбы? Я покачал головой, хотя в горле у меня трепыхалось приапическое желание выпить. Чаю, пожалуйста, сказал я дрогнувшим голосом. Комендант налил мне чашку теплой подкрашенной воды. Мне грустно было наблюдать за вами тогда, в первые недели. Вы смахивали на буйнопомешанного. Изоляция пошла вам на пользу. Теперь вы очистились – по крайней мере телом.

Если спиртное так вредно, что мне его не дают, то почему пьете вы, комендант?

В отличие от вас, я знаю меру. Я научился самодисциплине в годы войны. Когда живешь в пещере, переосмысливаешь всю свою жизнь. Даже то, куда девать отходы своей жизнедеятельности. Думали об этом когда-нибудь?

Время от времени.

Я слышу сарказм. Все еще недовольны лагерными удобствами и своей камерой? Но это не сравнить с тем, что я перенес в Лаосе. Кстати, поэтому меня озадачивают претензии некоторых наших гостей. Думаете, я притворяюсь? Отнюдь нет – мое удивление искренне. Мы не посадили их в ямы. Не надели на них оков, из-за которых отсыхают ноги. Мы не поливаем их известью и не избиваем до крови. Вместо этого мы позволяем им выращивать для себя еду, строить себе дома, дышать свежим воздухом, любоваться солнечным светом и преображать своим трудом эту сельскую местность. Сравните это с тем, как отравили ее их американские союзники! Деревьев нет. Ничего не растет. Неразорвавшиеся мины и снаряды калечат и убивают невинных. Какая здесь раньше была красота! А теперь разор и пустыня. Я напоминаю об этом нашим гостям и вижу у них в глазах недоверие, даже если на словах они со мной соглашаются. Вы, по крайней мере, честны со мной, хотя, буду и я честен с вами, это может оказаться не лучшей стратегией.

Я прожил свою жизнь в подполье ради революции, комендант. Можно сказать, под землей. Самое меньшее, что революция может для меня сделать, – это позволить мне жить на поверхности земли и быть честным по отношению к своим поступкам, по крайней мере до тех пор, пока вы снова не засунете меня под землю.

Ну вот, вы опять ведете себя вызывающе без всякой причины. Неужто вам непонятно, в какие сложные времена мы живем? Чтобы восстановить страну, революции потребуются десятилетия. В такие эпохи, как наша, абсолютная честность не всегда приветствуется. Вот почему я держу здесь это. Он кивнул на прикрытую куском джутовой ткани банку на бамбуковом шкафчике. Он показывал ее мне уже не раз, хотя и одного раза хватило бы с лихвой. Тем не менее он

потянулся к ней и сорвал ткань, так что мне не оставалось ничего иного, кроме как обратить свой взгляд на экспонат, которому по всей справедливости следовало бы храниться в Лувре или другом великом музее западной цивилизации. Там, в формальдегиде, плавало зеленоватое чудище, словно прибывшее к нам из дальнего космоса или из самых чуждых и неведомых океанских глубин. На самом же деле этот маринованный голый младенец с одним тельцем, но двумя головами – все четыре глаза зажмурены, но оба рта разинуты в вечном монголоидном зевке, – явился на свет благодаря химическому дефолианту, изобретению американского Франкенштейна. Два личика смотрели в разные стороны, две ручки скрючились на груди и две ножки торчали врозь, демонстрируя вареный стручок с орешками, признак мужского пола.

Вообразите себе чувства матери. Комендант постучал пальцем по стеклу. А также отца. Вообразите их крики. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Он покачал головой и отхлебнул вина, жидкости цвета разбавленного молока. Я облизал губы, и хотя мой очерствелый язык громко прошуршал по сухим губам, комендант ничего не заметил. Нам надо было бы просто расстрелять всех наших заключенных, сказал он. Вашего друга Бона, к примеру. Палач, принимавший участие в операции “Феникс”, заслуживает казни. То, что вы защищаете и оправдываете его, заставляет усомниться в вашей порядочности. Но комиссар великодушен и считает, что перевоспитать можно любого, даже если они и их американские хозяева убивали всех, кого им вздумается. В отличие от американцев и их марионеток, наша революция милосердно дала им шанс искупить свою вину трудом. Многие из этих так называемых вождей ни дня не проработали в поле. Как вы поведете в будущее аграрную страну, если и не нюхали крестьянской жизни? Не потрудившись снова прикрыть банку тканью, он подлил себе еще вина. Так что если кто-то из наших узников считает, что его плохо кормят, объяснить это можно только одним: недостатком понимания. Конечно, я знаю, что они страдают. Но мы все страдали. И всем придется страдать еще. Страна возвращается к жизни, и это может занять больше времени, чем война. Но эти глупцы думают только о своих невзгодах. Они не берут в расчет того, что перенесли мы, их противники. Я не могу втолковать им, что в день они получают больше калорий, чем солдат революции в военную пору, больше, чем крестьяне, загнанные в лагеря беженцев. Они уверены, что здесь их не перевоспитывают, а мучают. Это упрямство показывает, как труден и долг процесс перевоспитания. Пусть вы тоже упрямы – все равно вы намного опередили их. Тут я, пожалуй, согласен с комиссаром. На днях я как раз говорил с ним о вас. Он проявляет по отношению к вам безграничное терпение и даже не возражает, чтобы его называли безликим. Нет-нет, я понимаю, что вы не насмежаетесь, а просто констатируете очевидное, но он довольно чувствителен к своему... положению. Оно и понятно, не так ли? Он хочет встретиться с вами сегодня вечером. Это большая честь. Никто из заключенных еще никогда не встречался с ним лично – впрочем, вы ведь не заключенный. Он хочет прояснить с вами некоторые детали.

Какие детали? – спросил я. Мы оба посмотрели на мою рукопись, аккуратную стопку бумаги на бамбуковом столе, прижатую сверху небольшим камнем, – все триста двадцать две страницы, написанные при свете фитиля, плавающего в миске с маслом. Комендант постучал по ней своим средним пальцем с обрубленным кончиком. Какие детали? – переспросил он. Ну, с чего бы начать... Ах, обед! На пороге, с бамбуковым подносом в руках, стоял охранник, юнец с болезненно-желтой кожей. Большинство обитателей лагеря, будь то охранники или заключенные, имели цвет либо такой же, болезненно-желтый, либо гниловато-зеленый, либо мертвенно-серый – палитра, возникшая в результате тропических недугов и убийственного питания. Что у тебя там? Лесной голубь, суп из маниока, тушеная капуста и рис, товарищ комендант. При виде жареной голубиной грудки и ножек у меня потекли слюнки, поскольку мой обычный рацион состоял из одного лишь вареного маниока. Даже вконец оголодавший, я с трудом запихивал этот маниок в изолятор своей утробы, где он тут же цементировался, смеясь над всеми моими попытками его переварить. Маниок не только неприятен на вкус, но и губителен для пищеварительного тракта, так как обращается или в болезненно-твердый кирпич, или в его крайне взрывоопасную жидкую противоположность. В

итоге меня теперь непрерывно глодала снизу пиранья моего воспаленного ануса. Я отчаянно старался регулировать свои акты опорожнения, зная, что охранник заберет ящик из-под патронов, куда я справляю нужду, ровно в восемь ноль-ноль, однако пожарный шланг моих кишок извергался самопроизвольно, зачастую сразу после возвращения охранника с пустым ящиком. В таких случаях ядовитая смесь из жидких и твердых фракций сбрасывалась в нем почти целые сутки, понемногу разъедая его стенки. Но, как сказал мой круглолицый охранник, я не имел никакого права жаловаться. Мое-то говно никто каждый день не выносит, заявил он, глядя на меня сквозь щель в железной двери. А тебя тут обслуживают не за страх, а за совесть, только что жопу тебе не подтирают. И ты еще недоволен?

Спасибо, гражданин охранник. Комендант запретил мне называть охранников товарищами, дабы они не заподозрили, что я здесь на особом счету. Ради вашего собственного благополучия, пояснил он, комиссар велел сохранить вашу историю в тайне. Иначе другие узники могут вас прикончить. Единственными, кто знал мой секрет, были комиссар и комендант, по отношению к которому у меня выработалось кошачье чувство сердитой подневольной привязанности. Это он упорно заставлял меня переписывать мое признание, неумолимо марая его синим карандашом. Но в чем мне было признаваться? Я не сделал ничего плохого, разве только подвергся вестернизации. И тем не менее комендант говорил правду: я был строптив, ибо мог бы сократить срок своего мучительного пребывания здесь, написав то, что ему хотелось увидеть. ДА ЗДРАВСТВУЮТ ПАРТИЯ И ГОСУДАРСТВО! БЕРИТЕ ПРИМЕР С ВЕЛИКОГО ХО ШИ МИНА! ПОСТРОИМ ПРЕКРАСНОЕ И СОВЕРШЕННОЕ ОБЩЕСТВО! Я верил в эти лозунги, но не сумел заставить себя написать их. Я мог сказать, что Запад меня испортил, но не мог повторить это письменно. Перенести клише на бумагу казалось не меньшим преступлением, чем убить человека – деяние, в котором я признался без всякой опаски, поскольку в глазах коменданта убийства Сонни и упитанного майора преступлениями не считались. И все же, признавшись в действиях, которые кто-то наверняка счел бы преступными, я не мог усугубить их комментариями, угодными коменданту.

Мое нежелание признаваться в требуемом стиле раздражало коменданта, о чем он не преминул напомнить мне за обедом. Вы, южане, просто избаловались, сказал он. Вы принимали кусок мяса как должное, а мы голодали. Мы очистились от жира и буржуазных наклонностей, но вы, сколько бы раз вы ни переписывали свою исповедь, не в силах искоренить в себе эти наклонности. Из вашего признания ясно, что вы эгоистичны, морально неустойчивы и полны христианских предрассудков. В вас нет ни чувства коллективизма, ни веры в историческую науку. Вы не видите необходимости жертвовать собой ради спасения родины и служения своему народу. Тут уместно вспомнить еще одно стихотворение То Хыу:

Я сын десятков тысяч семей,

Младший брат десятков тысяч исчахших жизней,

Старший брат десятков тысяч малых детей,

Тех, что бездомны и вечно голодны.

По сравнению с То Хыу вы лишь называетесь коммунистом. Фактически вы буржуазный интеллигент. Я вас не виню. Трудно избавиться от клейма своего класса и своего рождения, а вы запятнаны в обоих смыслах. Как всякому буржуазному интеллигенту, вам нужно переделать себя – именно так говорили и Дядюшка Хо, и Председатель Мао. Плюс в том, что в вас заметны проблески коллективистского революционного сознания. Минус же в том, что вас выдает ваш язык. Ему не хватает ясности, точности, прямоты и простоты. Это язык элиты. Но вы должны писать для народа!



Вы совершенно правы, товарищ комендант, сказал я. Лесной голубь и суп из маниока начали растворяться в моем желудке, и содержащиеся в них питательные вещества взбудрили мой мозг. Мне только любопытно, как быть с Карлом Марксом. "Капитал" трудно назвать книгой, написанной для народа.

Это Маркс-то писал не для народа? Я вдруг увидел в увеличенных радужках коменданта тьму его пещеры. Убирайтесь! Видите, как вы буржуазны? Истинный революционер преклоняется перед Марксом. Только у буржуа хватает наглости сравнивать себя с Марксом. Но можете не сомневаться – он, то есть наш комиссар, излечит вас от ваших западных наклонностей и элитарных замашек. Он построил отвечающую самым современным требованиям комнату для допросов, где под его личным контролем пройдет последняя стадия вашего перевоспитания, направленного на то, чтобы снова превратить вас из американца во вьетnamца.

Но я не американец, товарищ комендант, сказал я. Разве мое признание не показывает со всей ясностью, что я антиамериканец? Должно быть, я сморозил что-то ужасно смешное, потому что он по-настоящему рассмеялся. Антиамериканец – это уже включает в себя американца, сказал он. Неужто вы не понимаете, что американцы нуждаются в антиамериканцах? Конечно, когда тебя любят, это лучше, чем когда тебя ненавидят, но последнее гораздо лучше, чем когда тебя вовсе не замечают. Если вы антиамериканец, значит, вы просто реакционер. Мы, нанешие американцам поражение, больше не определяем себя как антиамериканцев. Мы – стопроцентные вьетnamцы. И вам надо постараться стать таким же.

При всем уважении, товарищ комендант, большинство наших земляков не считает меня своим.

Тем больше усилий вам следует приложить, чтобы убедить их в обратном. Очевидно, что вы сами считаете себя одним из нас, по крайней мере иногда, а это уже прогресс. Я вижу, вы все доели. Как вам лесной голубь? Вкусно, не правда ли? Но что если я скажу вам, что голубь – это просто эвфемизм? Он внимательно наблюдал, как я разглядываю кучку маленьких косточек на своей тарелке, обсосанных так чисто, что от мяса и хрящей на них не осталось и следа. Чем бы это ни было, я жаждал добавки. Некоторые называют это крысой, но я предпочитаю говорить "крупная мышь", сказал он. Впрочем, это ведь неважно, согласны? Мясо есть мясо, и мы едим то, что имеем. Знаете, однажды я видел, как собака ест мозги нашего батальонного врача. Бр-р! И ведь собака не виновата. Ей пришлось есть мозги, потому что кишки уже съела ее подружка. Чего только не увидишь на поле боя! Но мы не зря потеряли столько людей. Все бомбы, которые эти воздушные пираты сбросили на нас, не были сброшены на нашу родину. Не говоря уж о том, что мы освободили лаосцев. Вот что делают революционеры. Мы жертвуем собой, чтобы спасти других.

Да, товарищ комендант.

Ну, хватит серьезных разговоров. Он снова прикрыл маринованного младенца джутовой тряпкой. Я просто хотел лично поздравить вас с тем, что вы завершили письменную фазу своего перевоспитания, пусть, на мой взгляд, и с сомнительным успехом. Вы продвинулись далеко, и это повод для радости, но очевидные недостатки вашего признания – это, безусловно, повод для самокритики. Вы хороший ученик, но вам еще предстоит сделаться истинным диалектическим материалистом, а ведь революции вы нужны именно в этом качестве. А теперь пойдемте к комиссару. Комендант взглянул на свои наручные часы, которые прежде были моими наручными часами. Он нас уже ждет.

Мы спустились от хижины коменданта мимо казарм охранников к полоске ровной земли между двумя холмами. Здесь находилась моя камера – одна из дюжины кирпичных печей, где мы томились в собственном соку и где узники выстукивали на стенах телеграммы жестяными чашками. Они разработали для такого общения простой код и быстро обучили ему меня. От этих соседей, периодически обменивающихся новостями, я узнал о том, как устроена лагерная жизнь и что

представляют собой наши начальники – комиссар и комендант. Сами узники относились ко мне с большим уважением. Создателем моей геройской репутации был в основном Бон, часто передававший мне привет через соседей. И он, и они верили, что моя продолжительная изоляция объясняется моей истовой приверженностью республике и моими связями с Особым отделом. В моей судьбе они винили комиссара, поскольку по сути лагерь возглавлял именно он, что понимали все, включая коменданта. Хотя последний управлял военными делами – ему подчинялся, к примеру, расстрельный взвод, – только комиссар, отвечающий за политическую сознательность, мог определить, достаточно ли комендант подкован идеологически, и в случае отрицательного ответа лишить его власти. На еженедельных лекциях по политпросвещению мои соседи видели комиссара вблизи и ужасались. Некоторые проклинали этого человека, радуясь его страданиям, но в других безликость порождала уважение – это была печать жертвенности и преданности своим убеждениям, пусть и ненавистным для заключенных. Охранники тоже говорили о безликом комиссаре со смесью страха и уважения, никогда не позволяя себе над ним подшучивать. Того, кому доверен столь ответственный пост, опасно высмеивать даже в узком кругу, потому что о твоём антиреволюционном поведении может быть доложено в любой момент.

Я понимал необходимость своего временного содержания в жестких условиях, ибо революция обязана быть бдительной, однако чего я не мог понять и что надеялся выяснить у комиссара, так это почему охранники боятся *его* – и, шире, почему вообще революционеры боятся друг друга. Разве не все мы товарищи? – спросил я коменданта на одной из предыдущих встреч. Это так, ответил он, но не у всех товарищей идеологическая сознательность находится на одинаковом уровне. Хотя я не в восторге от того, что в иных вопросах вынужден искать у комиссара одобрения, нельзя не признать, что он изучил теорию марксизма-ленинизма и наследие товарища Хо Ши Мина гораздо глубже, чем это когда-либо смогу сделать я. В отличие от него, я не ученый. Люди, подобные ему, приведут нас к истинно бесклассовому обществу. Но мы еще не искоренили всех элементов антиреволюционного мышления и не имеем права прощать антиреволюционные ошибки. Мы должны проявлять бдительность, и не только по отношению друг к другу, но в первую очередь по отношению к самим себе. Годы, прожитые в пещере, научили меня тому, что главную борьбу не на жизнь, а на смерть мы ведем с собой. Иностранные захватчики могут погубить мое тело, но мой дух способен погубить лишь я сам. Этот урок вы должны понять сердцем – потому мы и предоставили вам для этого столько времени.

Когда мы поднимались по склону к дому комиссара, я думал, что времени на усвоение этого урока мне отвели с избытком. Впрочем, я не стал делиться этой мыслью с комендантом, опасаясь его мгновенного диагноза: ПОРАЖЕНЧЕСТВО. Просто отправив человека работать в поле или на фабрику, вы из него революционера не сделаете, сказал он как-то раз. Его нужно просветить политически, потому что самое важное оружие революционера – не что иное, как сознание. Этим его словам предшествовало мое согласие с тем, что я не тороплюсь менять свое сознание, поскольку, вопреки оценкам коменданта, считаю его уже в достаточной степени революционным. Комиссар, полагал я, наверняка стал бы здесь на мою сторону. Мы остановились у лестницы, ведущей к нему на балкон, где нас поджидали круглолицый охранник и трое его коллег. Теперь вы поступаете в распоряжение комиссара, сказал комендант, нахмурясь и оглядывая меня с головы до пят. Буду с вами откровенен: он видит в вас гораздо больший потенциал, чем я. Вы подвержены многим порокам, и среди них такие социальные язвы, как пьянство, половая распущенность и желтая музыка. Вы пишете в неприемлемой контрреволюционной манере. Вы ответственны за смерть товарища Бру и Часовщика. Вы даже не сумели помешать этим американским киношникам нанести нам оскорбление, представив нас в ложном свете. Будь моя воля, я отправил бы вас на полевые работы – там бы вы у меня живо исцелились. И если у вас не заладится с комиссаром, я так и поступлю. Не забывайте об этом.

Не забуду, ответил я. И, понимая, что еще не вышел из-под его власти, добавил: спасибо вам, товарищ комендант, за все, что вы для меня сделали. Я знаю, в ваших

глазах я реакционер, но скажу вам не кривя душой, что под вашим руководством и благодаря вашей критике я научился многому. (Это, в конце концов, была правда.)

Выслушав мою речь, комендант смягчился. Позвольте дать вам совет, сказал он. Заключение говорят мне то, что я, по их мнению, хочу услышать, но они не понимают, что я хочу услышать в их словах искренность. Разве не в этом цель любого воспитания – заставить воспитанника искренне говорить то, что хочет услышать наставник? Имейте это в виду. Засим комендант повернулся и двинулся вниз по склону, заставив меня напоследок еще раз восхититься его безупречной выправкой.

Комиссар ждет, сказал круглолицый охранник. Пошли.

Я мобилизовал то, что от меня осталось. Согласно комендантским весам, произведенным в Америке и экспроприированным из больницы на Юге, это были примерно три четверти меня прежнего. Комендант пристально следил за своим весом и был покорён статистической точностью своего прибора. Путем скрупулезного продолжительного изучения кишечных выбросов как охранников, так и узников, включая меня, комендант установил, что все население лагеря ежедневно производит около шестисот килограммов дерьма. Узники собирали это дерьмо и относили в поля, где использовали в качестве удобрения. Таким образом, успехи сельскохозяйственного производства напрямую зависели от регулярности и добротности нашего стула. Уже сейчас, поднимаясь перед охранниками по лестнице и стучась в комиссарскую дверь, я ощущал, как лесной голубь преобразуется на фабрике моих внутренностей в прочный кирпичик, который завтра пойдет на строительство революции.

Войдите, сказал комиссар. Этот голос...

Все его жилье состояло из одной большой прямоугольной комнаты, такой же аскетичной, как у коменданта: бамбуковые стены, бамбуковый пол, бамбуковая мебель и бамбуковые стропила под тростниковой крышей. Я ступил в зону гостиной с бамбуковым столиком, парой низких бамбуковых стульев и позолоченным бюстом Хо Ши Мина на бамбуковом алтаре. Над головой вождя висело красное знамя со знаменитыми, выведенными золотом словами: НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ. Середину комнаты занимал длинный, окруженный стульями стол с книгами и документами. К одному из этих стульев была прислонена знакомая крутобедрая гитара, а на краю длинного стола я увидел проигрыватель, в точности такой же, как тот, что я оставил на генеральской вилле. В дальнем конце комнаты находилось возвышение в облаке противомоскитной сетки, за ней шевельнулась тень... Бамбуковый пол охлаждал мне ноги, сетка колыбалась от ветерка, залетающего в открытые окна. Потом сетку отодвинула рука, тоже с сожженной докрасна кожей, и из глубин опочивальни появился он, жуткое асимметричное видение. Я отвел взгляд. Да ладно, сказал комиссар. Неужто я и впрямь так безобразен, что ты не узнаешь меня, друг? Я снова посмотрел на него и снова увидел безгубый рот с идеально ровными зубами, глаза, торчащие из впалых глазниц, две дырки вместо носа, череп без волос и ушей – сплошной келоидный рубец, из-за чего голова казалась одним из тех высушенных трофеев, что болтаются на поясе удачливого индейца. Он кашлянул, и в горле у него перекатился шарик.

Разве я не говорил тебе, чтобы ты не возвращался? – спросил Ман.

## Глава 20

Так значит, комиссар – это *он*? Прежде чем я успел сказать что-нибудь или хотя бы пикнуть, охранники схватили меня, заткнули мне рот и нахлобучили на голову колпак. Ты? – хотел спросить я, выкрикнуть в темноту, но мог только хрипеть и стонать, когда меня поволокли наружу и вниз по холму – руки выкручены назад, под колючим колпаком жарко и душно, – в какое-то место не дальше чем за сто шагов от комиссарской хижины. Отворяй, сказал круглолицый охранник. Скрипнули петли, и меня втокнули со свежего воздуха в гулкое ограниченное пространство. Руки подыми, сказал круглолицый. Я поднял руки. Кто-то расстегнул и стащил с меня рубашку. Чужие руки развязали веревку, поддерживающую штаны, и они упали на щиколотки. Гляньте-ка, сказал другой охранник, восхищенно присвистнув. Ну и размерчик у него! У меня побольше, сказал третий. Давай сравним, сказал четвертый. Сравнишь, когда я буду харить твою мамашу.

Возможно, было и продолжение, но после того как чьи-то грубые пальцы ввернули мне в уши пенопластовые затычки, а кто-то другой надел поверх них что-то вроде наушников, я уже ничего не слышал. Слепоглухонемого, меня повалили на матрас. Матрас! Весь последний год я спал на голых досках. Охранники привязали мне веревками грудь, бедра, запястья и лодыжки, так что теперь я, распластанный на своем ложе, мог только слегка трепыхаться. Затем мои руки и ноги обернули чем-то пластиковым, а на голову надели шелковый капюшон – после нижнего белья Ланы ничего мягче я не касался. Я перестал дергаться и сосредоточился на том, чтобы спокойно дышать сквозь капюшон. Почувствовал слабую вибрацию – кто-то прошагал по грубому бетонному полу, потом еле слышно кликнула дверь, и всё.

Один я или кто-то за мной наблюдает? От жары, злости и страха я начал потеть; влага собиралась под моей спиной быстрее, чем матрас успевал ее впитывать. Рукам и ногам тоже было горячо и мокро. Меня захлестнула внезапная волна паники, ужаса утопающего. Я забился в своих путах и попытался крикнуть, однако мое тело едва могло шелохнуться, а вместо крика я сумел только что-то невнятно прогнусавить. Что со мной делают? Чего Ман от меня хочет? Не даст же он мне тут умереть? Конечно, нет! Это мое последнее испытание. Надо успокоиться. Это всего лишь экзамен, а экзамены я всегда сдавал на отлично. Наш восточный друг – прекрасный ученик, не раз говаривал завкафедрой. Согласно же профессору Хаммеру, меня научили лучшему из всего сказанного и передуманного, вложили мне в руки факел западной цивилизации. Я выдающийся представитель своей страны, уверял меня Клод, и вдобавок прирожденный разведчик. В тебе не по половинке всего, а вдвойне! – сказала мама. Я пройду этот тест, каким бы он ни был, что бы ни придумал комиссар, изучавший меня и Бона на протяжении всего этого года. Он читал мое признание, хотя, в отличие от коменданта, уже знал большую часть того, о чем я писал. Он мог бы уже отпустить нас, освободить. Мог бы сказать мне, что комиссар – это он. Зачем целый год держать меня в изоляции? Мое спокойствие улетучилось, и я едва не задохнулся под кляпом. Спокойно! Дыши медленно! Я умудрился еще раз взять себя в руки. И что теперь? Как скоротать время? Должно быть, с тех пор как меня ослепили, прошло не меньше часа. Мне очень хотелось облизать губы, но из-за кляпа во рту меня чуть не стошнило. А это была бы смерть! Когда он ко мне придет? Сколько еще здесь продержит? Что случилось с его лицом? Наверно, охранники меня покормят. Мысли сменялись одна за другой, тараканы времени ползали по мне тысячами, пока я не содрогнулся от муки и отвращения.

Тогда я заплакал от жалости к себе, и слезы под капюшоном неожиданно промыли мой мысленный взор. Благодаря этому я осознал, что еще не ослеп. Я мог видеть, пускай лишь мысленным взором, и увидел не кого иного, как упитанного майора и Сонни: они кружили надо мной, простертым на матрасе. Поздравляю, сказал упитанный майор. Здорово, правда? Твой лучший друг и кровный брат смотрит, как ты умираешь! А тебе не кажется, что твоя жизнь пошла бы другим путем, если бы ты меня не убил? Не говоря уже обо мне, добавил Сонни. Ты знаешь, что София все еще меня оплакивает? Я пытался навестить ее и успокоить, но для нее я невидим. А вот ты, на которого я с удовольствием не смотрел бы вовсе, видишь меня

постоянно. Впрочем, признаюсь, что посмотреть на тебя сейчас даже приятно. Все-таки есть в мире справедливость! Я хотел ответить им на эти обвинения, сказать, чтобы они дождались моего друга, комиссара, а он уж объяснит все, но даже внутри своей головы я был нем. Я мог лишь помычать в знак протеста, но это их только рассмешило. Упитанный майор толкнул меня ногой в бедро и сказал: видишь, до чего тебя довели твои интриги? Он толкнул сильнее, и я содрогнулся, протестуя. Он продолжал толкать, а я – содрогаться, пока не понял, что меня бьет пяткой не упитанный майор, а кто-то, кого я не вижу. Дверь кликнула снова. Какой-то неизвестный то ли вошел, то ли все время был здесь и только что вышел. Сколько прошло времени? Я не мог определить. Засыпал ли я? Если да, то прошло, наверно, несколько часов, а то и целый день. С чего бы я заснул, если бы прошло меньше двенадцати или тринадцати часов? Я проголодался. Наконец какую-то часть меня стало слышно – желудок. В нем заурчало. Нет на свете голоса громче, нежели голос истязаемого желудка. Все же голос моего был еще тих по сравнению с рыком того лютого зверя, в какого он порой превращался. Я не умирал с голоду – пока. Я просто очень хотел есть, поскольку мое тело полностью переварило лесного голубя, а точнее, крысу. Меня что, не будут кормить? Зачем они все это устроили? Что плохого я им сделал?

Я помнил такой голод. Как часто я испытывал его в детстве, даже когда мать отдавала мне три четверти нашего обеда, оставляя себе лишь одну! Мне не хочется, говорила она. Когда я подрос настолько, чтобы распознать обман, я стал говорить: мне тоже, мама. Играя в гляделки над нашими скудными порциями, мы двигали их туда-сюда, пока ее любовь ко мне не пересиливала мою к ней, что происходило неизменно. Съедая ее долю, я проглатывал вместе с пищей соль и перец любви и гнева – специй более терпких и пряных, чем сахар сочувствия. Почему мы голодаем? – спрашивал мой желудок. Уже тогда я понимал, что если бы богачи роздали всем голодным по чашке риса, они стали бы менее богатыми, но голодная смерть им все равно не грозила бы. Если решение так просто, почему вообще кому-то приходится голодать? Неужто все дело в нехватке сочувствия? Нет, сказал Ман. Как объяснял он на занятиях нашей учебной ячейки, ответы можно найти и в Библии, и в “Капитале”. Для того чтобы богачи стали охотно делиться своими богатствами, а влиятельные добровольно уступили свою власть, одного сочувствия недостаточно. Эти невероятные события могут свершиться только благодаря революции. Она освободит нас всех, и богатых, и бедных... но под этим Ман подразумевал свободу для классов и коллективов. Его слова вовсе не означали, что освободятся и отдельные личности. Нет – многие революционеры умерли в тюрьмах, и казалось все вероятнее и вероятнее, что меня ждет та же судьба. Но, несмотря на чувство обреченности, а также на мое потение, голод, любовь и гнев, сон чуть не взял надо мной верх. Я уже проваливался в него, но тут нога пнула меня снова, теперь в ребра. Я мотнул головой и хотел было повернуться набок, но пути не позволили. Нога пнула меня еще раз. Ах, эта нога! Демон, не дающий мне отдохнуть! Как я вскоре возненавидел ее ороговелые пальцы, которые царапали мою голую кожу, толкая меня в бедро, в колено, в плечо, в лоб! Нога знала, когда я оказываюсь на грани сна, и возвращалась именно в эти мгновения, лишая меня даже крохи того, в чем я так отчаянно нуждался. Монотонность тьмы была утомительна, голод – мучителен, но это постоянное бодрствование было хуже всего. Долго ли я не сплю? Наверное, меня привели в комнату для допросов, о которой говорил комендант, – но сколько мне еще здесь ждать? Когда наконец Ман придет и все объяснит? Я не знал. Единственным, что хоть как-то отмечало течение времени, были действия зловерной ноги и иногда прикосновение рук – они поднимали капюшон, вынимали кляп, вливали мне в рот воду. Я ни разу не успел сказать больше одного-двух слов, прежде чем кляп всовывали обратно, а капюшон опускали до шеи. Пустите же меня в сон! Мне уже мерещились его темные глубины... и тут эта дьявольская нога толкала меня вновь.

Нога твердо вознамерилась не дать мне заснуть, пока я не умру. Она медленно, расчетливо убивала меня. Нога была судьей, стражником и палачом. Сжалась надо мной, нога! Всю жизнь на тебе стоят, тебя заставляют ступать по грязной земле, смотрят на тебя сверху вниз – кто же еще из всех живых существ способен понять мои чувства, если не ты? Ах, нога, что бы мы, люди, делали без тебя? Ты доставила

нас из Африки на все остальные материки, однако о тебе так мало сказано! Спору нет, тебя бессовестно обделили по сравнению, например, с рукой. Если ты смилостивишься надо мной, я воспою тебя, и мои читатели осознают твоё значение. Ах, нога! Умоляю, не пинай меня больше. Не обдирай своими мозолями мою кожу. Не царапай меня своими острыми нестриженными ногтями. Конечно, мозоли и ногти – не твоя вина. Это вина твоего нерадивого хозяина. Не скрою, что и я так же плохо забочусь о своих ногах, твоих родственниках. Но я тебе обещаю: если ты дашь мне поспать, я стану другим человеком по отношению к своим ногам, ко всем ногам на свете! Я буду боготворить тебя, нога, как Иисус Христос, который мыл грешникам ноги и целовал их.

Символом революции должна быть ты, нога, а не рука, держащая серп и молот! Однако мы прячем тебя под стол и обувает в башмак. А пеленать тебя, как китайцы, – это ли не надругательство? Когда мы смели так издеваться над рукой? Пожалуйста, не толкай меня, молю! Я признаю, что человечество представляет тебя не так, как следовало бы, за исключением тех случаев, когда мы тратим значительные суммы на твоё облачение, ибо ты, разумеется, не можешь представлять себя сама. Я удивляюсь, нога, почему прежде я никогда о тебе не думал, а если и думал, то мельком. По сравнению с рукой ты рабыня. Рука вольна делать что хочет. Она даже пишет! Понятно, отчего о руке написано больше, чем о ноге. У нас с тобой много общего, нога. Мы оба попораны и унижены! Если бы ты только не мешала мне заснуть, если бы только...

На этот раз меня толкнула рука. Кто-то дернул мой капюшон, подняв его выше ушей, но оставив на голове. Потом рука стащила с меня наушники, вынула затычки, и я услышал шарканье сандалий и скрип ножек стула или табуретки по бетону. Какой же ты идиот! – сказал голос. Я по-прежнему был во тьме, слепой и ещё связанный, руки и ноги зачехлены, тело голое и мокрое. В мою пересохшую глотку полилась вода, и я поперхнулся. Я ведь запретил тебе возвращаться! Он доносился откуда-то свысока, чуть ли не с потолка – его голос, я не мог не узнать его даже в таком состоянии. Но как я мог не вернуться? – пробормотал я. Мама говорила мне, что птица всегда возвращается в своё гнездо. Разве я не та птица? Разве это не моё гнездо? Моё начало, место, где я родился, моя страна? Мой дом? Разве это не мой народ? Разве ты не мой друг, мой названный брат, мой верный товарищ? Скажи, почему ты так со мной поступаешь! Я не сделал бы такого даже самому заклятому врагу.

Голос вздохнул. Никогда не зарекайся насчет того, что ты можешь сделать заклятому врагу. А вообще, что там всегда твердят священники вроде твоего отца? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Звучит хорошо, но не все так просто. Видишь ли, в чем беда: порой мы и сами не знаем, чего хотим от других.

Я понятия не имею, о чем ты говоришь, сказал я. Зачем ты меня мучаешь?

Думаешь, мне это нравится? Я изо всех сил стараюсь, чтобы с тобой не случилось худшего. Комендант уже и так считает мои педагогические методы чересчур мягкими, а моё желание выслушать твои признания – излишним. Он из тех дантистов, что предпочитают лечить зубную боль путем удаления всех зубов клещами. Ты сам влип в эту историю, сделав именно то, чего я категорически велел тебе не делать. И теперь, если хочешь покинуть этот лагерь с зубами, мы должны разыграть свои роли так, чтобы комендант остался доволен.

Пожалуйста, не злись на меня, всхлипнул я. Если и ты будешь на меня злиться, я этого не вынесу! Он вздохнул снова. Помнишь, ты писал, как забыл что-то и сам не мог вспомнить, что? Я ответил ему, что не помню. Конечно, сказал он. Память человеческая коротка, а жизнь длинна. Тебя поместили в эту комнату для допросов, чтобы ты вспомнил то, что забыл или, по крайней мере, забыл написать. Друг мой, я хочу помочь тебе увидеть то, чего ты сам увидеть не можешь. Его нога толкнула меня в область затылка. Оно здесь, в глубине твоего ума.

Но почему для этого надо не давать мне спать? – спросил я. В ответ я услышал

смех – не школьника, который любил комиксы про Тинтина, а человека, который, возможно, слегка помешался. Ты не хуже моего знаешь, почему я не даю тебе спать, сказал он. Мы должны проникнуть в сейф, где хранится последний из твоих секретов. Чем дольше ты не спишь, тем больше у нас шансов взломать этот сейф.

Но я признался во всем!

Нет, не во всем, ответил голос. Я не утверждаю, будто ты намеренно что-то утаиваешь, хотя дал тебе много возможностей написать признание так, чтобы оно удовлетворило коменданта. Ты сам навлек на себя это – ты, и никто другой.

Но в чем еще я должен признаться?

Если я скажу тебе, в чем признаться, это будет не слишком похоже на признание, сказал голос. Но утешайся мыслью, что твое положение не так безнадежно, как ты думаешь. Помнишь наши экзамены, где ты всегда набирал максимум баллов, а я всегда немного отставал? Хотя я читал и зубрил не меньше тебя, ты всегда отвечал лучше. Я просто не мог вытащить ответы из своей головы. Но они были там. Разум никогда ничего не забывает. Потом я заглядывал в учебники и думал: ну конечно! Я же все это знал! А теперь я знаю, что ты знаешь ответ на вопрос, на который должен ответить, чтобы закончить свое перевоспитание. Я даже задам тебе сейчас этот вопрос. Ответ на него правильно, и я сниму с тебя веревки. Готов?

Давай, сказал я, вспотев от уверенности. Мне только этого и надо – чтобы меня проверили и убедились, что я ничего не скрываю. Зашелестела бумага, словно он перелистывал книгу, а может быть, мое признание. Что дороже свободы и независимости?

Неужто это подвох? Ведь ответ очевиден. Чего он от меня хочет? Мое сознание было замотано во что-то мягкое и липкое. Сквозь это прощупывался твердый, увесистый ответ, но какой именно, я не понимал. Возможно, очевидное – это и есть ответ. Наконец я сказал ему то, что он, как я думал, хотел услышать: нет ничего дороже свободы и независимости.

Голос вздохнул. Так, да не так. Почти правильно, но неправильно. Разве не грустно, когда ответ прямо под носом, а поймать его не удается?

Зачем это? – воскликнул я. Что ты со мной творишь? Ты – мой друг, брат, товарищ!

Настала долгая тишина. Я слышал только шелест бумаги и его сиплое, надсадное дыхание. Ему приходилось втягивать в себя воздух изо всех сил, чтобы внутрь попало хоть немного. Потом он сказал: да, я твой друг, брат, товарищ, и все это до гробовой доски. Как твой друг, брат и товарищ, я предупреждал тебя, разве нет? Я не мог выразиться яснее. Не один я читал твои письма, а когда писал тебе свои, кто-нибудь обязательно смотрел мне через плечо. Здесь за каждым кто-то присматривает. А ты все-таки вернулся, дурак!

Бон ехал сюда на смерть, я хотел защитить его.

Поэтому и сам поехал на смерть, сказал голос. Прекрасный план! Где бы вы оба были, если б не я? Ведь мы же три мушкетера, правда? А теперь скорее три оловянных солдатики. Три игрушки. Никто не попадает в этот лагерь по своей воле, но когда я узнал, что ты возвращаешься, я попросил назначить меня здесь комиссаром и отправить вас двоих сюда. Знаешь, кого сюда посылают? Тех, кто решил стоять до последнего, кто продолжал партизанить, кто не покался или сделал это без надлежащей искренности. Бон уже дважды требовал, чтобы его расстреляли. Не вмешайся я, комендант охотно пошел бы ему навстречу. И с тобой то же самое: твои шансы уцелеть были бы сомнительны без моего покровительства.

И это ты называешь покровительством?

Не будь меня, ты уже наверняка лежал бы в земле. Помнишь, что я тебе говорил? Есть комитет из идейных товарищей. Над ним – другой, из еще более идейных, и

так далее, и так далее... Я комиссар, но надо мной стоят другие комиссары – они читают то, что ты пишешь, следят, как ты прогрессируешь. Они руководят твоим перевоспитанием. Все, что я могу, – это взять тебя на себя и пообещать коменданту, что мой метод сработает. Комендант отправил бы тебя в бригаду по разминированию, и там тебе пришел бы конец. Но благодаря мне ты целый год только и делал что писал в одиночной камере. Другие заключенные убили бы за такую роскошь. И отнюдь не в переносном смысле. Я оказал тебе большую услугу, попросив коменданта держать тебя взаперти. В его глазах ты самый опасный из всех диверсантов, но я убедил его, что в интересах революции следует исцелить тебя, а не пустить в расход.

Меня – в расход? Но разве я не доказал, что я настоящий революционер? Разве не посвятил много лет своей жизни борьбе за освобождение нашей страны? Уж кто-кто, а ты-то должен это знать!

Мне это объяснять не надо. А вот коменданту – да. Ты пишешь в таком стиле, что человеку вроде него твоей писанины не понять. Называешь себя революционером, но твоё сочинение тебя выдаёт – вернее, ты сам себя выдаешь. Почему ты, осел упрямый, не желаешь писать иначе? Знаешь же, что такие, как ты, – это угроза для комендантов всего мира... Нога разбудила меня пинком. На одно восхитительное мгновение я заснул – будто полз по пустыне и в рот мне скатилась слеза. Не спи, сказал голос. От этого зависит твоя жизнь.

Если ты не дашь мне спать, я умру, сказал я.

Я не позволю тебе заснуть, пока ты не поймешь, ответил голос.

По-твоему, я что-нибудь понимаю? Ничего!

Тогда ты понял уже почти все, сказал голос. И усмехнулся, прямо как мой старый школьный приятель. Разве не странно, как мы с тобой сюда угодили, дружище? Ты приехал спасти жизнь Бону, а я – вам обоим. Остается надеяться, что мой план сработает лучше, чем твой. Но, честно говоря, я напросился сюда комиссаром не только из-за нашей дружбы. Ты видел мое лицо, точнее, его отсутствие. Можешь представить себе, как смотрят на это моя жена и дети? Голос сорвался. Можешь вообразить их ужас? А мой, каждый раз, когда я смотрю в зеркало? Хотя, скажу откровенно, я не смотрелся в него уже целые годы.

Я заплакал, подумав о его разлуке с ними. Его жена тоже была революционеркой – девушка из соседней школы, такая целеустремленная и красивая простой красотой, что я сам влюбился бы в нее, не влюбись он первым. Его сыну и дочери уже должно было исполниться по меньшей мере десять и одиннадцать – ангелочкам, чьим единственным недостатком было то, что временами они дрались между собой. Они никогда не побоятся взглянуть на твое... на своего отца, сказал я. Ты просто вкладываешь им в голову свои мысли.

Да что ты понимаешь! – закричал он. Снова наступила тишина, которую нарушало только его сипение. Я представлял себе рубцы его губ, рубцы на его горле, но мне хотелось лишь одного – спать... Его нога вновь толкнула меня. Извини, погорячился, мягко сказал голос. Друг мой, ты не можешь знать, что я чувствую. Тебе только кажется, что можешь. Но откуда тебе знать, каково это – быть таким страшным, что при виде тебя плачут твои собственные дети, что твоя жена вздрагивает, когда ты ее трогаешь, что твой близкий друг тебя не узнает? Бон смотрел на меня весь этот год и не узнал. Да, он садится в конце зала и видит меня лишь издали. Я не вызывал его к себе, чтобы сказать, кто я, потому что это не принесет ему пользы и может принести огромный вред. Но все же... все же я мечтаю, что он узнает меня вопреки мне, даже если, узнав, захочет только меня убить. Ты можешь представить, как горько мне потерять эту дружбу? Допустим, это ты можешь. Но откуда тебе знать, как больно, когда напалм сжигает кожу на твоём лице и теле? Откуда?

Так расскажи мне! Я хочу знать, что с тобой случилось!



Наступило молчание – не знаю, надолго ли, потому что нога снова толкнула меня, и я понял, что пропустил первую часть его истории. На мне еще была форма, сказал голос. Все в моей роте знали, что обречены, – и солдаты, и офицеры. У всех в глазах стоял страх. До освобождения оставалось несколько часов, и я прятал свою радость и возбуждение, но в открытую беспокоился за родных, хотя им мало что грозило. Жена сидела дома с детьми, их безопасность обеспечивал один из наших курьеров. Когда танки освободительной армии подошли близко и наш командир приказал стоять насмерть, я забеспокоился и за себя. Я не хотел погибнуть от рук освободителей в последний день войны и гадал, как избежать этой судьбы. И тут кто-то сказал: авиация, наконец-то! В небе появился наш самолет – он держался высоко, чтобы его не сбили зенитками, но и бомбить оттуда было далеко. Давай ближе, крикнул один из наших. Как он собирается в кого-то попасть с такой высоты? Голос усмехнулся. Действительно, как? Когда пилот сбросил бомбы, ужас, объявивший наших офицеров, коснулся и меня, поскольку я увидел, что бомбы падают не на танки, а на нас, в замедленном темпе. Они падали быстрее, чем говорило нам зрение, и мы не успели убежать, хоть и пытались. Облако напалма поглотило нас, и мне, можно считать, повезло. Я бежал быстрее других, и напалм только лизнул меня. Это было больно. Ах, как больно! Но что я могу тебе сказать, кроме того, что когда ты в огне, ты чувствуешь себя, как в огне? Что я могу сказать об этой боли, кроме того, что никогда в жизни не испытывал ничего более ужасного? Единственный способ объяснить тебе, как мне было больно, – это поджечь тебя самого, а этого, друг мой, я не сделаю никогда.

Однажды я обжег о плиту палец и теперь попробовал вообразить эту боль, умноженную в десять тысяч раз напалмом – истинным факелом западной цивилизации, ибо его, как сообщил нам Клод, изобрели в Гарварде. Но у меня ничего не вышло. Все, на что я был способен, – это хотеть спать, и мое “я” растворилось, оставив по себе лишь тающий разум. Но даже в этом полужидком состоянии мой разум понимал, что сейчас не время говорить обо мне. Я не могу этого представить, сказал я. Совсем.

Просто чудо, что я выжил. Я – живое чудо! Человек, вывернутый наизнанку. Я и умер бы, если б не моя дорогая жена, которая бросилась искать меня, когда я не вернулся домой. И нашла умирающим в госпитале, в общей палате. Поставила в известность облеченных властью, и те вызвали ко мне лучших сайгонских хирургов. Меня спасли! Но ради чего? Когда у тебя нет ни кожи, ни лица, боль примерно такая же, как когда ты горишь. Я горел каждый день, и так несколько месяцев. Когда действие лекарства кончается, я горю и теперь. Истязание – подходящее слово, но и оно не может передать того, что я чувствую.

Кажется, я знаю, что такое истязание.

Нет, только начинаешь узнавать.

Тебе не обязательно это делать!

Стало быть, ты еще не понял. Кое-что можно понять только через истязание. Я хочу, чтобы и ты узнал то, что узнал и до сих пор знаю я сам. Я избавил бы тебя от этого знания, если бы ты не вернулся. Но ты вернулся, и комендант за нами следит. У меня больше власти, чем у него, но это не значит, что у него ее нет. Ему невдомек, почему я разрешил тебе написать признание в такой странной, ни на что не похожей манере, и почему я выбрал для этих опытов именно тебя. Он, как и ты, не понимает, что я стараюсь спасти тебе жизнь. Ты пугаешь его. Ты для него тень в устье пещеры, какое-то загадочное существо, которое видит вещи с обеих сторон. Таких, как ты, следует репрессировать, потому что ты носитель заразы, способной погубить чистоту революции. Моя задача – доказать, что тебя не надо репрессировать, что тебя можно освободить. Я построил особую комнату для допросов специально ради этой цели.

Тебе не обязательно это делать, пробормотал я.

Да как ты не поймешь! То, что я с тобой делаю, делается ради твоего же блага.

Комендант сломал бы тебя единственным известным ему способом – физически. Я мог спасти тебя только обещанием, что испытаю на тебе новые методы допроса, не оставляющие на теле никаких следов. Вот почему тебя даже ни разу не избили.

Я должен сказать спасибо?

Да, должен. Пока ты писал свое признание, тебе не мешал даже уборщик. Удовлетворялись все твои нужды, пусть и не все твои желания. Но теперь настало время для последней ревизии. На меньшее комендант не согласится. Ты должен дать ему больше, чем имеешь.

Но мне уже не в чем признаться!

Что-то всегда есть. Такова суть признаний. Мы никогда не перестанем признаваться, ибо мы несовершенны. Даже от нас с комендантом партия требует, чтобы мы непрерывно критиковали друг друга. Военный комендант и политрук – живое воплощение диалектического материализма. Мы тезис и антитезис, из которых рождается самый могучий синтез, подлинно революционное сознание.

Если ты знаешь, в чем я забыл признаться, так скажи мне!

Голос усмехнулся снова. Я услышал шелест бумаги. Позволь мне процитировать твоё сочинение, сказал голос. “Коммунистическая шпионка с предательской бумажной кашей во рту, наши кислые имена буквально на кончике её языка”. Ты упоминаешь о ней в своём признании ещё трижды. Мы узнаём, что ты вытащил этот список у неё изо рта и она посмотрела на тебя с лютой ненавистью, но мы не знаем её судьбы. Ты должен рассказать нам, что ты с ней сделал. Мы требуем ответа!

Я снова увидел её лицо, её смуглую крестьянскую кожу и плоский широкий нос, так похожий на широкие плоские носы врачей, окруживших её в кинотеатре. Но я ничего с ней не делал, сказал я.

Ничего? Думаешь, её судьба – это то, про что ты забыл, что ты это забыл? Но как можно забыть её трагедию? Её судьба так ясна! Разве возможна была для неё иная судьба, отличная от той, какую непременно представит себе любой читатель твоего признания?

Но я ничего с ней не делал!

Вот именно! Теперь ты видишь – все, в чем нужно признаться, уже известно! Ты и вправду ничего не делал. Это преступление, в котором ты должен сознаться и покаяться. Согласен?

Возможно. Мой голос был слаб. Его нога снова толкнула меня. Позволил бы он мне заснуть, если бы я сказал “да”? Но я ничего не делал! Потому я и не включил *это* в своё признание. Как можно сознаться в том, что ты не сделал *ничего*? Однако я сумел выдать из себя только слово “возможно”.

Мне пора отдохнуть, друг. Боль возвращается. Она никогда не уходит совсем. Знаешь, как я её терплю? Морфий. Голос усмехнулся. Но от этого чудо-наркотика только немеют тело и мозг. А сознание? Я обнаружил, что справиться с болью можно лишь одним путем: представить себе, что кто-то страдает ещё сильнее. Тогда твоя боль уменьшается. Помнишь, что сказал Фан Бой Тяу? Мы учили это в лицее. “Для человека нет ничего больнее, чем потерять родину”. И когда я потерял лицо, кожу и семью, я вспомнил о тебе, друг. Ты потерял родину, а в изгнанника тебя превратил я. Мне было страшно жалеть тебя, хотя в своих шифровках ты только намекал на эту огромную потерю. Но ты вернулся, и теперь я уже не могу убедить себя в том, что твои страдания сильнее моих.

Я страдаю сейчас, сказал я. Пожалуйста, разреши мне поспать.

Мы революционеры, друг. Страдание создало нас. Мы решились страдать *ради*

людей, потому что сочувствовали их страданиям.

Все это я знаю, сказал я.

Тогда выслушай меня. Стул скрежетнул по бетону, и голос, звучавший высоко надо мной, поднялся еще выше. Пожалуйста, пойми. Я поступаю с тобой так потому, что я твой друг и брат. Только лишившись сна, ты полностью осознаешь ужасы истории. Мне ты можешь верить: я сам спал очень мало после того, что со мной случилось, я пролежал без сна слишком много ночей, стараясь ответить на вопрос, который сейчас задал тебе. Теперь я страдаю, глядя, как страдаешь ты, но поверь, я знаю, что ты чувствуешь, и знаю, что это необходимо сделать.

Я и без того был испуган, а его намеки на предстоящее испытание напугали меня еще сильнее. С кем-то необходимо что-то сделать! Неужели этот кто-то – я? Нет! Это не может быть правдой – так я и хотел крикнуть ему, но мой язык отказался мне подчиняться. Меня просто по ошибке сочли этим кем-то, потому что – как я уже говорил ему, а может, только собирался сказать, – я никто. Я ложь, пустяк, книга. Нет! Я вошь, дурак, прощелыга. Нет! Я... я... я...

Стул скрежетнул опять, и я почуял знакомый запах круглолицего охранника. Нога пнула меня, и я задрожал. Пожалуйста, товарищ, сказал я. Дай мне заснуть. Круглолицый охранник фыркнул, пнул меня еще раз своей твердой ногой и сказал: я тебе не товарищ.

## Глава 21

Узник и не подозревал, что ему нужна передышка от истории – ему, который всю взрослую жизнь гнался за ней по пятам. С этой наукой, чьи избранные книги написаны алыми буквами, его познакомил школьный товарищ, Ман. Это было давно, в учебной ячейке. Если постичь законы истории, ты сможешь контролировать хронологию исторических событий, вырвав ее из лап капитализма, стремящегося монополизировать время. Мы просыпаемся, работаем, едим и ложимся спать по команде помещика, фабриканта, банкира, политика и школьного учителя, объяснил Ман. Мы соглашаемся с тем, что наше время принадлежит им, тогда как в действительности оно принадлежит нам. Так очнитесь же, крестьяне, рабочие, жители колоний! Очнитесь, невидимые! Вырвитесь из своих зон нестабильности и украдите золотые часы времени у жирных котов, цепных псов и бумажных тигров империализма, колониализма и капитализма! Если вы знаете, как их украсть, то время на вашей стороне, и цифры тоже. Вас миллионы, а их жалкие тысячи – колонизаторов, капиталистов и компрадоров, убедивших земную голь в том, что капиталистическая история неизбежна. Мы, авангард, должны убедить темные народы и низовые классы в ином – что неизбежна коммунистическая история! Терпение эксплуатируемых неминуемо иссякнет, и они восстанут, но только наш авангард способен приблизить день этого восстания, перезапустить часы истории и завести будильник революции. Тик-так... тик-так... тик-так...

Распятый на матрасе узник – нет, ученик – знал, что это его последний экзамен. Чтобы стать подданным революции, он должен стать подданным истории, который помнит все, а для этого нужно находиться в полном сознании, даже если отсутствие сна в конце концов убьет его. И тем не менее, если бы он немного поспал, то все понял бы лучше! Он корчился, извивался, бился с самим собой в тщетном притязании на сон, это продолжалось долгие часы, или минуты, или секунды, – и вдруг, совершенно внезапно, с его головы скинули капюшон, а изо рта выдернули кляп, так что он чуть не захлебнулся воздухом. Чьи-то грубые руки сорвали наушники и вынули затычки под ними, а потом – наконец-то! – сняли с глаз повязку, натершую кожу. Свет! Он снова обрел зрение, но почти сразу ему пришлось опять закрыть глаза. Прямо над ним, на потолке, горели десятки – нет, сотни лампочек, расплющивая его своей суммарной мощностью; их сияние пробивалось сквозь красный светофильтр его век. Нога толкнула его в висок, и голос круглолицего охранника сказал: а ну, не спать! Он открыл глаза под жаркой слепящей матрицей лампочек, расположенных правильными рядами, и в их ярком свете увидел комнату с белыми стенами и потолком. В белый цвет были выкрашены и бетонный пол, и даже железная дверь – и все это в комнате величиной примерно три метра на пять. Круглолицый в своей желтой форме стоял по стойке “смирно” в углу, а еще трое по краям матраса: два по бокам и третий в изножье. Они были в белых лабораторных халатах поверх синих медицинских комбинезонов, а руки держали за спиной. Их лица скрывались под хирургическими масками и защитными очками из нержавеющей стали, и все шесть круглых линз сфокусировались на нем, теперь уже явно не только узнике и ученике, но и пациенте.

В. Кто вы?

Этот вопрос задал стоящий слева. Неужели они до сих пор не знают, кто он такой?

Он крот в норе, глаз в дыре, тень на дворе – но его язык распух так, что занял собой весь рот. Пожалуйста, хотел сказать он, позвольте мне закрыть глаза. Тогда я скажу вам, кто я. Ответ у меня на кончике языка – я гук, а значит, ваш друг. А если вы скажете, что я только полгука? Что ж, говоря словами того белобрысого майора, которому поручили сосчитать мертвых коммунистов после битвы за Бенче и который столкнулся с математической проблемой трупа, состоящего лишь из головы, груди и рук, полгука – это тоже гук. А поскольку, как любили повторять американцы, хороший гук – это мертвый гук, то ваш пациент, очевидно, плохой гук.

В. Кто вы на самом деле?

Это спросил тот, кто стоял справа. У него был голос коменданта, и, услышав его, пациент дернулся так, что веревки обожгли ему кожу; в нем полыхнула жарким пламенем безмолвная ярость. Я знаю, что ты думаешь! По-твоему, я предатель! Контрреволюционер! Ублюдок-одиночка, которому нельзя доверять! Столь же внезапно ярость сменилась отчаянием, и он заплакал. Неужели его жертву так и не оценят? Неужели его так никто и не поймет? Неужели он навсегда останется одиноким? Почему его заставляют все это терпеть?

В. Как вас зовут?

Это был человек в изножье матраса, и он говорил голосом комиссара. Легкий вопрос, подумал пациент. Открыл рот, но язык его отказался шевелиться, и он съежился в страхе. Неужели он забыл свое имя? Нет, это невозможно! Свое американское имя он дал себе сам. Что же до первого, исконного, то его он получил от матери, единственной, кто его понимал. На помощь отца рассчитывать не приходилось: он и потом никогда не называл его ни сыном, ни по имени, даже в классе говоря ему попросту “ты”. Нет, он не мог забыть свое имя, и когда оно наконец вернулось к нему, отлепил язык от его клейкого ложа и произнес это имя вслух.

Он даже собственное имя перевирает, сказал комиссар. Думаю, доктор, ему нужна сыворотка, на что стоящий слева ответил: хорошо. Врач вынул из-за спины руки в белых резиновых перчатках по локоть; в одной руке была ампула размером с винтовочный патрон, в другой шприц. Умелым движением он набрал в шприц прозрачную жидкость из ампулы, затем склонился к пациенту. Когда тот заерзал в испуге, врач сказал: так или иначе я сделаю вам укол, а если будете дергаться, выйдет только больнее. Пациент замер, и укол в сгиб руки стал почти облегчением – хоть какое-то другое чувство помимо мучительной жажды сна. Почти, но не совсем. Пожалуйста, сказал он, выключите свет.

Этого мы сделать не можем, сказал комиссар. Разве вам не ясно, что вы должны видеть? Комендант хмыкнул. Ничего он не увидит – ему никакие прожекторы не помогут. Он слишком долго прятался. И ослеп навсегда! Ну-ну, сказал врач, похлопывая пациента по руке. Люди науки не должны отказываться от надежды, тем более когда они совершают операции над сознанием. Поскольку мы не в силах ни увидеть, ни пощупать сознание пациента, нам остается лишь одно: помочь ему самому увидеть свое сознание, не давая ему спать до тех пор, пока он не сможет наблюдать за собой, как за посторонним. Это крайне важно, ибо никто не способен познать человека лучше, чем он сам. Но в то же время справедливо и обратное. Наши носы словно прижаты к раскрытой книге: слова находятся прямо перед нами, однако прочесть их мы не можем. Чтобы разобрать текст, нужно отодвинуть его на какое-то расстояние, и точно так же нам необходимо раздвоиться, чтобы посмотреть себя со стороны – тогда мы увидим себя лучше, чем кто бы то ни было. Такова суть нашего эксперимента, и для него нам потребуется еще одно приспособление. Врач указал на коричневую кожаную сумку, стоящую на полу. Сначала пациент ее не заметил, но теперь сразу узнал военно-полевой телефон и вновь содрогнулся. Сыворотка, которая заставит нашего пациента говорить правду, разработана в Советском Союзе, сказал врач. А этот второй компонент – американского производства. Обратите внимание на взгляд пациента. Он помнит, что видел такие в комнатах для допросов! Но мы не будем подключать к нему аккумулятор через сосок и мошонку. Вместо этого – врач нагнулся и вытащил из сумки черный провод – мы подсоединим батарею к пальцу ноги. Ручной завод генерирует чересчур много электричества. Нам не нужна боль. Мы не хотим его пытать. Все, что нам нужно, – это небольшой раздражитель, который помешает ему заснуть. Поэтому я снизил напряжение на выходе и подключил телефон вот сюда – врач поднял наручные часы. Каждый раз, когда стрелка проходит цифру двенадцать, на ногу пациента подается маленький импульс.

Врач снял с ноги пациента холщовый кокон с набивкой, и хотя пациент вытянул шею, стараясь разглядеть его изобретение, он не мог приподняться настолько,

чтобы разобрать детали. Он видел только черный провод, тянущийся от ноги в сумку, куда врач положил и часы. Шестьдесят секунд, товарищи, сказал врач. Тик-так... пациент напрягся в ожидании звонка. Пациенту доводилось видеть, как другой подопытный откликался на подобный звонок криком и метаниями из стороны в сторону. После десятого или двенадцатого звонка глаза подопытного в ожидании очередного поворота ручки приобрели стеклянный блеск чучела в зоологическом музее, как бы живого и все же мертвого, или наоборот. Клод, который привел свою группу на тот допрос, сказал: если будете ржать или у кого-нибудь встанет, вышибу к чертовой матери. Это дело серьезное. Пациент был рад, что ему не велели крутить ручку. Глядя на судороги подопытного, он вздрагивал и пытался представить себе его ощущения. И вот теперь он потел и дрожал, считая секунды, пока небольшой разряд не заставил его дернуться скорее от неожиданности, чем от боли. Видите? Совершенно безвредно, сказал врач. Только не забывайте иногда переставлять зажим на другой палец, чтобы избежать ожога.

Благодарю вас, доктор, сказал комиссар. А теперь, если позволите, я хотел бы ненадолго остаться с пациентом наедине. Пожалуйста, сколько угодно, сказал комендант, направляясь к двери. Сознание этого пациента загрязнено. Оно нуждается в тщательной очистке. После ухода коменданта, врача и круглолицего охранника – но не Сонни с упитанным майором, весьма терпеливо наблюдавших за пациентом из дальнего угла, – комиссар уселся на деревянный стул, единственный предмет обстановки в комнате, если не считать матраса пациента. Прошу вас, пробормотал пациент, дайте мне отдохнуть. Комиссар ничего не отвечал до тех пор, пока пациент не вздрогнул от очередного разряда. Тогда он наклонился вперед и показал пациенту тоненькую книжечку, ранее от него спрятанную. Это мы нашли в твоей комнате на генеральской вилле.

В. Что это за книга?

О. Пособие по проведению допросов, “КУБАРК”, 1963 год.

В. Что такое “КУБАРК”?

О. Криптоним для ЦРУ.

В. Что такое ЦРУ?

О. Центральное разведывательное управление США.

В. Что такое США?

О. Соединенные Штаты Америки.

Видишь, я ничего от тебя не скрываю, сказал комиссар, выпрямляясь снова. Я прочел твои заметки на полях, принял во внимание отмеченные абзацы. Все, что с тобой делают, взято из этой книги. Иными словами, на твоём экзамене разрешено пользоваться справочной литературой. Никаких сюрпризов!

Спать...

Нет. Я наблюдаю за тобой, чтобы убедиться в эффективности сыворотки. Это дар КГБ, хотя мы оба знаем, чего сильные мира сего ждут в обмен на свои подарки. Они проверяли свои методы, оружие и идеи на нашей маленькой стране. Мы стали подопытными в эксперименте, который они ничтоже сумняшеся называют холодной войной. Какая ирония – ведь для нас эта война оказалась даже чересчур горячей! Смешно, да не очень, потому что нам с тобой эта шутка вышла боком. (А я думал, это нам она вышла боком, заметил Сонни. Тихо, сказал упитанный майор. Я хочу послушать. Похоже, будет еще интересней!) Как всегда, продолжал комиссар, мы переняли их приемы и методики. Эти лампочки? Произведены в США, так же как и генератор для них, хотя бензин импортирован из Советского Союза. Столько света, и все же тени остались! Моя, например, – вон там, на стене. И ты тоже тень на пороге комендантской пещеры. Впрочем, ты сам тени не отбрасываешь: у теней тени не бывает. Пойми это, и сделаешь еще один шаг на пути к просветлению.

Пожалуйста, выключи лампочки, сказал пациент, взмокший от источника ими жара. Не услышав ответа, он повторил просьбу и только потом понял, что комиссар ушел. Он закрыл глаза и уже погружался в сон, когда электричество вновь укусило его за палец. На Ферме эти методы испытывали и на мне, сказал Клод своему классу. Они работают, даже если ты знаешь, что с тобой делают. Речь шла о методах, рекомендованных в пособии, которое пациент только что видел в руках комиссара. Будучи еще не пациентом, а всего лишь учеником, он прочел эту книгу несколько раз. Он запомнил ее сюжет, персонажей и декорации, осознал важность изоляции, сенсорной депривации, совместных допросов и внедряемых агентов. Он овладел методами "Иван-дурак", "Волк в овечьей шкуре", "Алиса в Стране Чудес", "Всевидящее око", "Никто тебя не любит". Короче говоря, он изучил эту книгу вдоль и поперек; в частности, он хорошо помнил, как подчеркивается в ней значение непредсказуемости процедуры. Поэтому он вовсе не удивился, когда круглолицый охранник вошел в комнату и переставил зажим с пальца его ноги на палец руки. Когда круглолицый охранник заново оборачивал его ногу в мягкий кокон, пациент пробормотал что-то такое, чего не понял даже он сам, и, разумеется, не получил никакого ответа. Еще раньше, в изоляторе, круглолицый охранник показывал пациенту татуировку, нанесенную на его бицепс синей тушью: РОЖДЕН НА СЕВЕРЕ, УМРУ НА ЮГЕ. К тому времени, когда дивизия охранника добралась до Сайгона, город уже освободили, однако татуировка все еще могла оказаться пророческой. Он едва не умер от сифилиса после того, как приехавшая к одному из заключенных жена расплатилась с ним единственной доступной ей валютой. С тех самых пор он старательно изображал из себя такую же, как пациент, жертву войны. А я когда попаду домой? – хныкал он. За что меня здесь держат? То, что сейчас круглолицый охранник даже не жаловался, встревожило пациента, снова сказавшего: пожалуйста, выключи лампочки. Но круглолицый охранник куда-то пропал. Вместо него появился охранник-подросток с едой на подносе. Разве он уже не поел только что? Пациент не чувствовал голода, но охранник-подросток насильно впихнул в него рисовую кашу оловянной ложкой. Очевидно, ему нарочно сбивали режим и кормили его нерегулярно, в полном соответствии с рекомендациями книги. Словно врач, изучающий внезапно поразившую его смертельную болезнь, он понимал все, что с ним случилось и должно было случиться, но это ничего не меняло. Он попытался объяснить это охраннику-подростку, но тот велел ему заткнуться, после чего пнул в ребра и ушел. Электрический провод снова укусил его, но на сей раз не за палец руки, а за ухо. Он затряс головой, но провод не разжал челюстей и по-прежнему тербил его, не давая спать. Сознание пациента не отпускала саднящая боль – наверно, так ныли соски его матери после кормления. Моя голодная деточка, называла его она. Всего нескольких часов от роду, еще не открыв глазки, ты уже точно знал, где найти мое молоко. И уж если вцепишься, то как следует! Ты требовал его каждый час, не пропуская ни одного. Первый глоток материнского молока, наверно, был совершенством – это впечатление не могло повториться, даже если бы он отведал того же эликсира уже взрослым. Каково совершенство на вкус? Он знал только, с чем оно не имеет ничего общего: со страхом, резким металлическим привкусом контактов девятивольтовой батареи на языке.

В. Как ты себя чувствуешь?

Комиссар вернулся; он маячил над пациентом в своем белом халате, хирургической маске и очках из нержавеющей стали. Руки в белых резиновых перчатках держали блокнот и ручку.

В. Я спросил, как ты себя чувствуешь?

О. Я не чувствую своего тела.

В. А твое сознание?

О. Сознание все чувствует.

В. Теперь ты вспомнил?

О. Что?

В. Ты вспомнил, что забыл?

И пациенту показалось, что он действительно вспомнил забытое, и если бы только ему удалось это высказать, провод сняли бы с кончика его носа, вкус батареи у него во рту исчез бы, лампочки погасили бы и он наконец-то смог бы заснуть. Он заплакал; слезы падали в глубокие воды его забывчивости, жидкая среда его амнезии стала чуть солонее, и эта смена солёности вызвала из ее глубин обсидиановое прошлое. Из океана его беспамятства медленно вырастал черный обелиск – воскресало то, что даже мертвым пряталось от него в морских недрах. На обелиске была начертана криптограмма: загадочные изображения трех мышей, ряд прямоугольников, волнистые линии, японские иероглифы и кинопроектор, потому что забытое, как он теперь вспомнил, произошло в комнате, которую они называли кинотеатром.

В. Кто назвал это кинотеатром?

О. Полицейские.

В. Почему они называли это кинотеатром?

О. Когда приезжают иностранцы, там показывают кино.

В. А когда иностранцы не приезжают?

О. ...

В. А когда иностранцы не приезжают?

О. Тогда там проходят допросы.

В. Как проходят допросы?

О. Есть много способов.

В. Ты можешь привести хотя бы один пример?

Один пример! Их так много, что трудно выбрать. “Телефончик”, конечно, и “самолетик”, и “водяной барабан”, и хитроумный, не оставляющий следов способ с использованием булавок, бумаги и электровентилятора, и “массаж”, и “ящерицы”, и “прижигание”, и “угорь”... В книге ни один из них не описывается. Даже Клод не знал их происхождения – знал лишь, что их практиковали задолго до того, как его приняли в гильдию. (Все это чересчур затянулось, сказал упитанный майор. С него довольно. Нет, сказал Сонни. Сейчас он начал потеть по-настоящему. У нас наконец появляются перспективы!)

В. Кто был в кинотеатре?

О. Трое полицейских. Майор. Клод.

В. Кто еще был в кинотеатре?

О. Я.

В. Кто еще был в кинотеатре?

О. ...

В. Кто еще...

О. Шпионка коммунистов.

В. Что с ней случилось?



Как он мог забыть эту женщину с уликой – комком бумаги во рту? В списке полицейских, который она пыталась проглотить, когда ее поймали, было и его имя. Глядя на нее в кинотеатре, он не сомневался, что ей не под силу его опознать, хотя список передал Ману не кто иной, как он сам. Но, будучи связной Мана, она знала, кто такой Ман. Она лежала посередине просторной комнаты на столе, застланном черной клеенкой; ее раздели догола и привязали за руки и за ноги к ножкам стола. Светоизолирующие шторы на окнах были плотно задернуты, на потолке горели люминесцентные лампы. Вдоль стен сгрудились как попало серые металлические складные стулья, а в дальнем конце комнаты стоял кинопроектор “Сони”. На стене напротив висел экран – он так и остался там после отъезда последней делегации, японских дипломатов в галстуках и рубашках с коротким рукавом, желавших убедиться, что поднятые в воздух с Окинавы “Б-52” не бомбят мирное население. Упитанный майор устроил им экскурсию по центру перевоспитания, а потом показал фильм о том, как коммунисты терроризируют деревни, созданные по программе “Нью лайф”. После этого экран забыли свернуть, и теперь на его фоне, рядом с проектором, сидел Клод, наблюдающий за допросом шпионки. Допрос поручили упитанному майору, но он уступил свои полномочия трем другим полицейским, а сам устроился на складном стуле и тоже наблюдал за происходящим. Его несчастное лицо лоснилось от пота: кондиционер здесь включали только ради иностранных гостей.

В. А где был ты?

О. Я был с Клодом.

В. Что ты делал?

О. Смотрел.

В. И что ты видел?

Позже, в какой-то момент яркого будущего, комиссар воспроизвел для пациента запись его ответов, хотя последний не помнил, чтобы где-нибудь в белой комнате стоял магнитофон. Многим их голос в записи кажется чужим, что вызывает у них тревогу, и пациент не был исключением. Но в этот раз его тревога имела особенно вескую причину: в глубине души он ощущал, что голос незнакомца, доносящийся из динамика, подлиннее его собственного, поскольку он не кто иной, как незнакомец для всех остальных, не говоря уж о самом себе. С этим неприятным чувством он и услышал, как голос незнакомца ответил: я видел все. Клод сказал мне, что зрелище будет тяжелое, но я должен его увидеть. А это так уж обязательно? – спросил я. Поговори с майором, ответил Клод. Он главный. Я просто консультант. Тогда я обратился к майору, и тот сказал: я ничего не могу поделать. Ничего! Генерал хочет выяснить, откуда она взяла эти имена, причем как можно скорее. Но это неправильно, возразил я. Неужели вы не понимаете? Можно обойтись и без этого. Майор промолчал; промолчал и Клод, стоящий у проектора. Дайте мне поработать с ней наедине, сказал я троим полицейским. Хотя американцы прозвали наших полицейских белыми мышами из-за их белой формы и фуражек, ни в одном из этих троих не было ничего мышиного. Они ничем не отличались от обычных представителей нашего мужского населения – невысокие и худощавые, с густым загаром от постоянной езды в джипах и на мотоциклах. Сейчас вместо парадной, целиком белой формы на них была полевая, белые рубашки и голубые брюки, а свои голубые фуражки они оставили за пределами кинотеатра. Оставьте меня с ней на пару часов, сказал я. Самый младший полицейский фыркнул. Он просто хочет прокатиться первым. Я побагровел от злости и стыда, а самый старший полицейский сказал: американца это не волнует. И ты не волнуйся. На вот, попей водички. В углу стоял холодильник, полный газировки, и старший полицейский, в руке у которого уже была открытая бутылка, сунул ее мне, прежде чем усадить меня на стул рядом с майором. Я покорно сел, и мои пальцы, сжимающие ледяную бутылку, сразу начали неметь.

Прошу вас, господа! – воскликнула шпионка. Я невиновна! Клянусь! Это объясняет, почему у тебя во рту список с именами полицейских? – спросил младший. Наверно,

ты просто подобрала его где-нибудь и так проголодалась, что решила скушать! Нет, нет, рыдала шпионка. Чтобы оправдаться, ей нужна была хорошая легенда, но почему-то она не могла ничего придумать; впрочем, никакая легенда не помешала бы полицейским выполнить свое намерение. Ну ладно, сказал средний по возрасту, расстегивая ремень и штаны. Он уже находился в состоянии готовности; его одиннадцатый палец оттопыривал трусы. Шпионка застонала и отвела взгляд, только чтобы наткнуться им на младшего полицейского, стоящего по другую сторону стола. Он спустил штаны еще раньше и теперь яростно надраивал себя одной рукой. Сидя позади него, я видел лишь впалые щеки его голых ягодич и ужас в глазах шпионки. (Зачем меня заставляют снова это переживать? – спросил упитанный майор. Я уже обо всем забыл. Разве не в этом преимущество мертвых? Мы что, тоже должны вспоминать? А как же, сказал Сонни. Только у мертвых времени сколько угодно – вспоминай не хочу.) Шпионка поняла, что это не допрос; приговор уже вынесен, и эта троица сейчас приведет его в исполнение своими личными инструментами. Старший, наверняка чей-то отец, ласкал ту часть своего тела, которая у большинства мужчин с успехом претендует на роль самой безобразной. Это стало абсолютно ясно для меня теперь, когда младший полицейский повернулся в профиль, придвинувшись ближе к лицу шпионки. Гляди-ка, сказал он. Ты ему нравишься! Три набухших члена были разными по длине, один смотрел вверх, другой вниз, третий соскисал набок. Пожалуйста, не надо! – воскликнула шпионка, зажмурившись и мотая головой. Прошу вас! Старший полицейский усмехнулся. Видите, какой у нее плоский нос и темная кожа? Наверно, в ней есть камбоджийская кровь, а может, тямская. У них девки горячие!

Не будем торопиться, сказал средний, неуклюже забираясь на стол между ее ног. Как твое имя? Исполнение приговора было неотвратимо. Я говорю, зовут тебя как? В ней пробудилось что-то нутряное, и, открыв глаза и посмотрев прямо в лицо среднему полицейскому, она сказала: мое имя Вьет, а фамилия Нам. На несколько секунд все трое онемели. Потом разразились смехом. Сама напрашивается, сучка, сказал младший. Средний, еще смеясь, тяжело опустился на шпионку, которая кричала не переставая. Когда я смотрел, как он пыхтит и возится, а двое других толкуются около стола – брюки на лодыжках, безобразные колени наружу, – они и впрямь показались мне мышами вокруг куска сыра. Как у мышей, у них не хватало терпения ждать, и они, все разом, покусывали, теребили, царапали и толкали шпионку, умолкшую, потому что у нее больше не было возможности кричать. Мои соотечественники никогда не воспринимали понятия очереди, никто не хотел быть последним, и эти три мыши отпихивали друг друга и загораживали мне обзор, так что я видел лишь потные середины их тел и дергающиеся ноги шпионки. Давай побыстрее, сказал младший. Что так долго? Я буду продолжать столько, сколько захочу, сказал средний. Тебе же и так не скучно, правда? (Хватит об этом говорить! – воскликнул упитанный майор, закрывая глаза ладонями. Я не могу смотреть!) Но нам некуда было деваться, и мы смотрели, пока среднего полицейского наконец не сотрясла могучая судорога. Наслаждение такой интенсивности необходимо скрывать от посторонних глаз, если только его не испытывают и все остальные, как во время карнавала или оргии. Но сейчас, для пассивных наблюдателей, это выглядело отвратительно. Я следующий, сказал младший, отделяясь от шпионки, которая снова получила возможность кричать и кричала, пока старший, заняв место младшего, опять не заставил ее умолкнуть. Ну и болото, сказал младший, поддегивая рубашку. Однако это его не смутило, и пока средний полицейский прятал в штаны свой опавший орган в кустике курчавых волос, младший успел вскарабкаться на стол и начал повторять движения своего предшественника. В считанные минуты он достиг того же непристойного финала. Затем настал черед старшего полицейского, и когда он сменил среднего, передо мной снова открылось лицо шпионки. Хотя теперь ничто не мешало ей кричать, она не кричала, возможно, потому, что уже не могла. Она смотрела прямо на меня, однако винты боли закручивались на ее глазах и скулах все туже и туже, и мне казалось, что она вовсе меня не видит.

Когда закончил и старший, в комнате наступила тишина – было слышно только, как рыдает шпионка и как с шипением затягиваются сигаретами другие полицейские. Заправляя рубашку в брюки, старший поймал мой взгляд и пожал

плечами. Не мы, так еще кто-нибудь. Так почему бы и не мы? Да чего с ним разговаривать, сказал младший. Велели бы ему поработать, так у него бы и не встал. Смотри, он даже к газировке не притронулся. И правда, я совсем забыл о бутылке в моей руке. Она уже успела согреться. Не хочешь пить, так отдай мне, сказал средний полицейский. Я не пошевелился; тогда он, разозленный, сам подошел ко мне и взял бутылку. Сделал глоток и скривился. Терпеть не могу теплую газировку, язвительно сказал он и хотел вернуть бутылку мне, но я мог только смотреть на нее невидящим взглядом: мое сознание онемело так же, как недавно пальцы. Погоди-ка минутку, сказал старший. Нет нужды заставлять человека пить теплую газировку, когда кое-кому тут надо как следует подмыться. Он потрепал шпионку по колену, и при этом прикосновении она вернулась к жизни – вскинула голову и посмотрела на нас с такой жгучей ненавистью, что все мужчины в комнате должны были бы обратиться в курящуюся золу. Но ничего не случилось. Мы по-прежнему состояли из плоти и крови, так же как и она, и тогда полицейский, средний по возрасту, рассмеялся, зажал горлышко бутылки большим пальцем и сильно взболтал ее. Отличная идея, сказал он. Только вот липко будет!

Да, память – липкая вещь. Наверное, я тоже наступил на следы от той газировки, хотя позже трое полицейских вылили на шпионку и стол целые ведра воды, а потом вымыли шваброй пол. (Это я им велел, сказал упитанный майор. Им очень не хотелось убирать за собой, можете мне поверить!) Что же до шпионки, которая до сих пор лежала на столе обнаженной, она больше не кричала и даже не рыдала, но хранила мертвое молчание – глаза снова закрыты, голова закинута назад, спина выгнута. Отхлынув от нее, полицейские оставили порожнюю бутылку внутри утопленной по горлышко. Я там все вижу, сказал средний полицейский, нагнувшись и глядя сквозь доньшко бутылки с пытливостью гинеколога. Ну-ка дай посмотреть, сказал младший, отталкивая его плечом. Ничего не видать, пожаловался он. Это шутка, кретин! – воскликнул старший. Не ясно, что ли? Да, очень плохая шутка, балаганная выходка из тех, что понятны на любом языке – во всяком случае Клод понял. Когда полицейские играли в доктора со своим самодельным расширителем, он подошел ко мне и сказал: просто чтобы ты знал. Я их этому не учил – бутылке, я имею в виду. Это их собственная инициатива.

Они были хорошими учениками, как и я. Они хорошо усвоили данный им урок, как и я, так что если бы ты все-таки сжалился и потушил лампочки, если бы ты все-таки сжалился и выключил телефон, если бы ты перестал мне звонить, если бы ты вспомнил, что мы когда-то были, а может быть, и остались, лучшими друзьями, если бы ты поверил, что мне не в чем больше признаваться, если бы корабль истории лег на другой курс, если бы я стал бухгалтером, если бы я полюбил правильную женщину, если бы я был более добродетельным любовником, если бы моя мать была не такой чудесной матерью, если бы мой отец поехал спасать чужие души не сюда, а в Алжир, если бы комендант не задался целью меня переkreить, если бы мои собственные земляки относились ко мне без подозрений, если бы они увидели во мне такого же, как они, если бы мы позабыли свой гнев, если бы позабыли о возмездии, если бы признали, что все мы игрушки в чьих-то руках, если бы мы не затеяли войну друг против друга, если бы некоторые из нас не называли себя националистами, или коммунистами, или капиталистами, или реалистами, если бы наши монахи не сожгли сами себя, если бы американцы не явились спасать нас от нас самих, если бы мы не развесили уши под их напевы, если бы русские никогда не называли нас товарищами, если бы Мао не брал с них пример, если бы японцы не учили нас превосходству желтой расы, если бы французы никогда не пытались нас цивилизовать, если бы Хо Ши Мин не был диалектиком, а Маркс – аналитиком, если бы невидимая рука рынка не держала нас за шиворот, если бы британцы взяли верх над мятежниками нового мира, если бы туземцы не сказали попросту “спасибо, не надо”, впервые увидев белого человека, если бы наши императоры и мандарины не сражались между собой, если бы китайцы не правили нами на протяжении тысячи лет, если бы они использовали порох не только для фейерверков, если бы Будды никогда не было, если бы Библию так и не написали, а Иисус Христос не стал приносить себя в жертву, если бы Адам с Евой до сих пор резвились под сенью райских кущ, если бы дракон-повелитель и королева фей не породили нас, если бы потом их пути не разошлись, если бы

пятьдесят их детей не отправились со своей матерью-феей в горы, если бы пятьдесят остальных не отправились со своим отцом-драконом в море, если бы сказочный феникс действительно восстал из пепла, а не просто рухнул на нашу землю и сгорел на ней, если бы не было ни Света, ни Слова, если бы земля и небо так и не разделились, если бы история никогда не повторялась ни как фарс, ни как трагедия, если бы меня не ужалила змея языка, если бы я не родился, если бы моя мать не сменила своего единства на двойственность, если бы ты не требовал пересмотра моих произведений и если бы я избавился от этих видений – прошу тебя, скажи, тогда ты все-таки сжалился бы и позволил мне заснуть?

## Глава 22

Нет, спать тебе нельзя категорически. Бессонница – удел всех революционеров, ведь они слишком напуганы кошмаром истории, чтобы спать, слишком озабочены мировыми проблемами, чтобы позволить себе забыться. Так сказал комендант, стоя надо мной, лежащим на матрасе, как микропрепарат на предметном стекле, и с легким щелчком, похожим на щелчок фотозатвора, я осознал, что эксперимент врача полностью удался. Я был расщеплен надвое: внизу истерзанное тело, а над ним, под сверкающим лампочками потолком, безмятежное сознание, отделенное от моей агонии невидимым гироскопическим механизмом. Таким образом, вивисекция, которой я подвергался, превращалась в нечто весьма интересное; тряский желток моего тела мерцал и переливался под клейким белком моего разума. С субъективной точки зрения меня пытали – это утверждало мое тело, но с объективной мне преподавали урок, и это понимал мой разум. В конце концов, учеба и наказание – практически одно и то же, и выбор здесь зависит лишь от того, кем ты себя считаешь, узником или учеником, или, как в моем случае, тем и другим вместе.

Это одновременно угнетало и возвышало. Я был непостижим даже для Сонни с упитанным майором, хотя они по-прежнему маячили на заднем плане моего хронического бодрствования, выглядывая из-за плеч комиссара, коменданта и врача, которые стояли вокруг меня уже не в халатах, комбинезонах и защитных очках, а в желтой военной форме с красными нашивками, соответствующими их рангу, и пистолетами на поясе. Внизу находились просто люди и призраки, я же был сверхъестественным Святым Духом, ясновидящим и яснослышающим. В этой отрешенной манере я наблюдал, как комендант опускается на колени, медленно протягивает руку к моей недочеловеческой половине и легонько нажимает указательным пальцем на мое открытое глазное яблоко – прикосновение, от которого мое бедное тело вздрагивает.

Я. Пожалуйста, дайте мне заснуть.

КОМЕНДАНТ. Вы сможете заснуть, когда меня удовлетворит ваше признание.

Я. Но я ничего не сделал!

КОМЕНДАНТ. Вот именно.

Я. Свет слишком яркий. Не могли бы вы...

КОМЕНДАНТ. Весь мир смотрел, что творят с нашей страной, и большая часть мира ничего не сделала. Мало того, они еще и наслаждались! И вы не исключение.

Я. Но я не молчал! Разве моя вина, что никто меня не слушал?

КОМЕНДАНТ. Нечего искать отговорки! Мы не жаловались. Мы все были готовы стать мучениками. То, что доктор, комиссар и я остались в живых, – чистая удача. А вы не были готовы пожертвовать собой, чтобы спасти нашего агента, хотя она была готова пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти жизнь комиссару.

Я. Нет, я...

КОМЕНДАНТ, комиссар, врач (*вместе*). Признайтесь!

И тогда я признался. Я увидел себя признавшим, что меня карают или перевоспитывают не за то, что я сделал, а за то, чего я не сделал. И мне стало так стыдно, что я заплакал не стыдясь. Я был виновен в преступном бездействии. И я не просто заплакал – я зарыдал в голос, и окна моей души зазвенели и задребезжали под напором бушующего во мне эмоционального урагана. Слышать эти звуки и видеть мое унижение было так тяжело, что все вокруг отвели взгляды от жалкого зрелища, в которое я себя превратил, – все, кроме коменданта, комиссара и меня самого.

КОМИССАР. Теперь вы удовлетворены?

КОМЕНДАНТ. Что ж, он признал, что ничего не сделал. Но как насчет товарища бру и Часовщика?

КОМИССАР. Он никак не мог спасти товарища бру и Часовщика. А что касается нашего агента, то она выжила.

КОМЕНДАНТ. Когда мы ее освободили, она даже ходить не могла.

КОМИССАР. Они сломили ее тело, но не сломили дух.

ВРАЧ. А что произошло с теми полицейскими?

КОМИССАР. Я их нашел.

КОМЕНДАНТ. Они расплатились за все. Разве не должен расплатиться и он?

КОМИССАР. Согласен, но ему следует отдать должное и за те жизни, что он отнял.

КОМЕНДАНТ. Сонни и майора? Жизнь этих ничтожеств не стоит даже ран нашего агента.

КОМИССАР. А жизнь его отца? Она их стоит?

Моего отца? О чем это он? Даже Сонни с упитанным майором, уstraшенные суровой оценкой их жизни и смерти, постарались унять волнение и прислушались.

КОМЕНДАНТ. Что он сделал со своим отцом?

КОМИССАР. Спросите его сами.

КОМЕНДАНТ. Эй вы! Посмотрите на меня! Что вы сделали со своим отцом?

Я. Ничего!

**комендант, комиссар, врач (вместе).** Признайтесь!

И, глядя вниз на плачущий желток своего тела, я не знал, то ли смеяться, то ли плакать от жалости. Неужели я забыл, что писал Ману о своем отце? *Как я хочу, чтобы он умер!*

Я. Но это было не всерьез!

КОМИССАР. Будьте честны с самим собой.

Я. Я не хотел, чтобы вы это сделали!

КОМИССАР. Не смешите меня! Разве вы не знали, кому пишете?

Я писал члену могущественного революционного Комитета, который уже тогда знал, что может когда-нибудь стать комиссаром, я писал политработнику, который уже осваивал искусство ваяния из материала человеческих тел и душ, я писал другу, готовому выполнить любую мою просьбу, я писал писателю, понимающему силу фразы и вес слова, я писал брату, который знал, чего я хочу, лучше, чем я сам.

КОМЕНДАНТ, КОМИССАР, ВРАЧ (вместе). Так что же вы сделали?

Я. Я хотел, чтобы он умер!

Комендант потер подбородок и вопросительно взглянул на врача. Тот пожал плечами. Врач лишь вскрывает тело и разум человека; он не в ответе за то, что может оказаться внутри.

**врач.** Как умер его отец?

КОМИССАР. Получил пулю в голову от товарища, который ему исповедовался.

КОМЕНДАНТ. Боюсь, не придумали ли вы это, чтобы ему помочь.

КОМИССАР. Спросите моего агента. Это она организовала убийство его отца.

Комендант снова обратил взгляд на меня. Если меня карают за то, что я ничего не делал, разве не заслуживаю я снисхождения за то, что чего-то хотел – в данном случае смерти отца? Кто был мой отец с точки зрения атеиста-коменданта? Алчный колонизатор, наркодилер, снабжающий наш народ опиумом, полпред Бога, которому принесли в жертву не один миллион темнокожих людей якобы ради их собственного спасения – людей, чей тернистый путь на небеса был освещен горящим крестом. Его смерть стала исполнением справедливого приговора, а это полностью совпадало с тем, что я хотел выразить в своем признании.

КОМЕНДАНТ. Я над этим подумаю.

Затем комендант повернулся и покинул комнату; врач послушно направился за ним по пятам, предоставив Сонни с упитанным майором смотреть, как комиссар, морщась, медленно опускается на стул.

КОМИССАР. Ну мы и парочка!

Я. Выключи свет. Я ничего не вижу.

КОМИССАР. Что дороже свободы и независимости?

Я. Счастье?

КОМИССАР. Что дороже свободы и независимости?

Я. Любовь?

КОМИССАР. Что дороже свободы и независимости?

Я. Я не знаю!

КОМИССАР. Что дороже свободы и независимости?

Я. Я хочу умереть!

Ну вот, я сказал это, с воплями и рыданиями. Теперь я наконец понял, чего я хочу для себя, чего хочет для меня столько людей. Сонни с упитанным майором одобрительно захлопали в ладоши, а комиссар достал пистолет. Ну наконец-то! Смерть – это лишь короткая боль, что вовсе не так плохо, если принять во внимание, как длинна и мучительна жизнь. Звук патрона, досылаемого в патронник, был громок, словно звон колокола в церкви моего отца, который мы с матерью слышали в нашей лачуге каждое воскресное утро. Глядя вниз на самого себя, я и сейчас различал ребенка во взрослом и взрослого в ребенке. Моя раздвоенность существовала всегда, однако я был виноват в этом только отчасти. Да, я сам решил жить двойной жизнью и иметь два сознания, но куда мне было деваться при том, что люди всегда называли меня ублюдком? Вся наша страна была проклята, унижена, расколота на Север и Юг, и хотя никто не отрицал, что мы сами выбрали для себя этот раскол и смерть в нашей антигражданской войне, это тоже было правдой только отчасти. Мы не просили, чтобы над нами надругались французы, чтобы они разделили нас на эту несвятую троицу – Север, Центр и Юг, чтобы нас отдали на дальнейшее расчленение великим силам капитализма и коммунизма, а потом сделали пешками в шахматном матче холодной войны, который разыгрывали в прохладных кабинетах белые люди с черными мыслями. Нет, как все мое несчастное поколение было раздвоено еще до рождения, так я был раздвоен во время рождения и угодил туда, где почти никто

не принимал меня таким, как есть, зато почти все требовали, чтобы я выбрал одну из своих половин и отверг другую. Но это было не просто трудно. Это было невозможно, ибо как мог я сделать выбор между мной и собой – я, с самого детства состоящий из равноценных меня и себя? Теперь мой друг наконец освободит меня из этого узкого мирка и от этих узколобых людей, относящихся к человеку с двумя сознаниями и двумя лицами как к выродку и требующих однозначного ответа на любой вопрос.

Но постойте-ка – что это он задумал? Он положил свое оружие на пол и, став на колени, снял с моей правой руки кокон, а затем развязал веревку, которой она была привязана. У меня на глазах я поднял к своим глазам руку с красной меткой нашего кровного родства. Двумя своими взглядами – недочеловеческим и сверхчеловеческим, снизу и сверху – я увидел, как мой друг вложил мне в руку пистолет. Это был советский “ТТ”, разработанный на основе американского кольта, и хотя его вес сразу показался мне привычным, я не мог удержать его самостоятельно, и моему другу пришлось сжать на рукоятке мои пальцы.

КОМИССАР. Ты единственный, кто может мне помочь. Пожалуйста!

И тут он наклонился вперед, вдавив дуло себе между глаз, придерживая мои руки своими.

Я. Зачем ты это делаешь?

С этими словами я заплакал. Он тоже; его слезы катились по жуткому отсутствию лица, которого я уже давным-давно не видел вблизи. Где он, брат моей юности, исчезнувший отовсюду, кроме моей памяти? Там оно было таким же, как раньше, – серьезное лицо идеалиста с высокими отчетливыми скулами, узкими губами, тонким аристократическим носом и обширным лбом, намекающим на мощный ум, чьи приливные силы понемногу размывают границу волос. Теперь из всего прежнего остались только глаза, омытые слезами и потому живые, и тембр голоса.

КОМИССАР. Я плачу, потому что мне невыносимо видеть тебя в таком состоянии. Но иначе я не мог бы тебя спасти. Комендант не позволил бы.

Тут я рассмеялся, хотя мое тело на матрасе лишь задрожало.

Я. Значит, так ты меня спасаешь?

Он улыбнулся сквозь слезы. Я узнал и эту улыбку. Белее я не видел ни у кого из своих соотечественников – недаром Ман был сыном дантиста. Изменилась не улыбка, а лицо – вернее, не изменилось, а пропало, так что эта белозубая улыбка висела в пустоте, точно кошмарная ухмылка Чеширского кота.

КОМИССАР. Мы в отчаянной ситуации. Комендант отпустит тебя, только если ты реабилитируешься. Но как же тогда Бон? И даже если отпустят и его, куда вы оба денетесь?

Я. Без Бона я не уеду.

КОМИССАР. Значит, ты умрешь здесь.

Он еще сильнее прижал дуло к своему лбу.

КОМИССАР. Но сначала застрели меня. Не из-за моего лица. Его потерю я перетерпел бы – только остался бы здесь, чтобы моя семья никогда больше не увидела *этого*. Но я продолжал бы жить и бороться, переучивая всех, кто имеет ложные убеждения, потому что я комиссар!

Я уже не был ни телом, ни духом – я был только пистолетом и чувствовал своей сталью вибрации его слов, предвестие мчащегося на нас смертоносного паровоза.

КОМИССАР. Я комиссар и наставник, но что это за школа? В ней переучивают



даже тебя! Ты здесь не потому, что ничего не сделал. Тебя переучивают потому, что ты слишком ученый. Но что ты выучил?

Я. Я был наблюдателем и ничего не делал!

КОМИССАР. Я скажу тебе то, чего не найти ни в одной книге. Во всех городах, деревнях и камерах политработники читают одни и те же лекции. Они уверяют тех, кто избежал лагерей, в наших добрых намерениях. Но ни комитеты, ни комиссары не собираются переделывать заключенных. Это все знают, но никто не говорит вслух. Вся болтовня политработников лишь прикрывает ужасную правду...

Я. Я хотел, чтобы мой отец умер!

КОМИССАР. Теперь, когда мы так сильны, нам не нужно, чтобы нас трахали французы или американцы. Теперь мы отлично можем трахать себя сами.

Сияние над моим телом ослепляло. Я уже не понимал, то ли я вижу все, то ли не вижу ничего, и лампочки источали такой жар, что моя ладонь взмокла от пота. Рукоять пистолета стала скользкой, но руки комиссара надежно удерживали дуло на месте.

КОМИССАР. Если бы кто-нибудь, кроме тебя, узнал, что я произнес непроизносимое, меня самого отправили бы переучиваться. Но я не боюсь новых знаний. Меня пугают старые. Как может учитель учить тому, во что не верит сам? Как я могу жить, видя тебя таким? Я не могу. А теперь спусти курок.

По-моему, я сказал, что скорее застрелю себя, но я не услышал своего голоса, а когда попытался оторвать пистолет от его головы и повернуть к своей, у меня не хватило сил. Эти неумолимые глаза по-прежнему смотрели на меня, уже сухие, как мертвые кости, и где-то глубоко внутри в нем зародился рокот. Потом этот рокот вырвался наружу смехом. Над чем он смеялся? Над этой черной комедией? Нет, она была слишком тяжеловесна. Эта ярко освещенная комната годилась разве что для легкой комедии, такой, где герой может умереть со смеху – правда, мой друг смеялся не настолько долго. Он смолк, когда выпустил мою руку, и она упала сбоку от меня, брякнув пистолетом о бетонный пол. Сонни с упитанным майором за спиной комиссара жадно уставились на “ТТ”. Каждый из них с радостью поднял бы его и выстрелил в меня, но у них уже не было тел. Что же касается нас с комиссаром, у нас тела были, но мы не могли выстрелить – возможно, это и позабавило комиссара. Пустота, заменяющая ему лицо, до сих пор маячила надо мной, и приступ его веселья оказался таким скоротечным, что я даже засомневался, было ли оно. Мне почудилось, что я вижу на этой пустоте грусть, но я мог ошибаться. Для выражения эмоций у него остались только глаза и зубы, но он больше не плакал и не улыбался.

КОМИССАР. Прости. Это была слабость и эгоизм с моей стороны. Если умру я, умрешь ты, а потом и Бон. Комендант ждет не дождетя удобного момента, чтобы поставить его к стенке. По крайней мере, ты можешь спасти себя и нашего друга, если уж не меня. Мне довольно и этого.

Я. Можно я немного посплю, а потом мы это обсудим, ладно?

КОМИССАР. Сначала ответь на мой вопрос.

Я. Но зачем?

Комиссар убрал пистолет в кобуру. Потом снова привязал мне руку и встал на ноги. Он посмотрел на меня с большой высоты и, возможно, из-за этого укорачивающего ракурса мне померещилось, что я вижу на пустоте его лица что-то еще, помимо ужаса... слабый отблеск безумия, хотя это мог быть просто эффект сияющего нимба вокруг его головы.

КОМИССАР. Друг мой, даже если комендант готов отпустить тебя за то, что ты желал смерти своему отцу, я не отпущу тебя, пока ты не ответишь на мой вопрос.

Не забывай, брат мой, что я делаю это только ради твоего блага.

Он поднял руку, прощаясь со мной, и на его ладони сверкнула красная печать нашей дружбы. Потом он ушел. Нет ничего хуже, чем услышать такое, сказал Сонни, опускаясь на освободившийся стул. Упитанный майор уселся рядом, заставив его подвинуться. Когда тебе обещают сделать что-то ради твоего блага, жди беды, согласился он. Словно в подтверждение этих слов, динамики в углах под потолком щелкнули и зашипели – динамики, которые я заметил в первый раз лишь после того, как комиссар включил для меня запись моего собственного чужого голоса. Ответ на вопрос, что со мной сделают, был получен, когда кто-то начал кричать. В отличие от Сонни и упитанного майора, я не мог зажать себе уши, но даже с зажатыми ушами они оказались не в силах терпеть эти отчаянные вопли истязаемого ребенка дольше минуты и по прошествии этого времени исчезли без следа.

Где-то кричал ребенок, делясь со мной своими муками, при том что мне с лихвой хватало и своих. Я увидел, как я крепко зажмурил глаза, будто стараясь таким образом зажмурить и уши. Думать под эти крики, наполнившие комнату для допросов, было невозможно – невозможно, пока ребенок, мальчик или девочка, не остановился, чтобы перевести дух. На мгновение мне показалось, что он утихомирился, но потом все началось снова, и впервые за очень долгое время мне захотелось чего-то большего, чем сон. Я захотел тишины. Кто-то орал без умолку – из динамиков лились оглушительные, самозабвенные, нескончаемые вопли безжалостного маленького изверга, которому было наплевать на свою мать, на меня и на всех, кто мог его слышать. Пожалуйста, – я услышал, как я прокричал это во весь голос, – пожалуйста, выключите! Даже призраки, и те сбежали, потому что в комнате не осталось места ни для чего, кроме этих невыносимых, сводящих с ума воплей маленького ребенка, который медленно убивал меня.

Потом щелкнуло еще раз, и крики оборвались. Пленка! Это была пленка! Никто не пытал ребенка в соседней комнате, напрямую передавая его вопли в мою. Они просто включили запись, и на некоторое время мне осталось терпеть только непрерывающийся свет и жару, да еще тесную резинку с проводом на мизинце ноги. Но затем раздался новый щелчок, и мое тело напряглось в ожидании. Кто-то закричал опять. Кто-то кричал так громко, что я перестал ощущать не только себя – я потерял ощущение времени. Время больше не бежало прямо вперед, словно по рельсам, больше не кружило по циферблату, больше не ползло мурашками у меня по спине – время бесконечно повторялось за цикленной магнитофонной лентой, оно выло мне в уши, истерически хохотало над нашими попытками контролировать его с помощью часов, будильников, революций, истории. Время было на исходе у всех нас, кроме одного злобного младенца – а он имел в своем распоряжении все время на свете, причем ирония заключалась в том, что сам он об этом даже не знал.

Пожалуйста, – снова услышал я себя, – выключите! Я сделаю все что угодно! Как это может быть, что самое уязвимое существо на земле одновременно и самое могущественное? Неужели я кричал так же, когда был маленьким? Если так, прости меня, мама! Если я и кричал, то не из-за тебя. Я один, но в то же время я двое, созданный из яйца и спермы, и если я кричал, то, наверное, в этом виноваты голубые гены, перепавшие мне от отца. Точно китайский акробат, время немислимым образом перегнулось назад в поясе, и я увидел этот миг своего зарождения – увидел, как в утробу моей матери ворвалась эта тупая мужественная отцовская орда, вопящая свора свирепых бесшабашных кочевников, полных решимости пронзить своими копьями огромную стену материнской яйцеклетки. И благодаря этой атаке ничто, которым я был, превратилось в нечто, которым я стал. *Кто-то кричал, и это был не ребенок.* Моя клетка разделилась однажды, потом еще раз и еще, пока я не превратился в миллион клеток и больше, во тьмы и тьмы, в свою собственную страну, свою нацию, императора и угнетателя своих собственных масс, требующего безраздельного внимания своей матери. *Кто-то кричал, и это была шпионка.* Я съежился в тесном материнском аквариуме, не зная ничего о свободе и независимости, воспринимая всеми своими чувствами, кроме зрения, самое непостижимое из всех переживаний – быть внутри другого

человека. Я был куклой внутри другой куклы, загипнотизированный идеально ровным стуком метронома – сильным и четким биением материнского сердца. *Кто-то кричал, и это была моя мать.* Ее голос был первым звуком, услышанным мной, когда я вылез головой вперед в комнату, теплую и влажную, точно матка, когда меня подхватили узловатые руки бесстрастной повитухи, рассказавшей мне годы спустя, как она подсекла заточенным ногтем большого пальца тоненькую уздечку моего языка, чтобы мне было легче сосать и лепетать. Она же сообщила мне не без злорадства, что моя мать тужилась так сильно, что исторгла вместе со мной и содержимое своего кишечника, выплеснув меня на берег этого странного нового мира волной крови и экскрементов. *Кто-то кричал, и я не знал, кто это.* Мой поводок перерезали, и мое голое, изгвазданное, багровое “я” повернули к пульсирующему свету, открыв мне мир силуэтов и смутных теней, говорящих на моем материнском языке, чужом языке. *Кто-то кричал, и я знал, кто это.* Это был я, кричащий слово, которое висело передо мной с той самой минуты, как вопрос прозвучал впервые – ничего, – ответ, которого я до сих пор не видел и не слышал – ничего! – ответ, который я выкрикивал снова, снова и снова – *ничего!* – потому что я наконец достиг просветления.

## Глава 23

Одним этим словом я завершил свое перевоспитание. Осталось рассказать только, как я снова слепил себя в одно целое и как пришел к решению покинуть свою страну по воде. И то и другое далось мне нелегко; впрочем, с важными вещами иначе и не бывает. Особенно трудным оказалось второе. Я не хочу уезжать, но должен – что еще остается мне в жизни, как и любому другому перевоспитанному? Даже для тех из нас, кто считает себя революционером, нет места в этой стране победившей революции. Мы не можем быть представлены здесь, и думать об этом больнее, чем подвергаться допросам с пристрастием. Боль когда-нибудь да кончается, а думать нельзя перестать, пока не придет конец сознанию – но когда это случится со мной, человеком, у которого их два?

Что касается боли, то моя пошла на убыль, стоило мне произнести заветное слово. Теперь, задним числом, ответ кажется очевидным. Почему же я так долго его не замечал? Почему мне пришлось воспитываться и перевоспитываться, учиться много лет за счет как американских налогоплательщиков, так и вьетнамского общества, и все ради того, чтобы наконец понять, что нужное слово было под рукой с самого начала? Все это так нелепо, что сейчас, спустя месяцы и в относительной безопасности под крышей дома мореплавателя, я смеюсь, просто перечитывая сцену моего прозрения, которое тоже прогрессировало – или регрессировало? – от воплей к смеху. Конечно, я еще кричал, когда комиссар пришел, чтобы выключить свет и звук. Еще кричал, когда он развязал и обнял меня, прижав мою голову к груди, и баюкал, пока мои крики не начали утихать. Ну-ну, хватит, приговаривал он в темной комнате для допросов, где больше не кричал никто, кроме меня. Теперь ты знаешь то, что знаю я, правда? Да, ответил я, все еще рыдая. Я понял! Понял!

И что же я понял? *Шутку*. “Ничего” было ее солью, и хотя я страдал оттого, что этой солью посыпали мои раны – солью, которая была *ничем*! – я все-таки сознавал, как это смешно. Вот почему, когда я дрожал и метался в объятиях комиссара, мои вопли и рыдания постепенно сменились истерическим смехом. Я смеялся так громко, что в конце концов это встревожило круглолицего охранника и коменданта и они явились посмотреть, что со мной происходит. Ну и что тут у вас смешного? – спросил комендант. Ничего! – закричал я. Ваш допрос удался! Я сказал то, чего от меня добивались! И это ничего! Неужто не понимаете? Ничего, ничего, *ничего*!

Только комиссар понял, что я имею в виду. Комендант, озадаченный моим странным поведением, сказал: посмотрите, что вы с ним сделали. Он рехнулся. Его заботила не столько моя судьба, сколько благополучие лагеря, поскольку сумасшедший, который твердит “ничего”, может подорвать моральное здоровье коллектива. Я был вне себя оттого, что так долго не понимал ничего, хотя удивляться этому, разумеется, не стоило. Хороший ученик и не может понять ничего; на это способен только школьный клоун, непонятый идиот, коварный дурак или записной шут. Но, даже сознавая все это, я был так раздосадован своей слепотой, что оттолкнул комиссара и принялся стучать себя кулаками по лбу.

Перестаньте! – сказал комендант. Он повернулся к круглолицему охраннику. Останови его! Круглолицый охранник попытался усмирить меня, при том что я уже не только стучал себя кулаками по лбу, но и бился головой о стену. Коменданту с комиссаром пришлось ему помочь, и вместе они вновь связали меня. Только комиссар понимал, что я заслужил самоистязание. До чего же я был туп! Как мог я забыть, что всякая истина имеет по крайней мере два смысла, что любой лозунг – это всего лишь костюм, надетый на труп идеи? Состояние костюма зависит от того, как его носили, и этот вконец износился. Я был зол на себя, но не безумен, хоть и не собирался выводить коменданта из его заблуждения. Он видел у слова “ничего” только одно значение – отрицательное, отсутствие всего, как во фразе “здесь ничего нет”. Но от него ускользало значение *положительное*, тот парадоксальный факт, что нет ничего – это и *есть* ничего! Наш комендант был из тех, кто не понимает шуток, а это самые опасные люди. Именно они произносят столько возвышенных речей, умудряясь не сказать ничего, они посылают других на смерть

ради высоких слов, за которыми не стоит ничего, и частица “не”, по сути, ничего тут не добавляет и не отнимает. Как же он должен был разъяриться, спросив, что меня рассмешило, и услышав в ответ это слово, двусмысленное для нас с комиссаром, но не для него! Ну что, довольны? – спросил он комиссара, когда они оба глядели сверху вниз, как я рыдаю, кричу и смеюсь одновременно. Опять придется врача вызывать.

Зовите, сказал комиссар. Самое трудное уже позади.

Врач поместил меня в прежнюю одиночную камеру, хотя теперь ее не заперли, а на меня не надели оковы. Я мог ходить, куда мне вздумается, но не стремился к этому; порой круглолицему охраннику стоило немалых трудов выманить меня из угла. Даже в тех редких случаях, когда я покидал камеру добровольно, это происходило только ночью: из-за конъюнктивита мои глаза не выносили мира, озаренного солнцем. Врач прописал мне усиленное питание, солнечный свет и физические упражнения, но я хотел лишь одного – спать, а когда не спал, оставался тихим и полусонным всегда, за исключением тех минут, когда меня навещал комендант. Он так ничего и не говорит? – всякий раз спрашивал комендант, на что я, ухмыляющийся в углу юродивый, отвечал: ничего, ничего, ничего! Бедняга, говорил врач. После всех этих испытаний он, как бы это сказать, слегка не в своей тарелке.

Так сделайте что-нибудь! – сердился комендант. Я делаю что могу, объяснял врач, но все это у него в сознании. И указывал на мой лоб, весь в синяках. Доктор был прав только наполовину. Разумеется, все это было у меня в сознании, но в котором из двух? Впрочем, со временем врач нащупал правильный вариант лечения – тот, что действительно помог мне воссоединить меня со мной. Возможно, сказал он как-то раз, усевшись на стул рядом со мной (я, как обычно, скорчился в углу, сложив руки на груди и опустив на них голову), возможно, вам принесет пользу ваше привычное занятие. Я посмотрел на него одним глазом. До начала эксперимента вы целые дни напролет писали свое признание. Сейчас ваше состояние таково, что вы вряд ли сможете что-нибудь написать, но попробовать стоит: уже сами привычные действия могут оказаться полезными. Я посмотрел на него обоими глазами.

Тогда он извлек из своего портфеля толстую стопку бумаги. Узнаете? Я осторожно разнял руки и взял стопку. Взглянул на первую страницу, потом на вторую и на третью, медленно перебирая их, пронумерованные вплоть до триста двадцать второй. Что это, по-вашему? – спросил врач. Мое признание, промямлил я. Абсолютно верно, мой друг! Прекрасно! А теперь я попрошу вас переписать ваше признание. Из портфеля появилась еще одна папка бумаги, а за ней и пригоршня ручек. Слово в слово. Ну как, сделаете это для меня?

Я медленно кивнул. Он оставил меня одного с двумя стопками бумаги, и очень долгое время – наверное, несколько часов – я таращился на чистую первую страницу с ручкой в дрожащей руке. А потом, высунув кончик языка, приступил к делу. Сначала мне удавалось переписывать лишь по несколько слов в час, затем по странице в час, затем по несколько страниц. Шли месяцы, и мои слюни капали на бумагу по мере того, как передо мной снова разворачивалась вся моя жизнь. Мой израненный лоб понемногу заживал, и, поглощая свои собственные слова, я начинал все больше сочувствовать автору этого признания, двуличному разведчику, которому едва ли хватало интеллекта даже на одну из двух его личностей. Кто он был – дурак или чересчур умный? Верный ли выбор он сделал с точки зрения истории? И не должны ли все мы задать себе те же вопросы? Или это касается только меня с собой?

Когда я завершил переписывание, ко мне вернулось достаточно разума, чтобы понять: на этих страницах ответов не найти. Когда врач пришел на очередной осмотр, я сказал, что у меня есть просьба. Какая, друг мой? Еще бумаги, доктор. Дайте еще бумаги! Я объяснил, что хочу описать и те события, которые случились после отраженных в признании, во время моего бесконечного допроса. Он принес мне еще бумаги, и я стал заполнять новые страницы описанием того, что

произошло со мной в комнате для допросов. Как и следовало ожидать, мне было очень жаль главного героя. Имея два сознания, он не признавал, что такому персонажу самое место в каком-нибудь низкобюджетном фильме, голливудском или скорее японском, про жестокий военный эксперимент, где все пошло наперекосяк. С чего вообще этот чудак с двумя сознаниями решил, будто он способен представлять даже самого себя, не говоря уж о своих упрямых земляках? В конце концов, они никогда не смогут быть представлены, что бы ни утверждали их представители. Но стопка бумаги передо мной росла, и вместе с ней во мне стало расти другое удивившее меня чувство – жалость к тому, кто все это со мной сделал. Разве, мучая меня, мой друг не мучился сам? Написав, как я выкрикнул в жаркое сияние то последнее ужасное слово, и завершив таким образом свою работу, я был уже полностью в этом уверен. Теперь мне оставалось лишь попросить у врача разрешения еще раз встретиться с комиссаром.

Прекрасная идея, мой дорогой, сказал врач, похлопывая ладонью по моей рукописи и удовлетворенно кивая. Еще чуть-чуть, и с вами все будет в порядке.

Я не видел комиссара с тех пор, как меня отвели обратно в изолятор. Он предоставил мне исцеляться самому, и я не сомневался, что причина этого – его собственные переживания, хотя то, что он со мной сделал, было необходимо, ибо я должен был прийти к ответу самостоятельно. Никто не мог подсказать мне разгадку, даже он. Он мог только ускорить процесс моего перевоспитания, пусть лишь таким болезненным способом. Но, пустив в ход этот способ, он уже опасался приходить ко мне, резонно предполагая, что возбудил мою ненависть. Придя к нему в хижину на нашу последнюю встречу, я сразу заметил, как ему неловко. Он предложил мне чаю и, просматривая новые страницы моей рукописи, нервно постукивал пальцами по коленям. Что могут сказать друг другу палач и его жертва, когда кульминация пытки позади? Я не знал, но, наблюдая за ним со своего бамбукового стула, все еще разделенный на себя и меня, заметил в жуткой пустоте, заменяющей ему лицо, похожее раздвоение. Он был не только комиссаром, но и Маном; тем, кто меня допрашивал, но и тем, кому яверял свои секреты; пытавшим меня извергом, но и моим верным другом. Кто-то спешит это на галлюцинации, но настоящим обманом зрения страдают те, кто видит других и себя цельными и неразделенными, словно находиться в фокусе естественной, чем вне фокуса. Мы считаем себя тождественными своему отражению в зеркале, однако наши представления о себе зачастую расходятся с представлениями других о нас. Подобным же образом мы нередко обманываемся в те мгновения, когда нам кажется, что мы видим себя яснее всего. И откуда мне знать, что я не обманывался, слушая в тот день моего друга? Я не могу этого знать. Я мог лишь стараться понять, дурачит он меня или нет, когда он не стал терять время на дежурные любезности вроде вопросов о моем сомнительном здоровье, физическом и душевном, и сразу объявил, что мы с Боном покидаем как лагерь, так и страну. Я предполагал, что умру здесь, и меня удивил его уверенный тон. Покидаем? – спросил я. Это как же?

У ворот вас с Боном ждет грузовик. Когда мне сказали, что ты хочешь со мной встретиться, я решил не терять больше времени. Вы едете в Сайгон. Там у Бона есть кузен, с которым он наверняка свяжется. Этот кузен уже дважды пытался сбежать из страны, и оба раза его ловили. На третий раз, с тобой и Боном, у него получится.

Его план ошеломил меня. Откуда ты знаешь? – наконец сумел выговорить я.

Откуда? Его пустота не имела выражения, но по голосу я понял, что мой вопрос его позабавил. Проскользнуло в этом голосе и что-то еще – возможно, нотка горечи. Да оттуда, что я сам оплатил твой побег. Послал деньги нужным чиновникам, которые позаботятся о том, чтобы нужные полицейские чины отвернулись, когда придет время. И знаешь, что это за деньги? Я понятия не имел. Отчаявшиеся женщины платят за то, чтобы увидаться со своими мужьями, сидящими в лагере. Охранники забирают свою долю, а основную часть отдают нам с комендантом. Что-то я отправляю домой жене, что-то передаю своим начальникам, а остаток пошел на твой побег. Не странно ли, что в стране победившего коммунизма по-прежнему

можно купить за деньги все что угодно?

Не странно, пробормотал я. Скорее, смешно.

Правда? А мне совсем не смешно брать деньги и золото у этих несчастных женщин. Но, видишь ли, хотя твоего признания оказалось достаточно, чтобы освободить из лагеря тебя, ничто, кроме денег, не могло бы освободить Бона. С учетом всех его преступлений мне пришлось заплатить коменданту очень приличную сумму. И еще гораздо больше понадобилось для того, чтобы обеспечить вам возможность покинуть страну, а это необходимо. Вот что я сделал с этими бедными женщинами ради нашей дружбы. Ну как, друг мой, я все еще остаюсь тем, кого ты считаешь своим другом и любишь?

Передо мной сидел человек без лица, который пытал меня ради моего блага, ради ничего. Но я по-прежнему считал его своим другом: в конце концов, кто лучше человека с двумя сознаниями способен понять человека без лица? И я обнял его и расплакался, зная, что даже после моего освобождения сам он не освободится никогда, поскольку не хочет или не может покинуть лагерь иначе, нежели с помощью смерти, которая по крайней мере принесла бы ему облегчение от этой смерти при жизни. У его положения был единственный плюс: он видел то, чего другие видеть не могут, ибо, глядя в зеркало и видя там пустоту, понимал смысл ничего.

Но каков этот смысл? Что открыло мне мое прозрение? А вот что: нет ничего дороже свободы и независимости, но вместе с тем *ничего дороже свободы и независимости!* Два этих лозунга практически одинаковы, но не совсем. Первый, зажигательный, – это пустой костюм Хо Ши Мина, оставшийся без хозяина. Второй лозунг – с подковыркой, своего рода шутка. Это пустой костюм Хо Ши Мина, вывернутый наизнанку, портняжий каприз, который осмелится надеть только человек с двумя сознаниями или человек без лица. И мне этот странный наряд подошел идеально, потому что он отвечал самой последней моде. Надев костюм вождя шиворот-навыворот и бесцеремонно выставив напоказ все его швы, я наконец понял, как наша революция, будучи поначалу авангардом политических преобразований, стала арьергардом аккумуляции силы. И эта метаморфоза была не только нашим уделом. Разве с французами и американцами не произошло в точности то же самое? Из бывших революционеров они обратились в империалистов, которые колонизировали и оккупировали нашу непокорную маленькую страну, отняв у нас свободу во имя нашего спасения. Наша революция растянулась на гораздо более долгий срок, чем у них, и оказалась гораздо более кровавой, но мы наверстали упущенное время. Когда пришло время перенять худшие повадки наших французских хозяев и явившихся им на смену американцев, мы быстро доказали, что способней нас никого нет. Смотрите, мы тоже умеем дискредитировать великие идеи! Сбросив с себя цепи ради свободы и независимости – как я устал повторять эти слова! – мы тут же заковали в них своих побежденных братьев. А если пленники протестовали, тюремщики изумлялись такой черной неблагодарности: как можно сетовать на то, что тебя перевоспитывают, даже если в результате этого перевоспитания ты не получишь ничего, а значит, ничего все-таки получишь? Только понявшие эту шутку видели, как комична эта перемена ролей, как похоже все это на балаган, где паяцы по очереди мутузят друг дружку! Смешно было даже мне, паяцу, которому досталось больше многих других, хотя обе мои ягодицы ныли от пинка этого парадокса: революция, боровшаяся за независимость и свободу, умудрилась не оставить от них ничего, оставив нас ни с чем! Какая ирония! И впрямь умереть можно!

Кроме человека без лица, понять эту шутку мог только человек с двумя сознаниями. Я и был таким двойным человеком – я со мной. Мы через многое прошли вместе – я со мной. Все, кого мы встречали, пытались разлучить нас, заставить выбрать одно из двух – все, за исключением комиссара. Он протянул нам руку, а мы протянули ему свою, и на этих руках по-прежнему, как в пору нашей юности, алели заветные шрамы. Даже после всего, через что мы прошли, иных отметин на нашем теле не было. Мы обменялись рукопожатием, и он сказал: прежде чем ты уедешь, я хочу кое-что тебе отдать. Он извлек из-под стола наш

потрепанный рюкзак с “Азиатским коммунизмом и тягой к разрушению повосточному”. Когда мы видели свою книгу в последний раз, ее переплет еле держался. Теперь она развалилась пополам и была перехвачена широкой резинкой. Мы попытались отказаться, но он положил книгу обратно в рюкзак и сунул его нам. На случай, если ты когда-нибудь захочешь мне написать, сказал он. Или наоборот. Мой экземпляр по-прежнему у меня.

Мы неохотно уступили. Спасибо, друг...

И еще одно. Он взял со стола рукопись, наше признание вместе с продолжением, и жестом попросил нас открыть рюкзак. То, что произошло в комнате для допросов, касается только нас двоих. Так что заberi с собой и это.

Мы просто хотели сказать тебе...

Иди! Бон ждет.

И мы пошли – ранец за плечами, точно в последний раз с уроков. Ура, мы кончили учиться, училка может удавиться. Глупая мысль, дурацкие детские стишки, но если бы мы подумали что-нибудь более серьезное, мы рухнули бы под грузом недоверия и огромного, невероятного облегчения.

Круглолицый охранник проводил нас до ворот. Там, около “ГАЗа” с заведенным двигателем, ждали комендант и Бон. Мы с Боном не виделись год и много месяцев, и первым, что он сказал нам, было: кошмарно выглядишь. Это мы-то? А он? Наши бестелесные сознания усмехнулись, но этого никто не увидел. Да и как было не спрятать улыбку? Наш бедный друг стоял перед нами на подкашивающихся ногах, в разнокалиберных лохмотьях – игрушка в руках алкоголика, кукла с поредевшими волосами и кожей тошнотворного цвета гниющей тропической растительности. Над глазом у него чернело огромное пятно, и у нас хватило ума не спрашивать, откуда оно взялось. Из-за колючей проволоки за нами наблюдали трое других доходяг в обносках. Мы не сразу признали в них своих товарищей по оружию – хмонг-разведчика, флегматичного санитар и темного морпеха. И вовсе не кошмарно, сказал хмонг. Такого и в кошмаре не увидишь. Флегматичный санитар улыбнулся, показав, что у него осталась примерно половина зубов. Не обращай на него внимания, он просто завидует. Что же до темного морпеха, то он сказал: я знал, что вы, засранцы, выберетесь отсюда первыми. Удачи вам.

Мы ничего не смогли им ответить, только улыбнулись и подняли руку в прощальном жесте, а потом залезли в кузов вместе с Боном. Круглолицый охранник поднял задний борт и запер его. Ну? – спросил комендант, глядя на нас снизу. Так ничего и не скажете? Вообще-то мы многое могли ему сказать, но, опасаясь, что он передумает и не отпустит нас, мы лишь покачали головой. Ладно, как хотите. Вы признали свои ошибки и уже ничего не можете к этому добавить, верно?

Как раз ничего мы могли бы добавить, но ведь оно невыразимо! Грузовик тронулся, подняв облако красной пыли, вызвавшее у круглолицего охранника приступ кашля, и мы увидели, как комендант пошел прочь, а хмонг-разведчик, флегматичный санитар и темный морпех прикрыли ладонями глаза. Затем лагерь исчез за поворотом. Тогда мы спросили Бона об остальных членах нашего отряда, и он сказал нам, что лаосский крестьянин утонул в реке, а самый темный морпех умер от потери крови после того, как ему оторвало ноги миной. Услышав это, мы помолчали. За что они погибли? За что погибли миллионы других участников жестокой войны за объединение и освобождение нашей родины? Ради чего сотни тысяч принесли себя в жертву? Во имя какой идеи еще сотни тысяч были принесены в жертву против их воли? Мы выжили, но стоило ли этому радоваться? Подобно мертвым, мы пожертвовали всем, что имели, включая свою жизнь, и теперь у нас не осталось даже набедренной повязки веры. Правда, чувство юмора в нас еще теплилось, и если подумать хорошенько, если сумеет хоть чуточку отстраниться от происходящего и взглянуть на него хотя бы с каплей иронии, вполне можно было посмеяться над этой сыгранной с нами злой шуткой, над тем,



как охотно и дружно мы отправились на заклание. Так что мы стали смеяться и продолжали смеяться, пока Бон не спросил нас, не рехнулись ли мы и что с нами такое, и тогда мы вытерли слезы и ответили: ничего.

После изматывающей двухдневной езды по горным перевалам и разбитым дорогам нас высадили из “ГАЗа” на обочине Сайгона. Оттуда мы побрели по неряшливым улицам с неприветливыми людьми к дому мореплавателя. Идти пришлось медленно, потому что Бон хромал. Все пялились на двух оборванцев, но прятали глаза, когда мы смотрели на них в ответ. От прежнего оживленного движения с обилием моторизованного транспорта остались по большей части велосипеды и велорикши. Витрины, некогда набитые иностранными товарами, сворованными с американских военных складов, теперь почти опустели. Мы наконец вернулись домой, но точно в предутреннем сне: все вокруг выглядело знакомо и вместе с тем странно, город мрел в зловещем молчании. Только добравшись до жилища мореплавателя, мы осознали, что за все время пути ни разу не услышали романтической песни и даже обрывка поп-музыки. Из уличных кафе и транзисторных приемников всегда доносились подобные мелодии, но после обеда, лишь ненамного превосходящего по качеству комендантскую трапезу, мореплаватель подтвердил то, на что намекал комендант. Желтая музыка теперь под запретом; разрешено слушать лишь красную, революционную музыку.

Запретить желтую музыку в стране желтокожих? За это ли мы боролись? Нам не удалось сдержать смех. Мореплаватель взглянул на нас с любопытством. Я видал и похуже, сказал он. Меня дважды перевоспитывали, и уж кто-кто, а я всего навидался. Он получил два лагерных срока за попытки покинуть страну водным путем. Оба предыдущих раза он не брал с собой родных, надеясь добраться до чужих берегов в одиночку, а оттуда прислать домой деньги, на которые его семья сможет прожить или сбежать уже проверенным способом. Но теперь все было иначе, поскольку он знал, что за третью неудавшуюся попытку его отправят на перевоспитание в северный лагерь, откуда еще никто не возвращался. Так что на этот раз с ним плыли жена, три сына со своими семьями, две дочери со своими плюс еще три семьи родственников – целый клан, решивший погибнуть или уцелеть в открытом море. По мнению мореплавателя, здесь им всем не светило ничего, кроме новых экономических зон, где изгнанные из привычной среды городские жители превращают заболоченные земли в сельскохозяйственные угодья или умирают по ходу этого превращения. Новые экономические зоны? Мы все больше и больше узнавали о революционном обществе, которое помогли создать.

Какие у нас шансы? – спросил Бон нашего хозяина, моряка-ветерана, на чей опыт можно было положиться. Пятьдесят на пятьдесят, ответил тот. Я получал весточки только от половины беглецов. Для надежности будем считать, что остальные не доплыли. Бон пожал плечами. Звучит неплохо, сказал он. А как по-твоему? Этот вопрос был адресован нам. Мы посмотрели на потолок, где, распугав гекконов, улеглись на спину Сонни и упитанный майор. Хором, как повадились в последнее время, они сказали: это прекрасные шансы, потому что рано или поздно каждый из живых умрет с вероятностью в сто процентов. Приободренные этими словами, мы повернулись обратно к Бону с мореплавателем и, уже без смеха, согласно кивнули. Они сочли это благоприятным симптомом.

Два следующих месяца, в ожидании отплытия, мы продолжали работу над рукописью. Несмотря на хроническую нехватку почти любых товаров, в бумаге недостатка не было, так как всем жителям округа полагалось сдавать признания на регулярной основе. Даже мы, уже признавшиеся-перепризнавшиеся, обязаны были писать их и относить местным политработникам. Для нас это стало упражнением в сочинительстве, поскольку после возвращения в Сайгон мы ровным счетом ничего не сделали, а признаваться в чем-нибудь было надо. Вполне годились мелкие прегрешения: к примеру, не проявил должного энтузиазма на сеансе самокритики. Но ни о чем крупном сообщать не следовало, и мы никогда не забывали завершить свое признание словами, что нет ничего дороже свободы и независимости.

И вот наступил вечер перед отбытием. Мы внесли нашу с Боном долю комиссарским золотом, спрятанным в двойном дне рюкзака. Его место занял ключ к нашему с комиссаром шифру, самая тяжелая из наших вещей, не считая рукописи – если не нашего завещания, то хотя бы завета. Нам нечего оставить после себя, кроме слов, нашей лучшей попытки представить нас вопреки всем тем, кто пробовал сделать это прежде. Завтра мы разделим судьбу десятков тысяч людей, которые ушли в море, спасаясь от революции. Мы отправимся к причалу почти налегке: все, что нам нужно, уже погрузили на судно за несколько недель подготовки. Тут не обойтись без осторожности. На каждой улице и в каждом переулке полно информаторов, выискивающих тех, кто хочет скомпрометировать революцию путем побега со своей родины, которая, как мы теперь понимаем, целиком превратилась в тюрьму. Согласно плану мореплавателя, завтра после полудня из домов, раскиданных по всему Сайгону, выйдут наши семьи, будто бы на короткую прогулку до вечера. Автобусом мы доберемся до деревни в трех часах езды на юг, где у реки будет ждать перевозчик в конусообразной шляпе, затеняющей лицо. Вы можете отвезти нас на похороны дядюшки? На этот условный вопрос последует условный ответ: ваш дядюшка был прекрасным человеком. Мы вместе с мореплавателем, его женой и Боном сядем в ялик – при нас будет рюкзак с ключом к шифру, перетянутым резиновой лентой, и этой рукописью в непромокаемом пакете, – и поплывем в маленькую деревушку на другом берегу, где к нам присоединится весь остальной клан мореплавателя. Когда стемнеет, сыновья перевозчика посадят нас в несколько каноэ и переправят вниз по реке в маленькую бухточку, к стоящей на приколе угольной барже как раз нужного размера. Оттуда всех нас, без малого сорок человек, прикрытых брезентом, повезут дальше по реке и, наконец, пересадят на основной корабль – рыболовный траулер вместимостью в сто пятьдесят человек, почти все из которых спрячутся в трюме. Там будет жарко, предупредил мореплаватель. Будет сильная вонь. Когда команда задраит люки, мы начнем задыхаться, потому что отдушины рассчитаны на втрое меньшее количество людей. Нехватка воздуха мучительна, но еще тяжелее будет сознавать, что даже у космонавтов больше шансов уцелеть, чем у нас.

Завтра мы окажемся среди чужих людей, моряков поневоле, – груза, о котором нельзя упоминать в судовом манифесте. Среди нас будут дети, в том и числе младенцы, но ни одного старика: никто из них не осмелился пойти на такой риск. Среди нас будут мужчины и женщины, худые и тощие, но ни одного толстого, поскольку весь народ давно посажен на жесткую диету. Среди нас будут светлокожие и темнокожие, а также имеющие кожу всех промежуточных оттенков; кто-то будет говорить на чистом языке, а кто-то на просторечии. Будет много китайцев, преследуемых за то, что они китайцы, и много тех, кто получил свидетельство о перевоспитании. Сегодня вечером, но чуть раньше, слушая по радио мореплавателя “Голос Америки”, мы снова слышали придуманное для нас имя: люди в лодках. Теперь, когда мы тоже вошли в их число, это имя режет нам слух. От него пахнет снисходительностью антрополога, открывшего какую-то забытую ветвь человеческого рода, потерянное племя амфибий, выступающее из океанской мглы в ошметках водорослей. Но мы не дикари, и нас не надо жалеть. Не исключено, что, достигнув безопасной гавани – конечно, если это нам удастся, – мы сами в свою очередь повернемся спиной к отверженным, ибо такова человеческая природа. Но мы не циники. Несмотря ни на что – да, ни на что, и перед лицом ничего, – мы все еще считаем себя революционерами. Мы остаемся этим самым оптимистичным из всех живых существ, революционером в поисках революции, хотя мы не будем спорить, если нас назовут мечтателем, опьяненным иллюзией. Оглядываясь назад, на нашу личную историю, я со мной вижу, что нас сформировала и не давала нам покоя не столько наша революционность, сколько склонность к сочувствию. Чтобы стать революционером, разделяющим чужие страдания, надо уметь сочувствовать. Но если вы уже стали революционером, вам необходимо отринуть сочувствие – ведь нельзя же переживать за тех, кому вы должны волей-неволей причинять боль! Между сочувствующим и революционером та же грань, что между эмоциями и действием, мыслью и поступком, идеализмом и его последствиями. И все-таки, если человек с двумя сознаниями и может что-то предложить, то лишь одно: попробовать быть революционером и сочувствующим

одновременно, сомкнувшимися, как море и небо на горизонте. Очень скоро перед нами заалееет восход на этом горизонте, где Восток всегда красен, но пока мы видим перед собой лишь темную улицу – безлюдные тротуары, зашторенные окна. Вряд ли сейчас не спим мы одни, хотя только у нас горит одинокая лампа. Нет, мы не можем быть одни! Наверняка еще тысячи других смотрят в темноту – многие, в чьих головах, подобно нашей, роятся одиозные мысли, сумасбродные надежды и запретные планы. Мы терпеливо ждем подходящего момента и новой благородной идеи, хотя пока ограничиваемся самой простой – желанием жить. И потому, дописывая эту последнюю фразу, которая уже не будет отредактирована, мы признаёмся, что уверены в одной-единственной вещи – мы клянемся под страхом смерти сдержать это единственное обещание:

*Мы будем жить!*

## **Примечания**

**1**

Перевод К. Свасьяна.

**2**

Цивилизаторской миссии (*фр.*).

### **3**

Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (то же самое, что Вьетконг).

**4**

Мой маленький ученик (фр.).